

*Ранса Лерн*

# НА ТОМ СТОЮ

*Тубликаци*  
«САМИЗДАТА»

*Ранса Лерн*



МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ  
1991

ББК 84Р7—4  
Л49

Л  $\frac{4702010204-128}{M172(03)-91}$  Без объявл.

ISBN 5—239—01304—7

© Р. Б. Лерт, 1991

## ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Раиса Борисовна Лерт (1906—1985), советская журналистка, публицист, принадлежит к той широкой среде русской интеллигенции еврейского происхождения, на долю которой выпало активное участие во всем, что совершалось в нашей стране в XX веке.

Вопреки сообщениям зарубежного справочника «Who is who in Russia» Р. Б. Лерт никогда не была в эмиграции и даже ни одного дня за границей. В литературе датой ее рождения указывается 1905 г., но это неверно. Как многие из того поколения, она, стремясь как можно скорее активно вторгнуться в общественную жизнь, прибавила себе год. Так и осталось.

В 1913 г. после смерти отца, бедного маклера, мать ее с двумя дочерьми, старшей Зиной и младшей Раей, переезжает в Киев, где Раиса Борисовна Лерт, моя мать, провела свою юность. Этот город она всегда считала родным, любила его как Родину, отсюда и ошибки в литературе, в которой Киев значится местом ее рождения (родилась Р. Б. Лерт в Белой Церкви).

На свои невеликие деньги кассирши в гастрономе бабушка старалась дать дочерям образование — старшую отдала в реальное училище, младшую — в гимназию

До 1922 г., то есть все годы революции и гражданской войны, Раиса Борисовна Лерт прожила в Киеве, булгаковском Киеве, где за эти годы четырнадцать раз менялась власть — царская, Временного правительства, Центральной Рады, немецкая (с гетманом), советская, белогвардейская (несколько раз), польская. В 1919 г. Р. Б. Лерт пережила антиеврейский погром, от которого три дня над Киевом неслись стоны уничтожаемого еврейского населения. Раечку укрыли русские сестры-фельдшерицы из Общества фельдшериц, находившегося в том же доме, где она жила.



Библиотеке этого Общества Рая Лерт обязана блестящим знанием русской и западной литературы, своей сестре и ее товарищам (среди которых был Леня Балабанов, один из руководителей киевского комсомола, племянник известной русской и итальянской коммунистки Анжелики Балабановой, участницы создания Коминтерна) — любовью к поэзии и ранней политической активностью.

Совсем юным человеком в 1919 г. она отказалась встать на колени (как и ее товарищ Жоржик Кранц, скульптор, погибший в Отечественную войну на фронте) во время молебна в честь побед деникинской армии, за что была исключена из гимназии.

В киевском комсомольском подполье Рая Лерт расклеивала советские листовки. С этого времени и до конца жизни она выбрала свой идейный путь, и жила, как и умерла, — коммунисткой, интернационалисткой (не в искаженной ныне форме этого слова), атеисткой.

В 1922 г. вслед за сестрой переезжает Рая Лерт в Москву и поступает сначала ученицей, затем становится наборщицей в типографии «Красный пролетарий» (бывшая Сытинская). Здесь она была одним из организаторов комсомольской ячейки, редактором типографской многотиражки, прошла первую ступень политической школы и школы журналистики. Здесь она в 1926 г. вступила в Коммунистическую партию, откуда была исключена в 1979 г. за... диссидентство, а сегодня можно сказать — за идеологию перестройки (жаль, этого термина еще не было в ходу).

Работая еще в типографии, мать встретила Александра Серафимовича Энгельгардта, стереотипера 16-й московской типографии, потомка старого смоленского дворянского рода, известного в русской культуре, и члена партии с 1918 г., участника гражданской войны. Их единственным ребенком был я — Игорь Александрович Энгельгардт.

Родители в 1936 г. разошлись, а в 1937 г. отец был арестован и погиб. Мать работала в московской и ленинградской печати — во многих газетах и журналах, училась в КИЖе (Коммунистическом институте журналистики), но не окончила его из-за моего рождения и партийной мобилизации.

В 1929 г. работала в «Правде» под руководством М. И. Ульяновой (знала Н. С. Аллилуеву, работавшую там же), в 30-е годы — в других газетах и жур-

налах, в том числе в «Рабочей Москве» и «Строительной газете».

Особую роль в ее жизни сыграла работа во время войны в ТАСС, а после войны в радиокомитете — в «контрпропаганде», в вещании на границу.

Всю войну мама, как она говорила, «ругалась» с Геббельсом. Раз в неделю, кажется по вторникам, она должна была отвечать на еженедельную статью Геббельса, а в субботу — на статью фашистского радиогенерала Дитмара. Это кроме других выступлений.

Эта полемика под псевдонимом Раиса Борисова (псевдоним частично использовался и в советской печати) выработала стиль Р. Б. Лерт — резкий, язвительный, аналитический, литературно совершенный.

Через всю жизнь Раиса Борисовна Лерт пронесла дружбу со своей старшей сестрой. Они жили на совместную зарплату, вели одно хозяйство и воспитывали своих сыновей. Они вместе обсуждали прочитанное и увиденное в жизни. Они были единомышленниками. На их судьбу выпала не только «русская женская доля», но и «доля русской интеллигентки», мама добавляла еще «и еврейской советской коммунистки» — сочетание совершенно неудобопереносимое.

Уволенная во время борьбы с космополитизмом с работы в Радиокомитете, мама была безработной, корректором, потом ей удалось вернуться в журналистику (это описано в ее мемуарах). С первых же дней после смерти Сталина мама пером и словом приняла участие в борьбе с культом его личности, стала горячей антисталинисткой.

Когда изменилось направление — не изменилась она. «Я не могла иначе». Сначала со статьями она обращалась в печать, выступала на партсобраниях и конференциях. Все было напрасно. Ее не слушали. Тогда она стала печатать на машинке (пять экземпляров — последний совсем бледный) свои статьи (некоторые из них вы прочтете в этой книге), получившие хождение и известность в «самиздате». Эта деятельность привела ее к активному участию в «подписантской» кампании и диссидентском движении. Она подружилась с Е. Гинзбург и П. Григоренко, Г. Владимовым и А. Сахаровым. Сначала с Р. Медведевым она начала выпускать бесцензурный журнал «XX век» (на машин-

ке), а затем, разойдясь с ним во взглядах, с Петром Егидесом основала бесцензурный журнал «Поиски». Вышло его шесть номеров, седьмой был арестован.

Мать была подвергнута обыску и исключена из партии. Все это она описала в своих мемуарах, которые перед вами.

Ее последняя статья «В защиту бульварщины» была написана уже тяжелобольным человеком из последних сил — в защиту товарищей по делу, арестованных и осужденных. Архивы Р. Б. Лерт до сих пор (хотя она не была осуждена) не возвращены.

Советская власть, как сказал ее товарищ по работе в ТАСС, не сумела использовать ее талант, но ее друзья и читатели оценили его. Раису Лерт знал и уважал академик Сахаров, в чью защиту она выступала еще в 1975 г. Теперь ее творчество сможет оценить советский читатель (за границей сборник ее статей напечатан раньше), для которого она и писала, которым она и старалась быть услышана.

Людей, могущих сообщить что-то о Раисе Борисовне Лерт и об упоминаемых ее друзьях, знакомых и врагах, прошу написать мне, ее сыну, Энгельгардту Игорю Александровичу, по адресу: 117218, Москва, Профсоюзная ул., д. 9, кв. 99.

*И. Энгельгардт*

## ТРАКТАТ О ПРЕЛЕСТЯХ КНУТА

Из статьи С. Семанова «О ценностях относительных и вечных» (Молодая гвардия. 1970. № 8) я узнала потряшную меня новость. Оказывается, подлинная социальная революция в нашей стране произошла вовсе не в 1917-м, а в 1937 году.

Можно посчитать это дурной шуткой. Однако вот что — буквально! — напечатано на странице 319 комсомольского журнала:

*«Теперь ясно видно, что в деле борьбы с разрушителями и нигилистами перелом произошел в середине 30-х годов. Сколько бранных слов было обрушено задним числом на эту историческую эпоху. Любителям вздыхать о «золотом веке», который якобы царил в литературно-художественных салонах 20-х годов, всем тем, кто, кроме этих самых салонов, и видеть ничего не хочет в нашей культуре и народной жизни,— всем им полезно вспомнить, что именно после принятия нашей Конституции<sup>1</sup>, которая законодательно закрепила огромные социальные сдвиги в стране и в обществе, возникло всеобщее равенство советских граждан перед законом. И это было гигантским нашим достижением. Навсегда исчезло подразделение людей на различные категории при поступлении на работу, на государственную службу, в армию, при приеме в учебные заведения. Все честные трудящиеся нашей страны отныне и навсегда оказались слитыми в единое и монолитное целое. Мне кажется, что мы еще до сих пор не осознали всю значимость гигантских перемен, случившихся в ту пору.*

*Эти перемены оказали самое благотворное влияние на развитие нашей культуры». (Выделено всюду мною.— Р. Л.)*

---

<sup>1</sup> Напоминаю, что Конституция была принята 5 декабря 1936 г.

Вот так. Такие дела, как сказал бы Билли Пилигрим<sup>1</sup>. До сих пор не осознали. И если бы не кандидат исторических наук Семанов, если бы не редакция «Молодой гвардии» — страшно подумать, но мы, возможно, так и не знали бы, чем вошел в историю нашей страны 1937 год...

Теперь мы знаем чем — всеобщим равенством советских граждан **перед законом**. Остается пожалеть, что кандидат исторических наук пренебрег историческими реалиями. Не пожелал наглядно продемонстрировать, как конкретно осуществлялось это всеобщее равенство в благословенном 1937 году. Будучи современником и в какой-то мере участником исторического процесса (мне в 1937 году было 32 года)<sup>2</sup>, возьму на себя смелость пополнить этот пробел.

В 1937 году я работала в газете МК ВКП(б) «Рабочая Москва». Помнится, ставя в номер статью какого-нибудь секретаря райкома, директора завода, режиссера или писателя, мы отнюдь не были уверены, что этой же ночью наш автор не будет арестован как «враг народа». Мы также не были уверены, что каждый из нас — включая редактора — выйдет завтра утром на работу. В этом смысле уравнивание в правах было поразительным. В 20-х годах ареста боялись бывшие белые офицеры, бывшие меньшевики и эсеры. В конце 20-х — начале 30-х — бывшие троцкисты, старые инженеры и многие крестьяне-единоличники (отнюдь не только кулаки). Начиная с 1937 года, каждый гражданин нашей страны — без различия пола, возраста, происхождения, социального положения и партийности — мог ожидать, что за ним приедет «черный ворон». Состав заключенных в лагерях подтверждал это «всеобщее равенство».

Зато уж вот где без изъятия  
Все классы делались равны.  
Все люди — лагерные братья —  
Клеймом измены клеймены.

И за одной чертой закона  
Уже равняла всех судьба:

<sup>1</sup> См.: *Воннегут Курт*. Бойня номер пять: Роман // Новый мир. 1970. № 3—4.

<sup>2</sup> В действительности Р. Б. Лерт родилась 4 июля 1906 г. — И. Э.

Сын кулака иль сын наркома,  
Сын командарма иль попа.

А. Твардовский.  
*По праву памяти*

При желании можно было созывать в лагерях партийные конференции, съезды писателей, военные советы, совещания академиков, изобретателей, режиссеров, рабочих-стахановцев, колхозников-ударников. Впрочем, желания такого не было. Благотворное влияние равенства заключенных на развитие нашей культуры выразилось в том, что все они — исключая «придурков» — копали землю и валили лес: академики и колхозники, писатели и слесари, маршалы и художники. Куда уж большее равенство!

Не менее любопытно звучит — при проверке на исторических реалиях — заявление, что с 1937 года *«навсегда исчезло подразделение людей на различные категории»* — при поступлении на работу, в вуз и т. п.

**Социальные** ограничения Конституцией действительно были отменены. **По закону** полагалось принять в вуз любого человека, выдержавшего экзамен, на работу — любого, подходящего по профессии и деловым качествам. Но — одновременно с принятием Конституции была ликвидирована законность. Если обходились без законов при решении вопроса о жизни и смерти, то тем легче отбрасывались они, когда речь шла о гражданских правах. Вместо прежних ограничений появилось множество новых. Количество их росло с каждым годом и закрывало дорогу все большему числу людей. Что только не учитывалось при новом *«подразделении на категории»*: национальность; участие в оппозициях; пребывание за границей; наличие родственников за границей; наличие репрессированных родственников, друзей и знакомых (а у кого их не было!); пребывание в плену; пребывание на оккупированной территории... И так далее, и тому подобное.

Прежнее подразделение на социальные категории никем не скрывалось — оно открыто провозглашалось как классовая политика партии и правительства. Новые ограничения, введенные взамен изживших себя социальных, скрывались, как постыдная болезнь, ибо были **незаконными**. Категории стали секретными, вслух не назывались и в качестве мотивов отказа не употреблялись (хотя это был «секрет полишинеля»). понадобилась сложная система и особый аппарат, чтобы



проводить в жизнь эту специфическую кадровую политику. Огромную силу приобрели необычайно разросшиеся отделы кадров, ранее скромно занимавшиеся регистрацией сотрудников. Теперь уже не руководитель учреждения, а, по существу, подчиненный не ему начальник отдела кадров определял, кого брать на работу, кого выдвигать на руководящую должность. Решающую роль при этом стали играть не таланты, не подготовка, не работоспособность, а «чистота» анкеты, личные связи и... способность к послушанию.

К чему это привело, я особенно хорошо знаю по близкой мне области журналистики. Двадцатые годы, когда советская печать только еще набирала силу, выдвинули такую блестящую плеяду журналистов, как А. Зорич, Мих. Кольцов, Г. Рыклин, Тарас Костров и многие другие. Попробуйте назвать равное по величине имя, выдвинувшееся во второй половине 30-х годов. Его нет, и оно не могло появиться. Аресты помогли избавиться от мыслящих, самостоятельных и культурных редакторов. Посаженные на редакторские кресла малоквалифицированные, но зато послушные люди боялись ответственности (впрочем, было чего бояться!) и с каждой строчкой бегали «наверх». Именно со второй половины 30-х годов редакторы перестали редактировать: какой-нибудь инструктор стал не только единолично утверждать планы номеров, полосы, подборки, но и собственноручно «исправлять» стихи, статьи и романы. Именно со второй половины 30-х годов укоренился и получил массовое применение антидемократический метод «заавторства»: автор освобождался от труда высказывать свое мнение по тому или иному вопросу, ему просто приносили на подпись заготовленную в редакции статью. Удивительно ли, что в результате всей этой бурной деятельности читать было уже почти нечего — и иные газеты и журналы различались почти только по верстке.

Тот же губительный для культуры процесс стандартизации происходил в литературе, театре, кино, живописи. Начиная со второй половины 30-х годов в Москве были ликвидированы такие своеобразные, обладавшие неповторимым творческим лицом театры, как театр Мейерхольда, Камерный театр, возглавлявшийся Таировым, и некоторые другие. Были приняты меры, чтобы Театр Революции (переименованный впоследствии в Театр имени В. Маяковского) как можно

меньше походил на прежний Театр Революции, чтобы в Театре имени Вахтангова ничего не напоминало яростного Вахтангова, чтобы все театры стали одинаковыми. Этому процессу стандартизации, разумеется, очень помогли арест и оклеветание В. Э. Мейерхольда и других деятелей театра.

Что касается литературы, то достаточно взять первые пять томов «Литературной энциклопедии»<sup>1</sup>, чтобы приблизительно (очень приблизительно!) определить ее потери. В этих томах я насчитала: а) **138** писателей, о которых кратко сказано: «*Незаконно репрессирован, реабилитирован посмертно*»; б) **22** писателя, о которых этого не сказано (возможно, потому, что к моменту составления I тома о них еще не было сведений), но это можно подозревать по ряду биографических данных; в) **40** писателей, подвергшихся репрессиям, но выживших в лагерях и тюрьмах и потерявших «только» 7—10—17 лет жизни. Итого — **200** прозаиков, поэтов, критиков и литературоведов. Это только те, чьи фамилии начинаются с букв А — П (до половины П), и только те из них, кто попал в энциклопедию (а не попал в нее, скажем, Л. Авербах, который сыграл в советской литературе роль не менее видную и не более вредную, чем, к примеру, В. Ермилов).

Остается половина алфавита — 15 букв, от П до Я. Сколько еще за ними талантов, погибших в ту пору, «когда русская проза ушла в лагеря»<sup>2</sup>? К слову сказать, тут тоже соблюдалось полное равенство. Среди зеков были представлены все литературные группировки: рапповец Артем Веселый и перевалец Иван Катаев, лэфовец Сергей Третьяков и «попутчик» Бор. Пильняк, пролетарский поэт А. Гастев и крестьянский поэт П. Васильев, старый большевик А. Воронский и беспартийный И. Бабель, изысканный Осип Мандельштам и воинственный Борис Корнилов, и Виктор Кин, и Михаил Кольцов, и Бенедикт Лившиц, и Сергей Клычков — и многие, многие другие...

По некоторым данным, всего было репрессировано около 600 членов Союза писателей. Это — не считая писателей, которые еще не стали членами Союза. И не считая тех, кто не был писателем к моменту ареста, но мог им стать (кое-кто из выживших, как мы знаем, и стал).

<sup>1</sup> «Краткая литературная энциклопедия»: В 9 т. М., 1962—1978. К моменту написания статьи вышло пять томов.

<sup>2</sup> Из стихотворения Б. Слуцкого.

Расцвет культуры! Примерно такой, как при хунвейбинах в Китае.

Кстати, о культуре. Семанов с чуть запоздалым возмущением отзывается о статье лингвиста Г. Винокура, напечатанной в № 2 журнала «Леф» за 1923 год. Он утверждает, что Винокур в этой статье иронически отозвался о начатой в 20-х годах работе по созданию письменности у бесписьменных народов как о *«массовом производстве туземных Кириллов и Мефодиев»*.

Мне не удалось найти этот номер «Лефа». Поскольку горький опыт научил меня не доверять цитатам, вырванным из контекста, не могу судить, иронизировал ли Г. Винокур или восхищался. Но если даже Семанов критикует Винокура справедливо, как смеет он при этом умолчать, что через пятнадцать лет после опубликования упомянутой статьи, когда ряд малых народов уже не только имел письменность, но и создавал свою литературу, молодые побеги этой литературы были, как бритвой, срезаны репрессиями? Это началось как раз в благословенной второй половине 30-х годов (помните: *«Эти перемены оказали самое благотворное влияние на развитие нашей культуры?»*).

Удар, нанесенный в те годы литературе и культуре братских народов нашей страны (и тех, чья культура только еще зарождалась, и тех, у кого она была древнее нашей), был поистине чудовищным. Некоторые малые народы лишились чуть ли не всей своей любовно выращенной интеллигенции — во всяком случае, ее выдающихся представителей.

Не будем здесь говорить о потерях таких литератур, как украинская, грузинская, армянская. Это тяжкие, болезненные потери. Они хорошо известны, их понесли литературы древние, богатые, широко разветвленные.

Но вот что произошло, например, с удмуртской литературой. Судя по тем же первым пяти томам «Литературной энциклопедии» (напоминаю, что это только половина алфавита), в 30-х годах были арестованы и погибли три удмуртских писателя. Об одном из них, Дмитриии Корепанове, в энциклопедии сказано, что он — *«первый крупный удмуртский прозаик, творчество которого выросло на почве истории и фольклора родного народа»*, много сделавший для упорядочения орфографии родного языка. Другой, Михаил Коновалов, не только писатель, но видный фолькло-

рист — собиратель удмуртских народных песен, сказок и преданий, в частности о Пугачеве.

Много ли было в Удмуртии таких писателей?

В лагере погиб зачинатель черкесской художественной прозы Магомет Дышеков, известный также как выдающийся деятель культуры, — автор «Практической грамматики кабардино-черкесского языка» и ряда учебников.

Та же судьба постигла первого нанайского писателя — и первого председателя нанайского райисполкома — Э. Ходжера; зачинателей бурятской художественной прозы Ц. Дона — первого наркома просвещения Бурятской АССР и П. Дамбинова — редактора первой газеты на бурятском языке; марийского поэта Ипая Одыка, писавшего сонеты, терцины, октавы, переводившего на марийский язык Пушкина, Некрасова и Маяковского; зачинателя чеченской литературы Саида Бадуева. Тем же путем ушел из жизни известный татарский (я имею в виду казанских татар) писатель Галимджан Ибрагимов — ученый, публицист и общественный деятель, член Коммунистической партии с 1917 года, переводчик сочинений В. И. Ленина на татарский язык.

Той же смертью погибли башкирские писатели — А. Амантай, С. Галимов, Г. Давлетшин, И. Насыри, хакас Вас. Кобяков, осетин С. Кудаев. Точно так же окончил жизнь Текки Одулок — сын маленького, до революции вымиравшего народа юкагиров. Окончивший в 1931 году Ленинградский университет, Одулок был автором книги очерков «На Крайнем Севере» (предисловие к ней писал Тан-Богораз), статей «Юкагиры» и «Юкагирский язык» в БСЭ, широко известной и переведенной на многие иностранные языки повести «Жизнь Имтеургина-старшего».

В лагере или в тюрьме, с клеймом «врага народа», настигла смерть родоначальника якутской советской литературы Платона Ойунского (Слепцова), красногвардейца, бывшего предгубревкома и Председателя ЦИК Якутской АССР, делегата I съезда писателей. Платон Ойунский, переведший в 1921 году на якутский язык «Интернационал», ввел в родную поэзию неизвестный дотоле якутам силлабо-тонический стих. Он был поэтом, прозаиком, драматургом, лингвистом. Многие его стихи стали якутскими народными песнями.

Мартиролог далеко не полон, но продолжать его нет сил. По-моему, благотворное влияние 1937 года на культуру нашей страны выяснено достаточно. Во всяком случае, мы получили некоторое представление о происходившем в 30-х годах планомерном процессе уничтожения национальных культурных кадров, воспитанных советской властью в предшествовавшие годы.

А теперь перейдем к той области культуры, монопольное право на защиту которой в последнее время присвоили себе семановы. Я имею в виду охрану и изучение памятников старины — в частности и в особенности старины русской.

Известно, что Советское правительство с первых шагов своей деятельности приняло меры к охране этих памятников. И все же многие из них были разрушены или пришли в негодность в годы гражданской войны и голода. Это обидно и горько, но — понятно. Тут действовало множество факторов: и веками накопившаяся злоба народных масс, переносившаяся на памятники, предметы обихода царей и помещиков; и контрреволюционная деятельность духовенства в первые годы советской власти; и недостаток средств в разоренной стране; и низкий уровень иных местных руководителей плюс безудержное «творчество» других. Все это было — и от этого многое в истории нашей культуры пострадало.

Но храм Христа Спасителя в Москве был разрушен не в первые годы революции. Его спокойно, по плану, утвержденному Сталиным, снесли в тех самых благословенных 30-х годах. И храм Спаса-на-бору (XIV в., с перестройками в XVI в.) внутри Московского Кремля, и Чудов и Вознесенский монастыри (XIV—XV вв.) — там же, и Красное крыльцо Грановитой палаты — все это было снесено тогда же, с благословения или по прямому указанию Сталина. При этом на месте Вознесенского монастыря был построен никому не нужный Кремлевский театр бездарной архитектуры.

А ведь в ту пору раздавались еще протесты. Протестовал, в частности, против разрушения памятников русской культуры тогдашний директор Библиотеки имени В. И. Ленина старый большевик В. И. Невский. Но все было тщетно. Памятники архитектуры погибли под ударами ломов, а В. И. Невский — в лагере.

Таких примеров можно, впрочем, привести сотни.

Отсылаю Семанова к его единомышленнику и одножурналисту Владимиру Солоухину. В своих известных «Письмах из Русского музея», напечатанных в той же «Молодой гвардии», редактировавшейся тем же Анатолием Никоновым (1960. № 9, 10), Солоухин, кое в чем не уступающий Семанову, не позорит себя, по крайней мере, прославлением сталинских деяний в области культуры. Вот что он пишет:

*«С начала тридцатых годов началась реконструкция Москвы. Но ведь еще Владимир Ильич Ленин в беседе с архитектором Жолтовским дал твердое указание (можно найти в соответствующих документах), чтобы при реконструкции Москвы не трогать архитектурных памятников. Как и во многом другом — не послушались Ленина.*

*Да и не везде была реконструкция. Лучше всего об этом говорит то, что на месте большинства замечательных, удивительных и бесценных по историческому значению древних памятников архитектуры теперь незастроенное, пустое место».*

Далее Солоухин называет некоторые из снесенных памятников и заканчивает перечисление их цифрой. «Памятников архитектуры в Москве уничтожено более четырехсот...» Более четырехсот — только в Москве! И — начиная с 30-х годов! Интересно, сколько погибло их во время пожара Москвы 1812 года? Во время фашистских налетов в 1941 году? Какое нашествие варваров может сравниться по своим последствиям с нашествием Сталина?

И один и тот же редактор подписывает к печати и свидетельство Солоухина о варварском разрушении культуры Сталиным, и утверждение Семанова о его «благотворном влиянии на развитие нашей культуры». Поистине, «широк человек — надо бы сузить», как говорил Митенька Карамазов.

Цинизм, с которым Семанов датирует начало расцвета нашей культуры 1937 годом, не имеет себе равного. Казалось бы, как может он, Семанов, так пекущийся о русском народе, о его истории, о его «вечных ценностях», столь легко списывать со сталинского счета разгром русской — и советской и древней — культуры?

А вот может. И тем самым с головой выдает себя. Ибо, в сущности, нет ему дела ни до русского народа, ни до русской культуры, а важна и дорога ему идея



русской великодержавности, против которой так боролся Ленин, идея непосредственного наследования Советским государством исторических традиций и принципов государственности «Великия и Малыя и Бelyя Руси». А путевку в жизнь сторонникам русской великодержавности дал именно Сталин — и что в свете этого какой-то Чудов монастырь, и погибшие рукописи, и погибшие жизни.

Теперь ясно, каким образом цитированная выше апология тридцать седьмого года попала в статью, претендующую на философское звучание, какое место занимают сталинские репрессии в шкале «вечных ценностей». Ведь только после произведенного Сталиным в 30-х годах разгрома советской исторической науки оказалось возможным, фальсифицируя историю, задним числом реабилитировать русский царизм. Ибо в течение многих лет дисциплинированные «идеологи», по указаниям Сталина, под видом прославления русского народа фактически занимались именно реабилитацией русского царизма. Семанов, Чалмаев и прочие «неославянофилы» имеют полное основание питать признательность к Сталину.

Насильственное включение в коммунистическую идеологию чуждой ей идеи национальной исключительности, избранности одного народа было облегчено условиями войны против фашистских захватчиков. Шовинизм паразитировал на естественном чувстве национальной гордости (а народу было чем гордиться) и, пользуясь этим, легко перекраивал историю. Александр Невский, Юрий Долгорукий, Иван Грозный и Иван Калита были причислены к лику святых на том основании, что *«исторически прогрессивен оказался их жизненный путь»*<sup>1</sup>. В то же время были оклеветаны многие национально-освободительные движения (Шамиль и др.). Почти не было такого деяния царской армии, администрации, дипломатии, которое не обелялось бы послушными моментальниковыми, наловчившимися создавать амальгаму из марксистских фраз и шовинистических концепций. Чего стоила хотя бы до сих пор имеющая хождение легенда о «добровольном» вхождении в состав Российской империи всех угнетенных народов, усмирение которых сопровождалось потоками крови.

<sup>1</sup> «Исторически прогрессивен оказался твой аппетит» (из стихотворения Н. Коржавина об Иване Калите).

История засияла нестерпимым сусальным блеском. Со страниц исторических трудов, романов, учебников исчезла царская Россия — тюрьма народов, жан-дарм, усмирявший европейские революции, империя, угнетавшая свои колонии и в то же время зависевшая от иностранного капитала. Преступлением считалось прославлять тех ханов и баев, которые выступали против царизма, но, когда эти ханы и баи шли — и заставляли идти свой народ — *«под великую руку белого царя»*, им благосклонно выдавался титул «прогрессивных» (уж будто бы они предвидели Октябрьскую революцию и Союз Советских Социалистических Республик!).

Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства семановых, чалмаевых, лобановых и др.! Как им не любить, не лелеять ее? В ту пору великодержавный шовинизм был объявлен Сталиным единственной и незыблемо верной («вечные ценности») коммунистической идеологией, а всякое несогласие с ним — антикоммунизмом и антисоветчиной. Интернационализм оставляли, в качестве парадного абзаца, «для больших okazji». Все устроилось очень просто, и в этом, кстати говоря, — главная опасность единообразной, устанавливаемой сверху идеологии. Мировоззрение не **вырабатывается**, не упрочняется в борьбе с инакомыслящими — оно получается готовым, как догматы религии, а под прикрытием этих догматов может быть все что угодно, все, что сочтет полезным для текущего момента идеологический законодатель. И, по мановению пальца законодателя, инакомыслящие — скажем, черносотенцы, — не имея другой возможности защищать свои взгляды, с удовольствием устремляются **внутри** господствующей идеологии, уютно устраиваются в ней и с течением времени основательно ее перерабатывают. Так вырастают Софроновы с их гимном казачьей нагайке, Феликсы Чуевы с их агрессивным национализмом, а несколько позже — кандидаты философских и исторических наук, пытающиеся подвести марксистский базис под *«необходимость самовластья и прелести кнута»*.

Твердо стоя на этих сталинско-победоносцевских позициях, Семанов яростно обрушивается на одного из старейших большевиков, ученого-историка Михаила Николаевича Покровского, написавшего первую марксистскую историю России — «Русскую историю в са-

мом сжатом очерке». Вот как пишет Семанов о трудах Покровского, наиболее активная деятельность которого пришлась, подчеркивает автор, на 20-е годы:

*«Покровский и его последователи установили в ту пору подлинную монополию в исторической науке, весьма сурово расправляясь со всеми инакомыслящими. Покровский и его школа поставили перед всей историей России жирный знак минуса и переписывали эту историю по принципу «от противного». Так, в деятельности великого преобразователя России Петра I Покровский усмотрел только пьянство и сифилис. В его очерках русской истории (которые правильнее было бы назвать очерками антирусской истории) почти не упоминались Суворов и Кутузов, Севастопольская эпопея 1854—1855 годов и многие иные лица и события, ставшие (и оставшиеся!) священными для всякого гражданина-патриота».* (Подчеркнуто мною.—Р. Л.)

Покровский действительно писал историю, а не Священное писание. Ни Петр I, ни Суворов, ни Кутузов, ни даже декабристы, народовольцы (и, я полагаю, большевики) не были для него иконами, а были историческими деятелями своей эпохи со всеми ее особенностями и своеобразием. И ту грязь и кровь, которой полна история всякой страны (и нашей в том числе), он не находил нужным скрывать от читателей. Видимо, так следует поступать всякому настоящему ученому. Да и почему, собственно, Петр I и Суворов — при всех их талантах — должны быть «святыней» для социалистической страны? Даже на тех деятелей, которые возглавляли борьбу нашего народа за свободу и независимость, историк не должен молиться, он и их обязан показывать правдиво. Но чем, скажите на милость, священен для нас Александр Васильевич Суворов? Завоевательными походами против Турции? Войной против французской революции? Покорением Польши? Пленением Пугачева?

Да, Суворов был выдающимся полководцем и своеобразной, интересной личностью. Но ведь хан Батый<sup>1</sup>, император Наполеон Бонапарт, Фридрих Великий, адмирал Нельсон и генерал Ли тоже были люди не

---

<sup>1</sup> Сын хана Батыя хан Сартак был «анда» (побратим) Александра Невского. Монгольский отряд участвовал в Ледовом побоище в составе русских войск.— И. Э.

бездарные. Их походы и сражения надо изучать, книги о них надо писать, но значит ли это, что перечисленные выше талантливые завоеватели, выдающиеся души-тели свободы являются «вечной святыней» соответственно для монгольских народов, для французов, немцев, англичан, американцев?

Не думаю, чтобы с такой постановкой вопроса согласились коммунисты и вообще прогрессивно мыслящие граждане этих стран.

Отдавать должное талантам исторической личности вовсе не означает положительно оценивать ее деятельность. Тезис Семанова о незыблемости, вечности, святости положительных оценок, данных тому или иному государственному деятелю официальной исторической наукой или апологетической литературой, — тезис, по существу, антиисторический, глубоко реакционный. Не только ученый, просто мыслящий читатель не может сегодня оценивать Суворова так, как оценивал его Державин, относиться к династии Романовых так, как относился к ней Карамзин, а деятельность Сталина рассматривать в духе «Краткого курса истории ВКП(б)». Разумеется я не обвиняю ни Державина, ни Карамзина в фальсификации — просто они были людьми своей эпохи. И напрасно Семанов делает выговор своему сожурналисту М. Алпатову, осмелившемуся назвать Карамзина «*дворянским Геродотом*». «*Как можно, — в ужасе восклицает Семанов, — выразиться в таком тоне о Н. А. Карамзине! Карамзине, который был не только серьезным и оригинальным историком, но и крупным писателем, кому Пушкин посвятил «Бориса Годунова».*

Да почему же нельзя? Пушкин, как известно, посвятил Карамзину не только «Бориса Годунова», но и входящую во все собрания его, Пушкина, сочинений эпиграмму, из которой заимствован заголовок этой статьи:

#### НА КАРАМЗИНА

В его «Истории» изящность, простота  
Доказывают нам, без всякого пристрастья,  
Необходимость самовластья  
И прелести кнута.

Литературоведы, правда, делают сноску, указывающую, что принадлежность этой эпиграммы Пушкину с абсолютной точностью не установлена. Однако идей-

но-художественная близость ее творчеству Пушкина несомненна. Во всяком случае, эпиграмма ходила по рукам при жизни Карамзина. Почему же ныне, полтора века спустя, Семанов не позволяет определить социальную суть мировоззрения Карамзина — историка серьезного и оригинального, но ретроградного даже с точки зрения его современников?

Вернемся к Покровскому — историку тоже серьезному и оригинальному, но писавшему столетием позже.

Утверждение, будто Покровский и его последователи монополизировали историческую науку, звучит смешно для тех, кто знает реальную обстановку 20-х годов. О какой монополии могла идти речь, если книга Покровского была **первым** марксистским учебником русской истории? До его появления монополию в русской исторической науке держали монархисты, к которым примыкали кадеты. Мое поколение (мне в 1917 году исполнилось 12 лет) вплоть до 1922 года училось по учебнику монархиста Платонова, взгляды которого на русскую историю были, помнится, чуть-чуть прогрессивнее Семанова. Естественно, что большевик Покровский боролся и с монархическими и с кадетскими концепциями русской истории. Что же до методов борьбы, то они уж конечно ни в какое сравнение не могут идти ни с методами, применявшимися для «пресечения» самого Покровского, ни — тем более — с чудовищными расправами, учиненными Сталиным над советскими историками во второй половине 30-х годов.

Я не собираюсь заявлять, что в трудах М. Н. Покровского нет недостатков и ошибок. Не будучи историком, не беру на себя смелость анализировать эти труды. Однако при внимательном чтении любой читатель заметит, что если в чем можно обвинить Покровского, то, конечно, не в «антирусских» тенденциях, а в некотором отзвуке «экономического материализма». Очень много экономики и мало политики. Мало исторических лиц, мало хронологии. А главное — недостаточно прослежено опосредование политики и идеологии, которые подчас слишком прямо, слишком непосредственно выводятся из «цен на пеньку и хлопок».

Это — детская болезнь, так же свойственная раннему периоду нашей исторической науки, как вульгарный социологизм и «левое ребячество» — раннему периоду

нашей литературы. Почему бы и не сказать об этой болезни? Почему бы даже не подчеркнуть эти недостатки, не замалчивая при этом, что они являются продолжением достоинств книги, которая впервые ввела непосредственно в ткань изучения русской истории многие важнейшие экономические материалы?

К сожалению, Семанов говорит не об этом.

Не могу удержаться, чтобы не привести мнение ученого, право же, знавшего историю. Этот ученый — Владимир Ильич Ленин. Вот что писал он в декабре 1920 года о той самой книге, которую Семанов обозвал «*очерками антирусской истории*»:

«Тов. М. Н. Покровскому.

Тов. М. Н.! Очень поздравляю Вас с успехом: чрезвычайно понравилась мне Ваша новая книга: «Русская история в самом сжатом очерке». Оригинальное строение и изложение. Читается с громадным интересом. Надо будет, по-моему, перевести на европейские языки.

Позволю себе одно маленькое замечание. Чтобы она была **учебником** (а она должна им стать), надо **дополнить ее хронологическим указателем**. Поясню свою мысль; примерно так: 1) столбец хронологии; 2) столбец оценки буржуазной (кратко); 3) столбец оценки **Вашей**, марксистской, с **указанием страниц Вашей книги**.

Учащиеся должны знать и Вашу книгу и указатель, чтобы не было **верхоглядства**, чтобы **знали факты**, чтобы учились сравнивать старую науку и новую. Ваше мнение об этом дополнении?

С ком. приветом *Ваш Ленин*».

Отметим попутно требование Ленина, чтобы изучающие историю **знали факты**, а также буржуазную оценку этих фактов, **чтобы не было верхоглядства**. Оценим деликатную форму критики. Но сейчас дело не в этом. И уж конечно не в том, чтобы заставить Семанова замолчать под тяжестью ленинского авторитета. Хотя мне лично как-то трудно представить себе, чтобы Ленин рекомендовал в качестве учебника очерки антирусской истории, я все же не предлагаю решить, что прав Ленин, потому что он — Ленин (кстати, сам он этого никогда не добивался). Прошло пятьдесят лет. А вдруг Ленин ошибся, а Семанов прав?



Согласитесь, однако, что еще меньше оснований верить на слово Семанову лишь потому, что он — Семанов. Есть простейший выход — перечитать труд М. Н. Покровского.

Сделав это, мы без труда обнаружим истину. Ленинская оценка справедлива, хотя письмо не является подробной рецензией, а представляет собой лишь краткий читательский отклик. А Семанов — ошибается?

Нет, Семанов **лжет**. При чтении, например, мы обнаруживаем, что в четырехтомных очерках русской истории есть глава «Петровская реформа» **объемом в 7 печатных листов**. Можно соглашаться или не соглашаться с оценкой петровской реформы, содержащейся в этой главе. Но как, не прибегая к прямой лжи, утверждать, что в деятельности Петра Первого Покровский не усмотрел ничего, кроме пьянства и сифилиса?

И тут мы подходим к вопросам из области научной — и не только научной! — этики, к вопросам морали, нравственности, о которых так будто бы печется Семанов, ратуя за безотносительные духовные ценности.

Почему нельзя сказать правду, назвав Карамзина «дворянским Геродотом» (что вовсе для Карамзина и не обидно, поскольку Геродота прозвали «отцом истории»), но можно оболгать Покровского, обозвав его «антирусским историком»?

Почему левовцам 20-х годов Семанов ставит два с минусом за то, что они *«избегали вспоминать известные ленинские высказывания»*, хотя сам он, Семанов, в этой статье *«избегает вспоминать»* не только приведенное выше письмо к М. Н. Покровскому, но и известные высказывания Ленина по национальному вопросу? <sup>1</sup>

Видимо, разница в том, что вышеупомянутые левовцы были, как язвительно замечает Семанов, *«поборниками всего «левого»*, а он, Семанов, *поборник всего*

---

<sup>1</sup> Ленин В. И. «О национальной гордости великороссов», «К вопросу об автономизации».

«правого» — и ему, значит, научный закон добросовестности не писан?

Удивительная закономерность: чем больше человек, бия себя в грудь, кричит о «вечных истинах», о «высших и незыблемых достоинствах души», тем реже вспоминает он о простых человеческих ценностях. Например, об элементарной честности. Это еще Грибоедов в «Горе от ума» заметил. Помните?

...И крепко на руку нечист...

Когда ж о честности высокой говорит,  
Каким-то демоном внушаем:  
Глаза в крови, лицо горит,  
Сам плачет, и мы все рыдаем.

В числе вечных, неизменных и не под влиянием никаких обстоятельств **не изменяющихся** ценностей Семанов числит национальный характер народа. Не знаю, всякого ли народа (об этом он не говорит), но национальный характер русского народа есть, по его мнению, нечто раз навсегда данное, вечное и представленное единственным психологическим типом. Правда, отсюда рукой подать до расизма, ибо если психологический тип народа един, неизменен и вечен, то иначе как кровью, расой не объяснишь. Правда и то, что, провозглашая неизменность русского национального характера с древнейших времен до наших дней, семановы и прочие радители обкрадывают русский народ, объединяя его характер и историю, отказывая ему и в богатстве психологических типов, и в способности русских людей переделывать себя самих в процессе творимой ими истории.

Толстовский капитан Тушин, которому Семанов вручает монопольное право представлять русский народ, действительно обладает рядом черт русского национального характера, и эти психологические черты действительно прекрасны и благородны. Несомненно и то, что людей, похожих на Тушина, можно найти и среди декабристов, и среди народовольцев, и среди большевиков.

Но разве только людей одного психологического типа? И неужели этот психологический тип есть некая таинственная неизменная субстанция, только передевающаяся в различные исторические костюмы? Ведь есть в русском национальном характере и другие черты — и более и менее благородные, но не менее типич-

ческие. У того же Льва Толстого в его многонаселенных романах вы найдете множество русских людей с противоположными Тушину психологическими чертами, также весьма характерными для русского народа: вспомним хотя бы казака Лукашку, Василия Денисова, старого князя Болконского, Наташу Ростову... А у других русских классиков? А в русской истории?

Можно, разумеется, сопоставить капитана Тушина, скажем, с роستانовским Сирано де Бержераком — тогда сразу, и очень выпукло, будут обрисованы национальные типы: вот каков русский герой, а вот каков французский. Можно еще вспомнить литературного предка Тушина — лермонтовского Максима Максимовича — и его несомненного потомка майора Березкина из романа В. Гроссмана «За правое дело». Но чтобы ограничить национальный характер русского народа одним психологическим типом, надо поставить запрещающие знаки перед всеми другими литературными и нелитературными героями.

Если утверждать, как это делает Семанов, «скромность, неприметность и застенчивость» Тушина в качестве основных русских национальных черт, то куда по этой схеме девать, к примеру, Емельяна Пугачева? Дениса Давыдова? Веру Фигнер? Василия Чапаева? А если говорить о литературных героях — тургеневских Рудина и Базарова, горьковских Фому Гордеева и Степана Кутузова, наших современников Григория Мелехова и Мишку Кошевого, Любку Шевцову и Сергея Тюленина? Или, скажем, любимый солдатский герой Василий Теркин, он, конечно, скромный, но ни «неприметным», ни «застенчивым» его не назовешь. А уж он ли не русский человек?

Зачем понадобилось Семанову вытаскивать на свет божий старинную концепцию о смирении и долготерпении как основных добродетелях русского народа, да еще приплести к этой концепции толстовского Тушина? Почему во всей истории русского многострадального крестьянства он нашел только одного героя, который должен остаться для нас «вечной святыней», — Ивана Сусанина? Почему не заметил он бунтарей, не мирившихся с рабством, шедших на плаху и в петлю, борясь против царя и господ, — Степана Разина, Степана Халтурина <sup>1</sup>, Тимофея Михайлова <sup>1</sup>? Почему и в рус-

<sup>1</sup> Казненные народовольцы.

ской истории, и в русской литературе для него существуют только два типа героев: великий вождь, ведущий державу Российскую к победам (неважно, во имя чего и за чей счет), и рядовой, скромный и неприемный герой, умирающий, как ему положено, за эту державу? Почему, как по мановению жезла, исчезли из истории России ее борцы за свободу, ее ученые и мыслители («интеллектуалы», как презрительно именуется интеллигенцию Семанов), ее художники и поэты, травимые русским самодержавием?

Я вижу, что нагромодила много вопросов. Пора ответить на них.

Дело в том, что, возмущаясь намеками и аллюзиями, содержащимися якобы в произведениях некоторых современных писателей, Семанов сам весьма склонен к аллюзиям — правда, апологетического характера. Если в произведениях, обличающих Ивана Грозного и Николая I, он усматривает оскорбление современности, это объясняется не особенностями его литературного зрения, а спецификой его политического мышления<sup>1</sup>. Поскольку вся история государства Российского — от Владимира Святославича включая Иосифа Виссарионовича — для него есть непрерывный и плавный процесс укрепления державного могущества, поскольку *«старь новизну держит»*, а *«прошлое неразрывно связано с настоящим»* — естественно, что любое разоблачение нашего рабского прошлого, любое правдивое слово о тирании русских князей, царей и императоров, о пытках и дыбах, об удушении свободного слова, о бесправии многочисленных народов, населяв-

---

<sup>1</sup> Перечисляя на стр. 317, чем гордятся советские граждане, Семанов ставит рядом «подвиг народа, освоившего гигантские пространства Европы, Азии и Америки (?)» и «Великую русскую (!) революцию». Если бы не затесавшаяся в перечисление Америка, можно было бы подумать, что речь шла об индустриализации. Следует напомнить, во-первых, что открытую русскими Аляску мы не освоили — династия Романовых ее продала; что освоение гигантских пространств Азии было связано с покорением и вытеснением владевших ранее этими пространствами малых народов (да, по сути, и не было освоением, потому что богатства этих земель начали разрабатываться лишь после Октябрьской революции); и, наконец, не последнее по значению — что Великая Октябрьская социалистическая революция не есть дело рук и национальное достояние одного только русского народа, а всех народов нашей страны и что представители всех этих народов «создавали гигантскую индустрию, ложились под вражеские танки, шли на таран, закрывали собой амбразуры».

ших нашу страну, воспринимаются Семановым как антигосударственное деяние.

Он вовсе не призывает, как это может показаться, к углубленному изучению истории нашей страны — в том числе и древней (кто бы мог против этого возражать?). Он призывает к созданию исторического иконостаса, к исключению из истории всего не парадного, не вызывающего поклонения.

Он утверждает, что важнейший — притом безотносительный! — ценностный критерий общественных явлений: способствует ли данное явление укреплению нашей государственности или нет? А так как, по его мнению, современный советский человек *«ощущает себя наследником своих предков, законным и благодарным продолжателем их дела в строительстве и созидании нашего великого государства»* (выделено мною. — Р. Л.), то как же не возмущаться ему «критиками» и «нигилистами»? Ведь не Степан Разин, не Емельян Пугачев, не Радищев, Чаадаев, Пестель и Пушкин, не Белинский, Герцен и Чернышевский, не Некрасов и Салтыков-Щедрин, не Желябов и Софья Перовская, не Георгий Плеханов и не Лев Толстой строили и созидали великую Российскую империю. Они ее, наоборот, подрывали и разрушали. Естественно, что Семанов ведет свою родословную не от этих предков. Он ощущает себя (и стремится, чтобы вся советская молодежь себя ощущала) не их наследником, а наследником Ивана IV, Петра I, Екатерины II — и чем черт не шутит! — может быть, и Николая I? Ведь как-никак декабристы были смутьяны, а Николай I свой вклад в могущество империи сделал: завоевал Кавказ, расширил пределы государства, подавил венгерскую революцию, превратил Россию в тюрьму и держал в страхе всю Европу. Правда, начав царствование виселицами, он кончил поражением в Крымской войне. Но это можно опустить, оставив в сознании читателя из всей Крымской войны лишь героическую защиту Севастополя.

«Опуская» в нашей истории все то, что способствует не «укреплению государственности», а укреплению революционного сознания, Семанов преследует вполне определенную цель. Он пытается погасить пытлившую мысль, воспитать молодежь в духе памятной мне со школьных лет «молитвы после учения»:

*«Благодарим тебе, Создателю, яко сподобил еси нас*

*благодати твояе воеже внимати учению, благослови наших начальников, родителей и учителей, ведущих нас к познанию блага, и подаждь нам силу и крепость в продолжении учения сего».*

«Сие учение», внедренное в советскую историографию Сталиным (именно по его указанию «переписывалась» как древняя, так и современная история) и ныне успешно разрабатываемое семановыми, есть самая обычная, заурядно-великодержавная шовинистическая концепция, под которой могли бы подписаться и Аракчеев, и Победоносцев, и Столыпин. Вклад, сделанный в это учение некоторыми современными кандидатами исторических наук, заключается, с одной стороны, в неумелой маскировке его фразами о коммунизме и революции, с другой — в умелом паразитировании на насущных для современной молодежи нравственных проблемах, на поисках духовного идеала, на заново решаемых каждым поколением вопросах добра и зла. Весьма годится при этом и пробуждающийся у нынешних молодых людей острый интерес к древнерусскому искусству, архитектуре, музыке — интерес сам по себе благородный (возник он, укажем попутно, как реакция на штампованную серость раскрашенных полотен, унылых кварталов современной застройки и бодрых радиопесенок, текст и музыка которых не богаче лексикона людоедки Элочки). Отдавая должное гениальному Андрею Рублеву, под шумок подсунуть ядовитую идейку национальной исключительности; восхищаясь архитектурой Кижей, проповедовать нетленность и вечность русской государственной идеи; любуясь клинками суворовских «чудо-богатырей», умалчивать о том, сколько свободолюбивых — и русских и нерусских — голов было снесено этими клинками, — вот линия поведения, вот тактические приемы семановых.

Эти приемы надо знать, понимать и развенчивать, потому что наивные люди могут воспринять писания Семанова как патриотические. Это неверно: они — антипатриотические. Как всякий великодержавный шовинизм, они вызывают реакцию в виде обострения национализма у малых народов, порождают чувства настороженности и недоверия по отношению к народу, от имени которого (хотя без всякого его полномочия) семановы во всеуслышание объявляют, что он — руководящий, самый лучший и что вся его



история (включающая и угнетение других народов) — святыня. Такие чувства отнюдь не способствуют не только воспитанию интернационализма, но и укреплению государства.

Любовь к родине, верность ей, гордость тем лучшим, что есть в ее истории, — чувство естественное, как дыхание. Об этом хорошо сказал Лермонтов в своей «Родине», где он не поминал ни царей, ни князей:

Люблю отчизну я, но странною любовью!  
Не победит ее рассудок мой.  
Ни слава, купленная кровью,  
Ни полный гордого доверия покой,  
Ни темной старины заветные преданья  
Не шевелят во мне отрадного мечтанья...

Такая любовь к родине, как у Михаила Лермонтова, вполне совместима с признанием и уважением патриотических чувств других народов. Перечтите «Валерик», «Беглец» и другие произведения офицера кавказской армии Лермонтова и попробуйте найти у него хоть одно слово радости или гордости по поводу завоевания русскими Кавказа. Или — хоть одно слово осуждения воинов Шамиля, сражавшихся за свою национальную свободу. Таких слов у Лермонтова вы не найдете, хотя он и не изучал в Московском университете учения о справедливых и несправедливых войнах. Почему же ныне нам предлагают восхищаться завоевателем Кавказа генералом Ермоловым, а не борцом за национальную свободу Шамилем?

Любовь к родине только в том случае является высоким достоинством человеческой души, если в этой душе уживается с ней уважение к патриотизму других народов — не только больших, но и малых. Уважение, признание их национального достоинства, их права — точно такого же, как ваше — на суверенитет, на любовь и привязанность к своей родине, своей земле, своей культуре. «Я люблю свою мать больше всего на свете» — это естественно. Но «моя мать выше всех матерей на свете» и «вы должны любить мою мать больше, чем свою» — это противоестественно.

Патриотизм вовсе не един, и не вечен, и не безотносителен, как утверждает Семанов. Во-первых, патриотизмов столько, сколько наций и государств, а во-вторых — это одно из наиболее относительных и растяжимых по-

нятий. Кто, например, был более верен своей родине — раскаявшийся. Достоевский или нераскаявшийся эмигрант Герцен? Нет, я не собираюсь здесь ни сравнивать таланты, ни говорить о метаниях души. Но ведь нельзя сомневаться в том, что оба горячо любили Россию. Так кто же был ей более верен: Достоевский, подписавшийся под формулой «православие, самодержавие, народность», или отказавшийся вернуться на родину Герцен<sup>1</sup>?

По-моему, Герцен. А по-вашему?

Чей патриотизм является «высоким достоинством» человеческой души — пораженца Ленина или оборонца Милюкова? Ромена Роллана или Раймона Пуанкаре? Жанны д'Арк или императора Наполеона Бонапарта? Гарибальди или Муссолини? Тельмана или Гитлера? Во всякой стране, у всякого народа вы найдете два вида патриотизма: один — шовинистический, расистский, утверждающий превосходство своего народа над другими и призывающий — под различными предлогами — к закабалению их или к «опеке» над ними; другой — революционный, освободительный, борющийся за свободу и своего, и других народов — «за нашу и вашу свободу»<sup>2</sup>. Вы — за какой? Нельзя сидеть на двух стульях, нельзя опираться одновременно на Владимира Ленина и Константина Победоносцева.

\* \* \*

Кажется, все ясно. Ясно, что статья Семанова (как и ряд других статей «Молодой гвардии») представляет собой последовательное логическое развитие сталинской великодержавной концепции и вся — с начала до конца — скрыто полемизирует с Лениным. Но не только с Лениным — и с Плехановым, и с Чернышевским, и с Герценом, и с Радищевым, со всеми русскими революционными мыслителями, **противостоящими твердые русского самодержавия, а не ощущавшими себя «законными и благодарными» продолжателями его дела.** Не так уж часто можно прочесть в нашей периодике выступление, с такой определенностью — и с такой откоро-

---

<sup>1</sup> Я сознательно ссылаюсь на Достоевского, а не на любимых публицистов «Молодой гвардии» К. Леонтьева и В. Розанова, потому что, упоминая о Герцене, надо брать сравнимые величины, хотя, надо полагать, и К. Леонтьев, и В. Розанов, и В. Шульгин, по-своему — по-черносотенному — любили родину.

<sup>2</sup> Лозунг Герцена и польских революционеров.

венностью! — обнаруживающее, куда увел Сталин нашу идеологию<sup>1</sup>.

Разумеется, Семанов не называет Сталина: он только цитирует его без кавычек и воздает ему хвалу за 1937 год. Разумеется, Семанов не полемизирует с Лениным открыто — он только воровски скрывает его высказывания. Открыто он нападает лишь на современных «интеллектуалов», «нигилистов» и «ревизионистов» — и их, впрочем, не называя по именам. Он, например, именует «врагами» (о, золотые времена второй половины 30-х годов!) тех современных писателей и историков, которые, углубляясь в прошлое России, осмеливаются находить в нем мрак, невежество и реакцию. Таким писателям и историкам он отказывает даже в праве любить родину.

Но ведь не современные «нигилисты» писали вот эти слова:

*«Я не научился любить свою родину с закрытыми глазами, с преклоненной головой, с запертыми устами. Я нахожу, что человек может быть полезен своей родине только в том случае, если ясно видит ее; я думаю, что время слепых влюбленностей прошло, что теперь мы прежде всего обязаны родине истиной»* (Чаадаев П. Я. Апология сумасшедшего).

И не современным «ревизионистам» принадлежат вот эти строки (которые в сталинские времена были изъяты из всех программ партсети, но которые все же не удалось изъять из Полного собрания сочинений Ленина):

*«Мы помним, как полвека назад великорусский демократ Чернышевский, отдавая свою жизнь делу революции, сказал: «жалкая нация, нация рабов, сверху донизу — все рабы». Откровенные и прикровенные рабы великороссы (рабы по отношению к царской монархии) не любят вспоминать об этих словах. А, по-нашему, это были слова настоящей любви к родине...»* (Ленин В. И. О национальной гордости великороссов).

Видимо, в понимании Семанова «врагами родины» являются и Чаадаев, и Чернышевский, и Ленин.

Дальше в этой же ленинской статье сказано:

*«Никто не повинен в том, если он родился рабом; но раб, который не только чуждается стремления к своей свободе, но оправдывает и прикрашивает свое рабство*

---

<sup>1</sup> Теперь (1990 г.) это самое обыкновенное дело.— И. Э.

(например, называет удушение Польши, Украины и т. д. «защитой отечества» великороссов), такой раб есть вызывающий законное чувство негодования, презрения и омерзения холуй и хам».

Думаю, что комментировать эти строки не нужно. Напомню лишь еще раз, что имя Суворова, душившего Польшу, Семанов называет «священным для всякого гражданина-патриота». А Украину, согласно сталинской концепции, вообще никто не душил — даже Екатерина II, осчастливившая украинцев крепостным правом. Впрочем, любителей оправдывать и прикрашивать удушение других народов ссылкой на «защиту отечества» можно найти и кроме Семанова.

Лишней, вероятно, покажется оговорка, что как Ленин и Чернышевский, так и современные писатели видели и видят в русской истории не только «мрак, невежество и рабство», но и силу духа, подвиги тружеников и борцов России, сверкающие имена ее героев и гениев, самопожертвование ее просветителей.

Они видят **и то и другое**. Для историка, как и для художника, не может существовать запретных тем, запретных коллизий, запретных имен. «Белые пятна» на карте нашей истории надо заполнять, где бы они ни образовались: в XII веке или в нашем советском пятидесятилетии. Суть в том, как относится историк к изучаемому им прошлому: как истинный исследователь, для которого нет святынь, а есть события и научный их анализ, или как апологет, «опрокидывающий политику в прошлое» и задавшийся целью во что бы то ни стало это прошлое обелить и приукрасить.

Поскольку для Семанова история России не предмет научного исследования, а вся — со всеми своими погромами, виселицами, застенками, попами и царями — «святыня», он грудью встает на защиту всей, чохом, российской государственности. Именно ее деятелей, ее воинов, ее певцов и защитников, а не ее ниспровергателей, борцов против нее, великанов духа — считает Семанов святыми именами русской истории. Корни советской социалистической государственности он находит в тьме веков — то ли в эпохе Петра I, то ли в застенках Малюты Скуратова, то ли еще раньше — в Киевской Руси.

1970—1971

## ХОТИМ ЛИ МЫ ВЕРНУТЬСЯ В XVI ВЕК?

...а бойся единственно только того,  
Кто скажет: «Я знаю, как надо!»

А. Галич

Эпиграф не точен. Страшна ведь не уверенность того, кто знает, «как надо», в своей правоте. Страшна его уверенность в своем праве решать за других — не считаясь с реальной жизнью, мыслями и чувствами тех, кого он зовет за собой.

К сожалению, такое впечатление производит и программа, предложенная Солженицыным в его обращении к руководителям Советского Союза (слово «вождям», поставленное им в заголовке, не слишком соответствует нынешним взаимоотношениям народа со своими руководителями).

Впрочем, в предисловии к «Письму» автор пишет, что он «готов тотчас и снять» свои предложения, если кем-нибудь будет выдвинута «не критика остроумная, но путь конструктивный, выход лучший и, *главное, вполне реальный*, с ясными путями» (подчеркнуто мной.— Р. Л.).

Условие не слишком справедливое: ведь программа, выдвигаемая самим Солженицыным, прежде всего, абсолютно нереальна. На вызов его я ответить не берусь, ибо истиной в последней инстанции не обладаю. Но, может быть, так вот сразу и невозможно найти вполне конструктивный, точный и ясный выход из исторической трагедии? Может быть, все-таки стоит заняться критикой программы Солженицына — пусть недостаточно остроумной, но честной,— чтобы попытаться в конце концов совместными усилиями выход найти?

Начну с того, с чем я в солженицынском документе согласна,— с его критики официальной лжи, произвола и беззакония, системы привилегий, постыдного прагматизма в политике, удушения мысли и насилия над совестью. Все это — правда, и этой правдой силен и велик Солженицын.

Но он не удовлетворяется, к сожалению, тем, что своим великим даром может, как пушкинский пророк,— «глаголом жечь сердца людей» и тем побуждать их искать выхода из трясины. Он хочет еще быть практиче-

ским политиком и составляет для нас маршрут, следуя которому якобы спасется Россия.

А вот этого он не может. Этого он не умеет. И в этом качестве, в роли практического политика, он настолько слабее, настолько даже нравственно ниже, чем в своем существе художника-обличителя, что становится обидно: неужели к такому вот идеалу зовет нас человек, сумевший так обличить и заклеить пороки нашего общества?

Что ж, перейдем к практической программе Солженицына.

Согласно его концепции, национальному существованию России (Советского Союза как государства для него не существует) грозят две главные опасности: война с Китаем и то, что он называет «тупиком цивилизации». Не будем спорить, две или больше. Займемся этим двумя.

Итак — война с Китаем. Опасность этой войны, бессмысленность и трагичность ее для обоих народов — нашего и китайского — описаны Солженицыным со всей силой его таланта, с неприкрытой сердечной болью. И вывод сделан верный: выиграть эту войну ни одна сторона не может, этой войны вообще не должно быть, ее надо **избежать**.

Все правильно. Только вот **как** ее избежать?

И здесь Солженицын дает изумительный по простоте рецепт: отказаться от марксистско-ленинской идеологии. Отдать ее китайцам. Так и сказать: вы — отцы и учителя, мы — ревизионисты. И китайцы тотчас откажутся от своих военных планов и «взвоят на себя весь мешок неисполнимых международных обязательств». А мы, русские, освобожденные и от марксистской идеологии, и от международных обязательств, и от гонки вооружений, поедем с помощью лошадей и плугов (от сох Солженицын, надо полагать, все же согласится отказаться?), — так вот, мы поедем, вооруженные лишь плугами и русским национализмом, осваивать необозримые просторы Восточной Сибири. И тем спасем Русь, в то время как весь мир и соседний Китай будут корчиться от истощения природных ресурсов.

Непонятно, чего здесь больше: простодушной наивности, так свойственной художникам, когда они берутся тачать сапоги, или свирепого национального эгоизма, противоречащего принципам гуманности, исповедуемой Солженицыным.

Я думаю все же, что наивности тут меньше, чем шовинизма. И вот почему: в разделе «Война с Китаем» автор вскользь, как бы мельком, упоминает о второй причине, по которой может возникнуть эта война (первая, по Солженицыну, напомним, — борьба за главенство в марксистско-ленинской идеологии). Вторая, говорит он, это «динамическое давление миллиардного Китая на до сих пор не освоенные наши сибирские земли... и это давление будет возрастать с ростом общей перенаселенности земли» (подчеркнуто мной.— Р. Л.). Далее автор пишет: «В конце XX века отдавать сибирскую территорию мы не можем, это несомненно». И признает, что в конце концов, «в отдаленном будущем», война с Китаем за эту территорию все-таки будет, но уже «действительно оборонительная, действительно отечественная».

Сиречь, на этом яблоке, именуемом земным раем, неизбежна грызня народов между собой за еще не изгрызанный кусок территории? Но если это так, кто повинит, что повинна в этом марксистско-ленинская идеология, утверждающая как раз обратное? И что если руководители нашей страны публично от этой идеологии отрекутся (не ограничиваясь отступлением от нее в практической политике), то китайские руководители, польщенные признанием своего идеологического первенства, перестанут притязать на сибирские территории? Пожалуй, наоборот: у всенародно объявивших себя ревизионистами сам бог велит отнять землю.

Как раз согласно той марксистско-ленинской идеологии, на которую Солженицын возлагает ответственность за все — в том числе и за опасность войны с Китаем, — никаких противоречивых интересов у советского и китайского народов нет, и ни воевать, ни ссориться им не из-за чего, а надо совместно строить социализм. На фоне сегодняшнего международного положения звучит это достаточно наивно, согласна. Но, во-первых, не более наивно, чем предложение «отдать идеологию» соседу, а во-вторых, что делать! — сущность-то идеологии, смысл ее именно в этом, в солидарности трудящихся, в пролетарском интернационализме. Тех, кого Солженицын упрекает в том, что они **придерживаются** этой идеологии, следовало бы упрекать в том, что они ее **не придерживаются**. Если современные отношения между Китаем и СССР находятся на грани войны, то не потому, что какая-то из сторон отстаивает марксизм-ленинизм, а потому, что обе от него отступились.

Предложить «вполне реальный», как требует того Солженицын, выход я не берусь (отмечу только, что выход, предлагаемый Солженицыным, — вообще не выход). Надежды на то, что в ближайшее время наши и китайские руководители внезапно прозреют, подадут друг другу руки и начнут вместе, дружно, ко всеобщему удовлетворению, осваивать пустующие территории, — такой надежды у меня нет. Было время, когда нам казалось, что близко исполнение мечты Мицкевича, сообщенной нам Пушкиным («когда народы, распри позабыв, в единую семью соединятся»). Сегодняшние мировые события (советско-китайские отношения, Ближний Восток, Северная Ирландия, фламандско-валлонские отношения в Бельгии, англо-французские в Канаде — не говоря уже о странах традиционного расизма и традиционного же антисемитизма) отодвигают реализацию этой мечты в необозримое будущее. Можно признать — я признаю это с горечью (а Солженицын, похоже, с удовлетворением!), — что на данном историческом этапе интернационализм потерпел серьезное поражение, надеюсь, что временное. (Замечу в скобках, что интернационализм, с моей точки зрения, никак не менее важная, а для практической политики даже более существенная часть марксистско-ленинской идеологии, чем атеизм.) Да, интернационализм потерпел поражение. Да, во всем мире бушует сегодня оголтелый национализм всех оттенков. Израильтян — утопить в море! Палестинцы — пусть подышают! Вообще все прочие пусть устраиваются как хотят, пусть хоть перемрут от истощения, а я буду заботиться о себе и своих! Так что откровенный крайний национализм и изоляционизм предлагаемой Солженицыным программы не исключителен в сегодняшнем мире; его призыв — один из симптомов кризиса современного общества — воспринимается лишь особенно остро благодаря талантливости и заслуженной популярности автора — заслуженной предыдущими его выступлениями в защиту гуманизма.

Но вот **этот** его документ гуманистическим не назовешь. Странно это произнести, трудно написать, но предлагаемая писателем программа идеологически где-то смыкается даже со сталинизмом, разоблачению которого автор посвятил свои лучшие страницы.

Впрочем, известно, что люди, идущие в противоположных направлениях, в каком-то пункте могут встретиться. В данном случае этот пункт — национализм. По



каким бы мотивам ни отбросил Сталин Передовое Учение, как иронически называет Солженицын марксизм, он его **отбросил**, это признает и сам Солженицын — и он отнюдь не упрекает, а, наоборот, одобряет Сталина за то, что тот во время войны взял на вооружение русский национализм (это, пожалуй, единственное, в чем наш автор согласен со Сталиным).

Конечно, русский национализм Солженицына — не великодержавный, агрессивный национализм Сталина: Солженицын не призывает завоевывать, владеть, учить, первенствовать. Это скорее утопический национализм некоей воображаемой «страны Муравии»: жить тихо, никому не мешая и чтоб тебе никто не мешал («колодец мой, и ельник мой, и шишки все еловые»). Только напрасно писатель пытается внушить себе и нам, что такой «тихий» национальный эгоизм возможен. Невозможен. Национализм как мировоззрение, как уклад жизни, особенно у великого народа, неизбежно из «тихого» перерастает в агрессивный. Только поначалу он выражается в том, что до других народов ему просто нет дела.

Тут, пожалуй, будет уместно отметить то, чего мы раньше не замечали: ни в своих потрясающих романах, ни в публицистических выступлениях (включая и последний документ) Солженицын, предъявляя подробный счет и Сталину и неосталинизму, почти не касается проблемы национального угнетения, преступлений, совершенных и совершаемых против малых народов нашей страны. А ведь в той яме, в которой закопаны жертвы «Архипелага ГУЛАГ», похоронены не только русские, но и люди других национальностей. И в нее же Сталин затолкал такие «устарелые», с точки зрения националистов, понятия, как «братство народов», «интернациональная солидарность», «пролетарии всех стран, соединяйтесь!» — сохранив их лишь в мертвом виде, как камуфляж.

Теперь Солженицын предлагает от этой «мертвой идеологии», от этого камуфляжа освободиться и начать строить жизнь нашего общества открыто и откровенно, на законах крайнего русского национализма и изоляционизма. Ниже мы будем рассматривать это предложение с позиций нравственных. А пока поставим другой вопрос — вопрос практической политики с **точки зрения Солженицына**: спасет ли национализм русский народ?

Нет, не спасет. Ни русский народ, ни какой-либо другой народ, ни человечество. Агрессивный, как сказа-

но выше, по самой своей природе национализм (отметим, что это раньше всех подчеркнул в своем полемическом ответе на «Письмо» Солженицына академик Сахаров) при своем дальнейшем развитии может привести только к взаимоуничтожению народов, к уничтожению цивилизации вообще. Потому что — и Солженицын это знает — земной шар становится все теснее, все обжитее. Прошли времена открытия и заселения новых земель. Прошли и времена эффективного и безнаказанного покорения и ограбления аборигенов пришельцами, вооруженными более совершенным оружием и более высокой культурой. Еще хватает на планете остатков колониаторской системы, но необратимый процесс освобождения народов начался — и здесь как будто марксизм не ошибся? И жить придется на этой тесной планете всем народам — и великим, и малым, и обладающим естественными богатствами недр, и обделенным ими, и вчерашним рабам, и вчерашним господам. И — как жить? «Пусть сами разбираются как хотят, — гласит концепция Солженицына, — а мы будем доедать свой кусок — Восточную Сибирь и вообще русский Север-Восток». Но ведь когда-нибудь мы его доедем — и что тогда? Ведь автор приглашает нас думать о будущих поколениях — о внуках и правнуках. Какой же мир намеревается он для них построить? Мир, где каждую пядь земли надо будет охранять с ружьем у ноги? Население земного шара неотвратимо растет — и население нашей страны тоже. И если бы даже по наивному рецепту Солженицына удалось отсрочить войну сегодня, она, значит, неизбежна завтра? Только к этому — к взаимоуничтожению потомков — ведет концепция национального эгоизма, национальной ограниченности в мире, где растет «общая перенаселенность земли», где рядом, локоть о локоть с русским народом проживают другие национальные общности, другие национальные величины.

Если говорить о «тупике цивилизации» (не имея достаточной подготовки в вопросах экономики и технологии, я не берусь обсуждать эти проблемы и тем более давать какие-либо рецепты), то даже неподготовленному человеку ясно, что возникшие сейчас перед человечеством проблемы биологической среды, истощения природных ресурсов, поисков новых источников энергии и т. д., и т. п. — это проблемы **глобальные**, и решить их в замкнутом национальном ареале, в пределах **одного**, пусть самого могущественного, государства **невозмож-**

но. Следовательно, актуальной, неотложной, спасительной для человечества (а значит, и для русского народа) становится как раз проблема братства народов, их совместной, дружной работы по развитию науки, по изысканию средств устройства на нашей планете человеческой жизни **для всех**. Значит, не углубления национализма следует добиваться людям, любящим свой народ, а воскрешения **интернационализма**, создания механизма интернациональной взаимопомощи, интернационального сотрудничества — не во имя наживы, а «ради жизни на земле».

Таким образом, националистическая программа Солженицына практически беспомощна. Несостоятельна и его попытка морально оправдать проповедуемую им идеологию эгоизма тем, что русский народ пострадал в XX веке больше всех народов мира. Не имея доступа к статистике, я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть приведенную им в «Письме» цифру потерь (66 миллионов помимо двух мировых войн), хотя она кажется мне неправдоподобной. Но какова бы ни была подлинная цифра, в любом случае чудовищная (60, или 30, или 25 миллионов), — почему же она записана на счет только русского народа (к которому автор запросто присоединяет украинский, нимало не спрашивая по этому поводу самих украинцев)? От сталинских репрессий, от голода и пыток, в лагерях, тюрьмах и ссылках гибли люди всех национальностей, населяющих СССР и даже не населяющих его (в том числе люди, искавшие в нашей стране убежища от политических преследований у себя на родине — было это когда-то!). Конечно, русский народ перенес страшное кровопускание в 30-х годах, но вместе с ним тогда же перенесли его и все другие народы Советского Союза. Конечно, в абсолютных цифрах потери русского народа, вероятно, наибольшие, но ведь и сам он количественно наибольший, великий народ. А что сказать о тех малых народах нашей страны, которые перенесли кровопускание дважды — в 30-х годах и в 40-х, когда их сынов и дочерей сажали в лагеря, расстреливали и навалом везли через всю страну в «столыпинских» вагонах только за то, что они — крымские татары, балкары, калмыки, чеченцы? Тоже нет у меня статистики, ничего я не могу сказать о процентном соотношении, но мне кажется совершенно невозможным, немыслимым, говоря о жертвах сталинских репрессий, отбрасывать, обезличивать страдания малых народов

потому, что они — малые, и подчеркивать лишь страдания — несомненные! — своего народа, потому что он — великий.

Откровенно заявляя, что он озабочен «преимущественно... судьбой именно русского и украинского народов, по пословице — где уродился, там и пригодился, а глубже того — из-за несравненных страданий, перенесенных нами», Солженицын резко размежевывается с другими деятелями нашего демократического движения. Русский академик А. Д. Сахаров добивается демократических свобод для всех народов нашей страны. Русский коммунист генерал П. Г. Григоренко пять лет томился в психиатрической тюрьме за попытку восстановить права крымско-татарского народа. Если действовать согласно пословице «где уродился, там и пригодился» — что русскому генералу до крымских татар?

Какими разными ни являются исторические и общественные концепции Сахарова и Григоренко, их позиция в национальном вопросе представляется мне неизмеримо более нравственной — именно **нравственной!** — чем позиция Солженицына. Не он, а именно они наследуют в этом вопросе гуманные традиции лучших русских людей XIX и XX веков. Родившемуся на Украине русскому писателю В. Г. Короленко было дело и до мултанских вотяков, и до киевского еврея Бейлиса.

И тут, пожалуй, своевременен переход к тому, что понимает Солженицын под национальными традициями, что дорого ему в русском прошлом, что он из этого прошлого согласен продолжить, а то и воскресить.

Нужно сказать, что документ, который мы анализируем, не просто очередной проект общественного устройства; это — личное письмо большого художника, письмо взволнованное, страстное, очень искреннее. Пафос его состоит не только в безоговорочном осуждении состояния нашей страны, но и — это очень важно! — в горячем призыве русского народа **назад**. Назад, назад, во что бы то ни стало назад, и как можно дальше и глубже, и во всех смыслах — в смысле экономики, технологии, принципов расселения, нравственности! Что касается нравственности, то Солженицын, буде это от него зависело, вернул бы Россию в XVI век, когда господствовало «православие Сергия Радонежского и Нила Сорского, еще не издерганное Никоном, не искаженное Петром». Но он, конечно, понимает, что это невозможно, тем более что и Никона и Петра обвинить в марксизме труд-

но. Поэтому отменить историю Солженицын предлагает только с 1917 года — даже не с Октября, а с Февраля, открыто ратуя за тот авторитарный, монархический строй, с которым «и тысячу лет жила Россия... и к началу XX века еще весьма сохраняла и физическое и духовное здоровье народа» и который, по его мнению, и в XX веке «имел, пусть исходно, первоначально, **сильное нравственное основание**» (подчеркнуто мною. — *Р. Л.*) — вот как раз в том самом древнем православии Сергия Радонежского и Нила Сорского.

Не будем сейчас обсуждать вопрос о том, имела ли русская монархия какое-либо нравственное основание при своем зарождении несколько веков назад. Допустим, имела — актуально ли это при выборе сегодняшнего образа жизни нашего народа? Не столь существенно также, был ли в действительности мир дониконовского православия таким привлекательным, как рисуется он автору (из древних летописей и изустных преданий известно, что, кроме доблести, в нем хватало жестокости, дикости и насилия). Существенно другое: каким образом Сергей Радонежский и Нил Сорский освящают из своей старины то, что творилось в России с ее прогнившей монархией в начале XX века? Какое нравственное основание имели в древнем православии Николай II со своей камарильей, с обер-прокурором Святейшего синода Победоносцевым, с Распутиным и Пуришкевичем, с телесными наказаниями для крестьян, с постыдной русско-японской войной 1904 года и не менее постыдной и бессмысленной войной 1914 года?

Тоже как будто не слишком актуальный вопрос, но его приходится задавать потому, что в своем обширном документе Солженицын, уязвленный и потрясенный страшными событиями современности, не видит иного пути излечения нашей страны, как возвращение вспять. Не идти вперед, а вернуться — назад, к истокам. Вот откуда филиппики против прогресса, вот для чего — чтобы убедить в верности указываемого им пути — рисует автор идеализированную, прикрашенную, ничего общего не имеющую с действительностью картину старой царской России.

Нет, я не обвиняю Александра Исаевича Солженицына в сознательной лжи. Он искренне верит, что, призывая народ назад, он зовет его к лучшей, более здоровой и нравственной жизни. Но в его положении мало **верить**, надо **знать**. Солженицын не то что не знает,

он **не хочет знать**. Он отвергает весь опыт русской истории, все свидетельства русской литературы, он отбрасывает, если они не подходят к его концепции, любые документы и статистические данные. Продолжая и развивая линию идеализации, начатую в «Августе четырнадцатого», он сочувственно цитирует Столыпина, одобрительно отзываясь о «некотором идеализме» царской внешней политики, восторженно описывает дореволюционную русскую провинцию.

Так ли все это было?

Да нет, не так. Людям, сколько-нибудь знающим историю, странно читать, например, что «даже выиграв большую европейскую войну против Наполеона, она (Россия) никак не расширила своей власти на Восточную Европу». То есть как это «не расширила»? Именно в результате этой войны Россия присоединила к себе значительную часть Польши с Варшавой, войска ее оказались в Париже — и русский царь стал диктовать свои условия не только побежденной Франции, но и Австрии и Пруссии. В том же разделе («Запад на коленях») Солженицын пишет, что царская Россия часто «бескорыстно возвышала» другие державы, «оказывалась исполнителем чужих задач, вовсе не своих» — и все это не только «от недостатка практического расчета на верхах, от бюрократической неповоротливости дипломатии,— но отчасти, очевидно, и от *некоторой доли идеализма в представлениях руководителей* (подчеркнуто мной.— Р. Л.), что мешало им последовательно проводить в жизнь национальный эгоизм».

Не знаю, откуда очевиден Солженицыну хотя бы «некоторый» идеализм тогдашних руководителей, а проще говоря — русских царей. В любой дореволюционной истории можно прочесть о завоевательных войнах, которые вела Россия и в эпоху дониконовского православия, и уже в бытность империей. Не будем ворошить древние события (покорение Казани, присоединение той же Сибири, завоевание Крыма и т. п.), возьмем тот самый XIX век, о котором так элегически пишет Солженицын. Неужели в этом столетии русским царям не хватало национального эгоизма? Кроме Польши в XIX веке в состав России были насильственно включены Финляндия, Бессарабия, Приамурье и Приморье. В том же веке в результате кровавых войн, жестоко подавив сопротивление почти безоружных туркмен, узбеков, казахов, киргизов, Россия присоединила к своей империи обшир-

ные территории Средней Азии. В том же XIX веке был завоеван Кавказ. Считать ли идеалистическим актом подавление всей военной мощью Российской империи народов Кавказа, воевавших за свою национальную независимость? (Впрочем, почему бы и нет, если считать войну США против Вьетнама **национальной** войной американского народа, которую он проиграл только потому, что у него «слабое, невыявленное национальное самосознание».) Напомним, что, покорив Кавказ, бескорыстная Российская империя стала бесконтрольной владычицей его огромных естественных богатств.

Венгерскую революцию Романовы душили действительно в интересах Габсбургов, но отнюдь не бескорыстно: им выгоднее было иметь под боком монархическую Австрию, чем революционную Венгрию. Да и прецедент был опасный: Австрия, как и Россия, была государством многонациональным.

Я привожу эти примеры вовсе не для того, чтобы подчеркнуть особенность завоевательной политики царской России, — наоборот, чтобы показать схожесть ее с политикой любой крупной империалистической державы. Можно привести такой же список захватов Англии, Франции, Германии. Нелишне отметить, что в начальный период существования Советской России, когда руководство ее придерживалось марксистско-ленинской идеологии, с корыстной, захватнической, аннексионистской политикой Российской империи было покончено. В результате Октябрьской революции обрели самостоятельное государственное существование Финляндия, Польша, Латвия, Литва и Эстония. Возобновил традиции зауряд-великодержавной внешней политики России Сталин: сначала — сговором с Гитлером и четвертым разделением Польши, затем — отхватом куска у Финляндии под предлогом защиты Ленинграда и вообще «государственных интересов» СССР, затем — включением в состав нашей страны Кенигсберга (нынешний Калининград) с прилегающей к нему территорией и с могилой Иммануила Канта в центре города.

И в нашем внутреннем обиходе Сталин воскресил немало «привлекательных» черт Российской империи (паспортная система, раздельное обучение в школах, «незаконнорожденные» дети, государственный антисемитизм, кастовость офицерского состава, институт денщиков и многое, многое другое). Все перечисленное мною Сталин не изобрел и ни у Маркса, ни у Ленина не

вычитал. Все это он, лишь слегка модернизировав, целиком перенес из той самой дореволюционной действительности, которой так умиляется Солженицын.

Русская литература конца XIX и начала XX века содержит немало горьких строк, живописующих страшный быт русской провинции, ту тяжелую духоту, которой самодержавный строй сковывал жизнь людей, особенно «во глубине России». Нельзя забыть, что писали об этом честнейшие и талантливейшие русские писатели — Глеб Успенский, Чехов, Короленко, Куприн и другие. И, помня это, нельзя не удивиться содержащемуся в «Письме» Солженицына восторженному описанию прежних провинциальных русских городов — «человечных, приветливых, всегда с чистым воздухом, зимой многоснежных, весной через заборы на улицы льются запахи из садов; сады чуть не при каждом доме, и редко какой дом выше двух этажей — приятнейшая высота человеческого жилья; жители тех городов были не кочевники, не кочевали дважды в год, спасая детей от пылающего ада».

Это лубочное описание провинциального рая старой России не имеет ничего общего с реальной жизнью, какой она была.

Не спорю, что наши города строятся не лучшим образом, но те, «человечные», я помню. Бензинного запаха и небоскребов в них действительно не было. А вот насчет ароматов... Я приглашаю Солженицына хотя бы мысленно посетить не центральные улицы тогдашних губернских центров, а их окраины, их бесчисленные «Нахаловки» — без канализации и водопровода, с дощатыми уборными и выгребными ямами, с тучами мух и полчищами клопов, зимой — по колено в снегу, весной и осенью — по колено в липкой, жирной грязи. Я приглашаю его мысленно посетить шахтерские поселки без единого деревца, где дети играли у подножия терриконов шлака; казармы ткачей, в каморках которых на две «сторонки», за занавесками, жили две семьи: тут же, на глазах друг друга и на одной кровати с детьми, любили, рожали, дрались. Какой изначальной дониконовской нравственностью можно это оправдать? Я еще застала и казармы и «Нахаловки». Да, их обитатели, действительно, не ездили на дачи. Но те, кто жил в двухэтажных особняках (приятнейшая высота человеческого жилья!) с огромными садами при них, — вот те как раз летом уезжали либо в свои имения, либо на дачи.



Так что и тогда все, кто мог, «кочевали дважды в год» (читайте опять же русских писателей — Толстого, Достоевского, Чехова!), спасаясь от жары, пыли и запахов — если не бензина и газа, то высушенного навоза и бочки золотаря. Разница между тогдашним и нынешним положением в этом вопросе не в пользу Российской империи: теперь все-таки и дети рабочих могут летом пожить за городом (о, разумеется, не в тех условиях, что дети «элиты»!), и сами рабочие люди имеют отпуск. А тогда жили в своих «Нахаловках» с выгребными ямами круглый год.

Где ж она была, эта физически и нравственно здоровая народная жизнь, в чем? В «Нахаловках»? В 10—12-часовом рабочем дне? В самой высокой в Европе детской смертности? Это было нравственно — 80% неграмотных? Это было нравственно — у крестьянской семьи в среднем 3,9 десятины земли, у владельцев латифундий в среднем — 30 000 десятин? Это было нравственно — узаконенная проституция? Это было нравственно — порка солдат? Это было нравственно — черта оседлости и еврейские погромы?

Я перечисляю то, что сразу приходит в голову, но можно назвать еще десятки бичей, под которыми стонали и русский, и все другие народы, населявшие Российскую империю.

Предвижу возражения, в которых есть рациональное зерно: к чему с таким пафосом разоблачать пороки умершего общества, когда гораздо существеннее, насущнее для нас пороки сегодняшнего общества, разоблачаемые Солженицыным, — пороки того общественного строя, который, начертав на своих знаменах свободу и социализм, впоследствии обернулся новым гнетом и новыми тяготами?

Я не стала бы заниматься экскурсами в историю, если бы не солженицынский призыв к реанимации прежних ценностей, если бы не его апология старой царской России. Я не только не имею возражений против резчайшей критики Солженицыным нашей сегодняшней действительности — я еще могла бы кое-что добавить к ней, ну хотя бы насчет нашей политики в национальном вопросе. Почти все его гневные филиппики справедливы — от возмущения по поводу вырубленного в Москве Садового кольца и строительства целлюлозного комбината на Байкале до иронизирования насчет такого построения экономики, из-за которого мы «сотрясаемся от одно-

го засушливого года». И то, что труд организован и оплачивается так, что люди обманывают, а то и воруют, работают мало, а пьют много, — все это правда. И правда, что детей мы воспитываем и учим плохо и что женщины у нас замучены непосильным совмещением тяжелой работы с выматывающим душу домашним хозяйством. И правда, что досуг часто заполняется ничтожными занятиями, той же водкой. И полностью обосновано яростное негодование по поводу негласных судов, психиатрического насилия, жестокости системы лагерей и тюрем. И всего правдивее слова насчет всеобщей обязательной к употреблению лжи, в которую выродилась наша пропаганда. И справедлив крик души: «Неужели это и есть тот манящий социализм-коммунизм, для которого клались все жертвы?»

Что ж, вопрос, конечно, риторический — и в нем самом заключен ответ. Нет, это не тот социализм-коммунизм, ради которого клались все жертвы. Нет, общество, которое мы построили, не похоже на то, которое мы взяли строить, когда совершали революцию. Революция наша была задумана как начало раскрепощения сначала народов нашей страны, а затем и всего человечества от голода, нищеты, невежества, бесправия, от власти денег, — раскрепощения всяческого, физического и духовного. Как часто бывало в истории, освободившись от одного гнета, народ попал под другой. Значит ли это, что тот, прежний, гнет был прекрасен и нравственно оправдан и что народу следует вернуться под старое ярмо?

Прежде всего — это невозможно. Никому никогда еще не удавалось отменить историю, отменить развитие культуры, зачеркнуть тот самый прогресс, о котором с такой ненавистью пишет автор — сам со своим талантом и культурой плоть от плоти этого прогресса. Французы совершили свою революцию в XVIII веке под лозунгами свободы, равенства и братства. Ни равенства, ни братства они не добились, и свобода их оказалась тоже весьма относительной. Но вернуться к феодальному праву и к Бурбонам они все же не захотели — какие усилия ни предпринимали в этом направлении силы реакции, в том числе и бескорыстная русская монархия.

Путь назад — это путь в никуда. Впадение в детство — не выздоровление, а маразм. Наш народ живет уже в другом мире, он изменился сам, и надо еще спросить его: а **хочет** ли он назад, в XVI век или в 1916 год? Хочет ли он вернуться в то прошлое, которого Солжени-

цын не знает, а я еще помню, еще захватила краем детства, одиннадцатью годами жизни?

Не так уж трудно определить, чего **не** хотят наши люди, что обрыдло им в нашей действительности. Не худо бы выяснить, чего они **хотят**. Солженицын обвиняет зачинателей советского государства в том, что они экспериментировали, резали по-живому, ни у кого ничего не спрашивая, не считаясь с историей, традициями, навыками, чувствами. В этих обвинениях есть и справедливые и несправедливые, но ответ на них выходит за рамки данной статьи, как и история превращения аппарата нашей власти из власти народа во власть **над** народом, в инструмент прежде всего насилия над этим народом — разумеется «во имя его блага». Но что же предлагает теперь Солженицын? Новый эксперимент, и тоже во имя блага народа, и уже, во всяком случае, ни в какой мере не считаясь с историей протекшего полувека, с навыками, волей и чувствами ныне живущих людей. «Повороти назад!» Другой маршрут, а всадник тот же — авторитарный строй? И лошадь та же — народ, долженствующий повиноваться малейшему шевелению поводыев?

В свете этого очень важен вопрос об отношении Солженицына к демократии, к самому принципу демократического устройства общества, к народоправству. В своем телевизионном интервью, появившемся значительно позднее анализируемого документа, Солженицын разъясняет, что его не поняли, что он вовсе не против демократии, а швейцарская, в частности, демократия его восхищает. Просто, будучи противником всяких революций и обращаясь к руководителям страны, которые, как он знает, доброй волей не допустят никакой политической демократии, он выдвигал реальные, с его точки зрения, проекты смягчения и упорядочения нашего авторитарного строя.

Все это, по-видимому, так и есть. Существенно, однако, что, когда Солженицын публиковал свой документ (а по-моему, и тогда, когда писал его), он не мог не понимать, что никакого влияния на изменение политики нашего руководства этот документ практически оказать не может. Следовательно, его надо рассматривать как свод взглядов писателя, как его *credo*, как программу, предлагаемую им России на «обозримый период». И поэтому немаловажное значение приобретает то, что при обилии добрых слов, сказанных по адресу гуманного варианта авторитарного строя, на долю демократии в

этом документе пришлось лишь иронические замечания об «угождении массе», «угождении страстям общества», «эмоциональном самообмане», о «профессиональных группах, научившихся вырывать себе лучший кусок» (это о профсоюзах и забастовках) и т. п.

Если тешить себя эмоциональным самообманом, можно найти в этом иронизировании по адресу западных демократий и по адресу «сумбурной и карикатурной» февральской демократии в России осуждение неполноты и неистинности буржуазной демократии. Но кто знает Солженицына, знает, как чужды ему, с каким негодованием отвергает он любые классовые критерии. Поэтому его иронический, осудительный тон волей-неволей приходится отнести не к тому или иному варианту демократии, а к демократическому устройству общества, к демократическому принципу вообще, с помощью которого, как считает Солженицын, весьма трудно правильно решать важнейшие государственные вопросы. И не вижу здесь противоречия с тем, что говорил Солженицын в интервью. Где-нибудь демократия ему может и понравиться, но он с подозрением относится к самому демократическому **принципу**, отрицательные проявления которого **видит**, и идеализирует прошлый авторитарный строй, пороки которого он не видел и видеть не хочет.

«Да, конечно, свобода нравственна,— говорит Солженицын.— Но только до известного предела, пока она не переходит в самовольство и разнузданность.

Так ведь и **порядок** не безнравственен, устойчивый и покойный строй. Тоже — до своего предела, пока он не переходит в произвол и тиранию».

Что можно против этого возразить? Ничего. Только, пожалуй, спросить: а кто должен устанавливать эти необходимые пределы? Народ и **избранные** им руководители или власть, независимая от народа? Способность народа к самоуправлению, к охране своей свободы и установлению своего порядка — есть ли тоже нравственная ценность?

Для человека, черпающего нравственные идеалы в старой России, может быть, и нет. Ведь пишет же он, что, прожив тысячу лет в условиях рабства, русский народ сохранил свое духовное здоровье. Осуждает же он русскую интеллигенцию за ее более чем столетнюю борьбу с деспотизмом. И не решил еще пока для себя Солженицын, «неверен или преждевремен» для России де-

мократический путь. Во всяком случае, он склонен предполагать, что, «хотим мы этого или не хотим, назначим так или не назначим, России на обозримое будущее все равно сужден авторитарный строй». «Может быть, только к нему она сегодня созрела?»

Для народа с более чем тысячелетней историей это зачисление в вечные несовершеннолетние оскорбительно и незаслуженно. Еще в прошлом веке утверждение, будто национальной сущности русского народа более соответствует деспотическая форма правления, было тысячу раз обмусолено так называемыми знатоками «загадочной русской души» — и у нас и на Западе. Да откуда это взяли, что русский человек без кнута или палки не может управиться со своими делами и устроить жизнь своего общества? Чем это доказано? Тем, что слишком недолог и слаб был опыт демократии в России, большую часть своей истории прожившей под игом деспотии? Но ведь как мускулы крепнут от физических упражнений и физического труда, как врожденные способности мозга человека развиваются и обогащаются от систематической интеллектуальной деятельности, так и способность народа к самоуправлению развивается опытом, практикой. Такая способность — тоже нравственная ценность, и немалая, и одновременно — один из признаков духовного здоровья нации. Почему же Солженицын готов примириться с таким неотъемлемым свойством авторитарного строя, как политическая и общественная пассивность народа? Собственно для него, для сотен миллионов Солженицын требует лишь элементарной гуманности, которой — в этом он, несомненно, прав! — ох как не хватает в нашем укладе. Но больше ничего. Некоторых демократических прав он требует лишь для интеллигенции и церкви: свободы искусства и литературы; свободы печатания философских и других научных трудов; свободы религиозных организаций. Но не все пишут романы и стихи, не все читают философские труды и, безусловно, не все ходят в церковь. А вот работают — **все**, и участвуют в выборах без выбора — **все**, и страдают от бюрократического произвола в своем повседневном быту — **все**. Но никаких «свобод» для этих всех Солженицын не предлагает и не требует. И так все хорошо «уложится»: массы будет опекать, с одной стороны, сильная неколебимая власть, с другой стороны — сильная свободная церковь. И незачем им самим ломать голову над проблемами своего общественного ус-

тройства. Читайте «Легенду о Великом инквизиторе»!

Свой призыв: «Назад!» в области технологии Солженицын обосновывает трудностями, с которыми столкнулось в ходе научно-технической революции современное общество высокоразвитого капитализма. «Если в череде идущих кричит передний: «я заблудился!» — надо ли нам непременно дотоптывать до того места, где он осознался, и лишь потом заворачивать?»

Не надо. Но почему обязательно заворачивать («заворачивать», насколько я знаю русский язык, значить «поворачивать **назад**»)? Дорога, на которую писатель предлагает свернуть «сразу от того места, где мы есть», это дорога вспять — не только в технологическом отношении. А почему бы не поискать верной, лучшей дороги **вперед** — не отказываясь от технического прогресса, а используя его для создания справедливого социального строя, общества демократического социализма, которое мы хотели построить — и не построили? Виноват ли идеал в том, что его забросали грязью и замарали кровью? Виновато ли ваше христианское учение, существующее не сто с небольшим лет, как марксизм, а **две тысячи лет**, в том, что общество, созданное людьми, именующими себя христианами, живет отнюдь не по законам христианской правды?

Одно из утверждений Солженицына, которое он не доказывает, а произносит как истину, не требующую доказательств, гласит, что лучшие, наиболее добросовестные и честные работники — это верующие люди, ибо «для верующего его вера есть *высшая* ценность, выше той, которую он кладет в желудок». Не могу согласиться с этим утверждением. И не потому, чтобы я считала верующих плохими или нечестными работниками или соглашалась с недопустимой и постыдной гражданской дискриминацией их, а потому, что не по этому признаку делятся люди. Для всякого человека, имеющего истинные, искренние, выношенные убеждения, эти его убеждения, его принципы дороже тех ценностей, которые он кладет в желудок. Здесь нет привилегий ни у атеистов, ни у верующих. Существенно другое.

Именоваться себя — христианином ли, марксистом ли, патриотом или интернационалистом — и **быть** им не одно и то же. «Не всякий, кто твердит «господи, господи!», внидет в царство небесное», — этот текст Солженицын, надо полагать, знает. Его знают и атеисты, ибо в своем философском, а не буквальном смысле он давно вошел в

поговорку как осуждение всяческого лицемерия и фарисейства, всяческого разрыва между словами и делом, между идеями и поступками, между программой и свершениями. Солженицын может не знать или плохо знать марксизм. Но он не может не знать, что идеология — всякая идеология, в том числе и марксистско-ленинская, и христианская! — там, где она превращается в свод правил и силой навязывается сверху, вырождается и отчуждается от человека и живой его жизни и деятельности. Поэтому истинно верующие христиане сбросили атомную бомбу в Хиросиме и сбрасывали напалмовые бомбы во Вьетнаме. Поэтому искренне верующие царские чиновники воровали и брали взятки, хотя в заповедях сказано «не возжелай...» и так далее. Поэтому наши чиновники залезают в карман народа, живут за высокими заборами, пользуются бесчестными привилегиями и сажают здоровых людей в психиатрические тюрьмы, хотя в Программе КПСС сказано, что «человек человеку — друг, товарищ и брат».

Очень точно сказал Блок:

Три раза преклониться долу,  
Семь — осенить себя крестом,  
Тайком к заплеванному полу  
Горячим прикоснуться лбом.

А воротясь домой, обмерить  
На тот же грош кого-нибудь  
И пса голодного от двери,  
Икнув, ногою оттолкнуть.

Солженицын возлагает на идеологию марксизма-ленинизма ответственность за преступления, совершенные и совершаемые людьми, предавшими эту идеологию, извратившими и исказившими ее, — только потому возлагает, что они сами именуют (а может быть, и считают) себя марксистами. Он поступает так же, как если бы ответственность за поступки богомольного лавочника возложил на христианское учение.

В начале статьи я оговорила, что не берусь давать рецепты, не могу сказать, что знаю, «как надо». Мало того, я уверена, что один, даже гениальный человек или кучка власть имущих и не могут выработать «вполне реальный, с ясными путями» выход. Постепенно пробиться к этому выходу можно только демократическим путем, только тогда, когда русский народ, разумеется, на равных правах со всеми народами нашей страны,

сможет сам решать свои дела и устраивать свою жизнь. Как добиться этой демократизации нашей жизни, я тоже не знаю, но думаю, что ни Солженицыну, ни нашему правительству нет оснований ее бояться: ни кровавых погромов, ни революционного свержения правительства не будет. Просто люди постепенно научатся выбирать — действительно **выбирать!** — своих руководителей, сначала в низших, а затем и в высших звеньях власти. Если это будет постепенный процесс — на век нашего правительства хватит.

А если этого вообще не будет, то не будет и никакой «частной» и «частичной» свободы — ни для литературы, ни для искусства, ни для церкви. Будучи марксисткой и атеисткой, я убеждена, что церковь должна получить те свободы, которых она лишена. Но почему только церковь? Разве свобода совести есть только свобода **религиозных** убеждений? Я, например, еще острее, чем Солженицын, хочу, чтобы пропаганда марксизма перестала быть казенной и оплачиваемой — хотя бы потому, что хочу свободы пропаганды не фальсифицированного, а подлинного марксизма, который сейчас имеет этой свободы, пожалуй, еще меньше, чем церковь.

Думаю, что, получив возможность выбора, русский народ назад не пойдет. Сколько ни расхваливай Столыпина, легче сейчас русскому человеку освоить способы ведения экономически доходного крупного коллективного хозяйства, чем разбежаться по хуторам. И сколько ни воспевай утраченную прелесть деревенок в три избы — она останется прелестью больше для городских дачников, чем для сегодняшних крестьян. Процесс укрупнения сельского хозяйства и сокращения сельского населения — общемировой процесс, проистекающий прежде всего из бурного развития техники и роста производительности сельскохозяйственного труда. У нас этот процесс протекает пока очень медленно: у нас еще половина населения кормит другую половину, в то время как в США, скажем, эту функцию выполняют 4—6 процентов населения. Что же, затормозить и это развитие? Полностью вернуть деревню — ту же русскую женщину, которую справедливо жалеет Солженицын — к дедовскому ручному труду? Да ведь не захочет она — сама не захочет.

Вполне возможно, что плохих колхозов у нас больше, чем хороших. Но дайте свободу инициативе и смекалке колхозников, дайте простор сельскохозяйственной науке



и экономическому, а не административному руководству, предоставьте колхозникам на деле хотя бы те демократические права, что записаны в их Уставе, в частности право избирать и смещать своих руководителей, — и хороших хозяйств станет больше, чем плохих. И талантливые руководители найдутся. Да что говорить: ведь своего делового, умного (хоть и не слишком высокоморального) старого Томчака в «Августе четырнадцатого» Солженицын ни с какого дореволюционного «экономиста» не писал — никого такого он не видал и не знает. Зато он видел председателей современных крупных краснодарских колхозов и директоров совхозов, видел, беседовал с ними, борщ с ними ел — и все это запечатлелось в образе старого Томчака. Гостиная Томчака, его розарий, его невестка — все это из плохих литературных источников, а вот сам Томчак — из жизни. И не из дореволюционной, из современной. И эти наши современные, деловые, грамотные мужики смогут завалить страну нашу продовольствием, вовсе не будучи собственниками земельных латифундий. Не мешайте только им, дайте волю их коллективному разуму, подлинную власть над землей, которую они обрабатывают, дайте хорошую технику и удобрения — и у нас не половина, а 10, 8, 6 процентов населения будут кормить остальные 90. А эти 90 процентов будут жить в городах, и ничего трагического в этом нет, хотя, конечно, Солженицын прав, что нужно лучше строить города и не сбиваться всем в одну кучу — в Москву.

Население России больше не состоит из безграмотных, но богобоязненных баб в поневах и смиренных мужичков в сермягах. Процесс этот необратим, как и процесс пересмотра ценностей. Всеобщая грамотность, телевизор, спорт, даже детективы — пусть все это полукультура, но двигаться от нее можно только вперед, к подлинной культуре, к подлинным духовным ценностям. (Можно и не двигаться — тогда это будет загнивание.) Но возвращение вспять, о котором мечтал Нечволодов («Август четырнадцатого»), пытавшийся «обратить людей в то, прежнее состояние», — невозможно. Справедливо беспокоящий Солженицына и характерный сейчас для многих людей примат материальной, «вещной» культуры над духовной, конечно, показатель духовного кризиса, своего рода нравственной пустоты. Но отсюда не следует, что излечение наступит от возврата к патриархальности. Обратного на лошадь с машины никто пере-

сживаться не захочет, и отказаться от водопровода и центрального отопления в пользу нравственно очищающих колодца и русской печи — тоже. Мне думается, что только два ряда явлений — по необходимости взаимосвязанных — могут заполнить образовавшийся вакуум и оторвать людей от магнита водки и накопительства: обретение своих демократических прав и приобщение к подлинному искусству.

Людям нужен не только хлеб — людям нужен нравственный идеал. По-моему, человечество такой идеал создало — идеал подлинного братства людяй. Двойное преступление Сталина состоит в том, что, убивая и истязая невинных людяй, он убивал и доверие к этому идеалу. И на этой почве выросли и национализм, и равнодушные, и цинизм, и ничтожная приспособленческая псевдокультура.

Не марксизм, не социализм повинны в том, что преступники и тупицы сделали из них, выхолостив и искажив, формальное, вульгарное, навязываемое силой учение. В те времена, когда изучение Закона Божьего было обязательным в школах, учащиеся так же лицемерно слушали все, что положено, и отвечали все, что положено, и в частных разговорах открыто об этом говорили и смеялись. Всякое насильственно навязываемое учение вырождается. В этом виновато не учение, а те, кто силой вбивает его в людяй — вот так, как делают это сейчас наши пропагандисты, вбивая в головы слушателей суррогат марксизма, а тогда делала православная церковь, вбивавшая свои катехизисы в головы не только православных, но и раскольников, и сектантов, и иноверцев.

Я думаю, что демократический социализм, при котором никто не наживается на труде людяй и никто не манипулирует их волей и сознанием, больше всего отвечает подлинным человеческим потребностям. Народ состоит из личностей. Ни безликое государство, ни безликая церковь, ни всевластные монополии, ни всевластная бюрократия не должны решать за них. Пусть сами определяют и свой общественный строй, и свои духовные интересы. Уверена, что при свободе выбора они не выберут ни капитализм, ни бюрократический квазисоциализм, ни православную монархию.

Один из самых умных марксистов, Роза Люксембург, писала в одной из своих статей о русской литературе:

«Достоевский, особенно в своих позднейших сочинениях,— ярко выраженный реакционер, благочестивый мистик, ненавидящий социалистов. Его образы русских революционеров являются злобными карикатурами. На мистических поучениях Толстого, во всяком случае, лежит отзвук реакционных тенденций. И все же оба они потрясают, возвышают, внутренне очищают нас своими произведениями. И это потому, что реакционны отнюдь не их исходные позиции, что их мыслями и чувствами владеют не социальная ненависть, жестокосердие, классовый эгоизм, приверженность к существующему порядку, а, наоборот, добросердечие, любовь к человеку и глубочайшее чувство ответственности за социальную несправедливость. Именно реакционер Достоевский выступил в искусстве защитником «униженных и оскорбленных», как гласит название одного из созданных им произведений. И только выводы, к которым каждый по-своему приходят и Толстой и Достоевский, только тот выход из социального лабиринта, который они надеются найти, ведет на ложные тропинки мистики и аскетизма. Однако у истинного художника социальный рецепт, предлагаемый им, является делом второстепенным: решающую роль играет источник его искусства, его животворный дух, а не сознательно поставленная им себе цель».

Будем же читать книги Солженицына, будем заимствовать из животворного источника его искусства «глубочайшее чувство ответственности за социальную несправедливость».

И не будем следовать его социально-политическим рецептам.

*1974, июль*

## **ШТЕМЕНКО ПРОТИВ ШТЕМЕНКО <sup>1</sup>**

### **I. О первой книге С. М. Штеменко «Генеральный штаб в годы войны»**

Я долго думала, стоит ли мне писать об этой книге. Человек я полностью и окончательно штатский, в военном деле и военном искусстве ничего не понимаю, на

<sup>1</sup> Первая книга С. М. Штеменко «Генеральный штаб в годы войны» была опубликована в 1969 году. Данная статья, написанная в том же году и направленная мной в журнал «Коммунист»,

фронте не была — и разумеется, не могу иметь собственного мнения о работе Генерального штаба и Ставки. В какой же мере могут кого-либо интересовать мои замечания?

Однако книга писалась не только — и, по-моему, не столько — для военных специалистов. Она — для широкого читателя. Для молодых и старых. Для тех, кто пережил войну и кто о ней только читал. Для всех, кто хочет знать и понимать историю своего народа. И если в ее чисто военных аспектах могут разобраться только военные специалисты, то у этой книги есть и другие аспекты, не менее важные для народа: исторические, политические, психологические. А это уже не может быть делом только узких специалистов.

То, что помнит Штеменко, особенно важно потому, что помнит он все как бы изнутри. Он находился в той точке, в том центре, откуда шло управление войной. Самой священной и самой справедливой.

Означает ли священный и справедливый характер войны, что священным и справедливым становится все, что исходит из центра ее управления? Нет, не означает. Точно так же, как наша конечная победа не делает задним числом правильным все приказы, распоряжения и директивы, которые на протяжении войны отдавались. Нельзя сказать, что С. М. Штеменко этого не понимает. В книге заметны попытки разобраться в причинах ошибок, в том, какие из этих причин относятся к числу объективных, а в каких повинны конкретные люди, в том, почему победу пришлось оплатить такой дорогой ценой.

Другое дело, что он не всегда делает выводы из приводимых им фактов, а порой его выводы этим фактам прямо противоположны. Это-то и дает возможность Е. Болтину (в № 2 журнала «Коммунист» за 1969 г.), уклонившись от анализа книги Штеменко, похвалить ее как одну из книг, реабилитирующих Сталина.

По существу же эта книга Сталина разоблачает, развенчивает. Вполне возможно, что автор этого не хотел. Но он написал то, что написал. И из сопоставления и изучения написанного им логически приходишь к следующим выводам:

---

конечно, напечатана не была. Она, однако, получила некоторое распространение в «самиздате».

Вторая часть статьи посвящена продолжению книги Штеменко, опубликованному в 1973 году.

1) что наша страна, армия и военная промышленность в июне 1941 года не были готовы к войне;

2) что повинен в этом был Сталин, который, не поверив советской разведке, поверил Гитлеру, переоценил значение советско-германского договора, просчитался в сроках, а главное — накануне войны лишил армию большого количества опытных командиров;

3) что Сталин не только не был гениальным полководцем, но попросту долго не понимал характера современной войны, весьма некомпетентно вмешивался в работу Генштаба и фронтов, совершенно не представляя себе конкретной обстановки, в которой они действуют, ибо руководил войной если не «по глобусу»<sup>1</sup>, то, во всяком случае, не выходя из кабинета, совершенно не общаясь с армией и народом;

4) что безграничная власть Сталина (которого к этому времени никто, ни за что и ни в каком случае не мог критиковать) была бы опасна даже в том случае, если бы этой властью пользовался необыкновенно прекрасный человек. Но Сталин был полной противоположностью такому человеку. Судьбу страны и народа держал в своих руках человек поразительно ограниченный, не создавший никакой военной доктрины, не подаривший Генштабу никакой идеи, но зато грубый самодур и необычайно подозрительный мастер бюрократических интриг.

Это все вычитано в рецензируемой книге, что я и стараюсь доказать, основываясь исключительно на тексте самой книги.

Повторяю еще раз: возможно, и даже вероятнее всего, что автор не намеревался нарисовать такой портрет. Похоже, что он высоко ценит Сталина. Но он написал то, что видел, — и из того, что он видел, другой портрет не складывается.

Попутно скажу, что тем выше и героичнее представляется мне подвиг советского народа и Советской Армии. Уж если при таком Верховном мы победили — нужно ли более веское доказательство благородства и величия идей, воодушевлявших армию и тыл? Одна-

---

<sup>1</sup> Формулу эту («по глобусу»), думается мне, все правильно восприняли как метафору, ибо все понимают, что руководить — хорошо ли, плохо ли — военными действиями буквально «по глобусу» просто невозможно.

ко народ имеет право знать, что из 20 миллионов жизней, которыми он заплатил за победу над фашистским зверем, сколько-то миллионов (а это ведь не рубли, а люди!) могли бы жить, если бы не ограниченность, самодурство и **полная бесконтрольность** Сталина.

## 1. О ГОТОВНОСТИ К ВОЙНЕ

На стр. 21 С. М. Штеменко пишет:

«Иные говорят, что мы совсем не были готовы к отражению нападения противника, что армия наша воспитывалась в расчете на легкую победу».

На стр. 23:

«...Похвальное... стремление разобраться в причинах неудач, постигших нас в 1941 году, перерастает в свою противоположность, порождает вредную путаницу. Отождествляются совсем не тождественные понятия: скажем, готовность авиации к боевым вылетам, артиллерии к открытию огня, пехоты к отражению атак противника с готовностью страны в целом к ведению войны с сильным противником».

Думается, здесь сам автор — вольно или невольно — допускает элементарную логическую путаницу.

Разумеется, все перечисленное им нельзя **отождествлять** с «готовностью страны в целом». В такую готовность, **кроме перечисленного**, входят военный и экономический потенциал, морально-политический дух армии и народа и многое другое, но и **исключать** из «готовности страны и армии в целом» техническую оснащенность и организационную готовность авиации, артиллерии, танковых войск тоже как будто нельзя? Разве можно утверждать, что страна хорошо подготовлена к отражению противника, если авиация не готова к боевым вылетам, а артиллерия — к открытию огня?

Не могу судить о том, как воспитывалась наша армия до войны в смысле чисто боевой подготовки. Но — солдаты читали те же книги и газеты, что штатские, смотрели те же фильмы, пели те же песни. Кроме того, в военное время армия, как известно, быстро растет за счет вчерашних штатских, прежде всего — за счет молодежи. А наши песни, фильмы, да и книги типа знаменитых многотиражных произведений Шпанова, действительно нацеливали на «легкую» войну. (Вспомним: «И на вражьей земле мы врага разгромим малой кровью, могучим ударом».)

Тезис о недостаточной подготовленности к войне Штеменко пытается опровергнуть тем, что подчеркивает потенциальную способность нашей страны воевать против сильного противника.

Но кто же против этого спорит? Кто, включая и врагов, может это отрицать после того, как мы доказали, что можем не только воевать, но и победить? Речь ведь не о том. Речь о том, как был использован этот потенциал накануне войны нашим руководством, в каком состоянии он был к началу войны.

И вот как сам автор отвечает на этот вопрос буквально на соседней странице:

«Однако к началу войны мы еще значительно уступали противнику в численности современных танков, не успели закончить перевооружение войск на новую технику, насытить мощными КВ и Т-34 уже сформированные и еще формируемые механизированные корпуса *даже в наиболее ответственных приграничных округах* (курсив мой.— Р. Л.) — Прибалтийском, Западном и Киевском Особых, Одесском. *Эти округа, принявшие на себя главный удар фашистской Германии, располагали весьма небольшим количеством современных танков* (курсив здесь и далее во всех цитатах мой.— Р. Л.). Старые же системы не могли оказать решающего влияния на ход предстоящих операций, *да их и не хватало здесь до штата наполовину*. В том, что войска имели мало КВ и Т-34, заключалась наша беда».

И дальше:

«...Промышленность давала большое количество самолетов, но по своим тактико-техническим данным они... были отчасти устаревшими, отчасти не такими, каких требовала война. Излишнее предпочтение оказывалось у нас тихоходным бомбардировщикам с недостаточной дальностью полета и, по существу, беззащитным против истребителей. ...Советское государство было вынуждено в короткий срок обновить самолетный парк. *Беда наша* состояла опять-таки в том, что *времени на это не достало...*» (стр. 24).

На последующих страницах сообщается, как отразилось это отставание нашей военной промышленности на боевых действиях:

«...Из-за значительного превосходства противника в танках, авиации, артиллерии им (нашим войскам.— Р. Л.) пришлось покинуть и этот рубеж, с тяжелыми боями отходить в предгорья Кавказа» (стр. 53).

«Здесь (на Тереке в июле — августе 1942 г.— Р. Л.) вступила в бой... Северная группа войск Закавказского фронта. *Ахиллесовой ее пятой была слабая вооруженность...* 151-я дивизия была вооружена только наполовину, да и то винтовками иностранных марок. Одна из стрелковых бригад оказалась вооруженной такими же винтовками *лишь на 30 процентов и совсем не располагала пулеметами и артиллерией*» (стр. 55).

«В наступающих дивизиях остро ощущался недостаток боеприпасов. Не хватало *артиллерии и танков*» (стр. 84).

«Над Кубанью шли многочисленные воздушные бои, в которых участвовали новейшие немецкие истребители... Боевая активность нашей авиации была заметно ниже. 9 апреля, например, враг сделал свыше 750 самолето-вылетов, мы — 307; 12 апреля он — 862, мы — 300; 15 апреля он — 1560; мы — 447; 17 апреля немцы — 1560, мы — 538» (стр. 83).

Из этих и других, приведенных в той же книге фактов явствует, что на протяжении всего первого периода войны наши войска жестоко страдали и несли огромные потери из-за превосходства противника в танках, авиации, артиллерии, из-за необеспеченности наших войск зачастую даже таким элементарным вооружением и снаряжением, как винтовки, перевозочные средства, средства связи.

Как же это получилось? Почему?

Автор отвечает: это не вина наша, а **беда**. Мы не успели. Мы готовились, но фашисты не подождали, пока мы подготовимся окончательно.

Простите, но в политике это-то и называется **просчетом**. И за этот просчет моральную и политическую ответственность должны нести руководители внешней и внутренней политики государства. Те, кто накануне войны разгромил нашу разведку, массовыми арестами значительно ослабил работу промышленности и научных учреждений. Конечно, это была огромная **беда** для нашего народа, но у этой беды есть конкретные виновники.

Их, однако, Штеменко не называет. Вот в каком туманном стиле пишет он, например, на стр. 26 о незаконных арестах командных кадров Красной Армии:

«Конечно, большим несчастьем для нашей армии и страны в целом было то, что накануне Великой Отечественной войны мы лишились многих опытных воен-



чальников. Молодым пришлось трудно. Они обрели опыт уже в ходе боев и нередко расплачивались за это дорогой ценой».

Цена была действительно дорогая: жизни солдат и жизни мирных жителей, оказавшихся на оставленной нами территории во власти фашистских зверей. Но как понимать слово «несчастье»? Стихийное бедствие? Катастрофа? Эпидемия? Я что-то не помню ни воздушной катастрофы, ни эпидемии гриппа, унесшей наших военачальников. У этой «эпидемии» есть точное наименование: фальсифицированные обвинения, лживые процессы, планомерное уничтожение Сталиным талантливых военных — как, впрочем, и дипломатов, ученых, писателей, хозяйственников, партийных и государственных деятелей; как, впрочем, и рабочих, колхозников, врачей, учителей...

Штеменко с законной гордостью говорит о том, что именно в СССР впервые в мире и задолго до войны были созданы массовые воздушно-десантные войска, что мы раньше других стран разработали теорию глубокой операции с использованием крупных масс танков, авиации, артиллерии, воздушных десантов. Он не сообщает, однако, куда девались к началу войны люди, обогатившие нашу военную теорию и отработывавшие на многочисленных маневрах взаимодействие различных родов войск. Ни слова не говорит он также о таком оригинальном способе обороны границ, как уничтожение линии старых оборонительных укреплений до возведения новых (а возвести новые мы уже «не успели»). Не мне, конечно, судить о том, на каком расстоянии от границ следует дислоцировать крупные соединения: это и впрямь дело военных специалистов. Но не нужно быть военным специалистом, чтобы понимать: устаревшую, но **необходимую** вещь не выбрасывают, пока не приобретают новую, лучшую. Это могла бы объяснить Сталину любая домохозяйка.

## 2. ДА БЫЛ ЛИ «ВОЕННЫЙ ГЕНИЙ»?

Десятого июля 1941 года возглавляемый Сталиным ГКО образовал три главных командования по направлениям (см. стр. 34—37) с тремя главнокомандующими — Ворошиловым, Тимошенко и Буденным. Уже этот факт косвенно свидетельствует о том, что Сталин

плохо представлял себе характер современной войны. Просуществовав меньше двух месяцев, эти «лишние, промежуточные звенья между Ставкой и фронтами», как называет их Штеменко, были ликвидированы. «Не имея полноценных штабов, не обладая средствами связи, не располагая резервами, главкомы не могли реально влиять на ход операций, а потому уже в августе — сентябре были упразднены».

Вероятно, опытным военным специалистам (а они все-таки еще остались) мертворожденность этой идеи была ясна с самого начала. Но это была идея Сталина, и он осуществил ее, ни с кем не советуясь. И вряд ли случайно, что главнокомандующими направлений он назначил людей, которые — при всех их заслугах во время гражданской войны — не сыграли и, видимо, не могли сыграть ведущей роли во время войны Отечественной.

Я очень внимательно прочла книгу и старалась найти те военные идеи, те теоретические «взлеты», которыми обогатил Советскую Армию Сталин, не постеснявшийся присвоить себе звание генералиссимуса и приравнять себя таким образом к Суворову. Не нашла. Кроме упомянутой выше попытки создать командования по направлениям, я обнаружила еще несколько идей, принадлежавших лично Сталину. Вот они: 1) предложение создать конную армию; 2) организация пластунской дивизии; 3) знаменитая «разделительная линия», которую Сталин лично провел между 1-м Белорусским и 1-м Украинским фронтами в конце войны, и, наконец, 4) предложение отмечать наши победы салютами. Из всех этих предложений положительную роль, несомненно, сыграло последнее. Но даже самый завзятый сталинист, пожалуй, не обнаружит в нем «военного гения».

Что же касается непосредственно военных действий, то из прочитанного складывается убеждение, что особенно в первой (хотя и не только в первой) половине войны Сталин попросту мешал Генштабу и командующим фронтами. Мешал своим некомпетентным вмешательством, своим упрямством и постоянным требованием немедленно наступать (не понимая или не желая понимать, что наступление надо сначала подготовить). Мешал своими необоснованными симпатиями и антипатиями в подборе кадров и бесцеремонным перетасовыванием их согласно этим симпатиям и антипатиям.

Вот на стр. 73—85 речь идет об операции на Северном Кавказе в начале 1943 года. Сталин непрерывно требует — **немедленно** двинуть войска на Батайск и захватить его. Немедленно! Он хочет — цель благая! — окружить и уничтожить врага на Северном Кавказе так же, как он окружен и уничтожается под Сталинградом. И вот раз за разом армии бросаются в бой, наносят удары, несут огромные потери, но главная цель — захват Батайска и окружение армий противника — не удается. Почему?

Штеменко отвечает на этот вопрос: «Сил Южного фронта для разгрома батайской группировки и перехвата путей отхода противника на Ростов явно не хватало». **Явно!** Почему же Генштабу это было явно, а Верховному — нет? И тут же Сталин снова предписывает вновь созданному Северо-Кавказскому фронту: «Во взаимодействии с левым крылом Южного фронта разгромить противника и овладеть Батайском, Азовом, Ростовом...»

И опять не получается. И Штеменко снова объясняет почему. «Наступление оказалось неподготовленным: достаточных для этого сил не накопили, прорыв должным образом не организовали, и атаки очень скоро захлебнулись... ..Сказались опять-таки и недостаточность материальных средств, и ограниченность времени на подготовку наступления».

Кто же бросал войска в неподготовленное наступление, полагая, что суровый приказ может заменить все: и недостающее вооружение, и недостаток организационной подготовки? Конечно, Сталин. Но — почему?

Мне могут вполне обоснованно возразить, что напрасно я пускаюсь в рискованный для меня анализ военных операций. Дилетанту этого не понять. Война есть война. А на войне бывает и так: и к наступлению не совсем готовы, и медлить нельзя, а то будет еще хуже.

Возможно. Но я и не пытаюсь заниматься анализом военных операций. Я лишь слежу за мыслями крупного военного специалиста С. М. Штеменко и сопоставляю приводимые им факты.

Вот страница 47. Начало нового, 1942 года. После разгрома фашистов под Москвой у всех на душе радостно. А тут еще 23 февраля Сталин в приказе по слу-

чаю 24-й годовщины Красной Армии всенародно объявил, что **недалек день**, когда Красная Армия разгромит врага и **на всей советской земле снова будут победно реять красные знамена**. Вскоре после этого оптимистического приказа немцы оказались на Волге, под Сталинградом.

Красная Армия действительно разгромила врага и очистила землю нашей родины от фашистов. Но день этот наступил почти через три года и, следовательно, в феврале 1942-го вовсе не был «недалек».

Что же, Сталин в своем приказе сознательно лгал? Или считал, что годы войны и страданий — недолгий срок? Не думаю. Просто Верховный был, видимо, подвержен тому, в чем любил обвинять других, — «головокружению от успехов». Вряд ли склонность к такого рода головокружениям свидетельствует о величии политического деятеля и талантах полководца. И не таким же ли головокружением после подлинно героической победы под Сталинградом было вызвано настойчивое требование немедленно, сию минуту, без должной подготовки идти в наступление на Северном Кавказе? А ведь если бы это наступление было несколько отсрочено и лучше подготовлено, оно стоило бы меньших жертв и раньше увенчалось бы успехом. Судя по тому, что пишет об этом С. М. Штеменко, в Генштабе понимали это и тогда. Но почему же...

Автор отвечает и на этот неизбежно возникающий у читателя вопрос:

«...Верховный назвал Батайск как конечную цель удара, а он о своих указаниях никогда не забывал и не позволял забывать другим...»

Поди пойми, одобряет ли Штеменко в данном случае Верховного или критикует. Пожалуй, одобряет: вот ведь какая у Сталина сильная воля! Но тут же сам Штеменко своим разбором операции на Северном Кавказе неопровержимо доказывает, что эта «сильная воля» привела к бессмысленной потере времени и человеческих жизней.

Еще пример.

На стр. 96—97 читаю, что 25 января 1943 года Верховный Главнокомандующий обнародовал приказ, в котором давал создавшемуся положению следующую оценку: вражеская оборона взломана на широком фронте; в ней образовалось много пустых мест и участков, которые прикрываются лишь отдельными отрядами и

боевыми группами; резервы противника истощены, и остатки их он вводит в бой разрозненно, с ходу. Для перехвата инициативы у противника возможности пока нет. Маловероятно, чтобы гитлеровская армия в ближайшее время предприняла сколько-нибудь значительные контрдействия на Левобережной Украине или в центре стратегического фронта.

А она предприняла. Прогноз Сталина, что «враг бежит, бежит», что он собирается отводить свои войска, был начисто опровергнут действительностью. Дальнейшее развитие событий показало, что разгромить гитлеровскую группу «Центр» в то время не удалось именно из-за неправильной оценки намерений и возможностей противника, который внезапно перешел в наступление.

Как же мог получиться такой непростительный, по мнению С. М. Штеменко, просчет?

Оказывается, бдительность и Ставки и Генштаба усыпили «победные реляции с фронтов». Впрочем, пишет автор, «истины ради следует сказать, что у нас (т. е. у Генштаба.— Р. Л.) сомнения были и мы делились ими с Ватутиным, а потом доложили их и Верховному Главнокомандующему...». Да и для командующих фронтами опасность контрнаступления противника не была, видимо, такой уж невероятной: «Командование Юго-Западного фронта знало о возможности столкновения с сильными неприятельскими резервами... и даже предупреждало об этом нижестоящие штабы, но... все это втискивало в рамки *полюбившейся ему версии об отходе немецко-фашистских войск*».

Значит, нижестоящие штабы предупреждали, а от Ставки скрывали? Почему? И почему так «полюбилась» командующим фронтами не соответствовавшая истине версия? Не потому ли, что автором ее был Сталин? Всемогуший и никогда не ошибающийся Сталин, своим приказом от 25 января навязавший им свою чрезмерно оптимистическую концепцию. Не правильно ли будет предположить, что командующие фронтами не решались сообщать Ставке данные, эту концепцию опрокидывающие? Это не просто предположение — оно непосредственно вытекает из оценки, которую дает Штеменко поведению командующего Воронежским фронтом Ф. И. Голикова («...в... дни острого развития событий на Воронежском фронте оказалось невозможным составить объективную картину по докладам Ф. И. Го-

ликова»). Нельзя яснее дать понять читателю, что командующий Воронежским фронтом давал Ставке информацию, которая не отражала действительного положения вещей, но зато подтверждала концепцию Сталина. Что же касается Н. Ф. Ватутина, пишет Штеменко, то «до сих пор остается загадкой, как это Ватутин — человек, безусловно, осмотрительный и всегда уделявший должное внимание разведке противника, на сей раз так долго не мог оценить размеры опасности...».

Кажется, автор здесь напрасно скромничает: из всего, что он пишет, ясно, что загадку эту он, надо полагать, давно разгадал, раз уже ее легко разгадывают читатели. В приказе Сталина было сказано, что **резервы противника истощены**. Ватутин, как и все мы, был воспитан в убеждении, что Сталину виднее. А для того чтобы доложить Верховному, что он ошибается, нужна была храбрость совсем другого рода, чем та, которая требуется на фронте.

Таким образом, если сопоставить приводимые в книге даты (**25 января** — приказ Сталина; **первая половина февраля** — успокаивающие донесения с фронтов; **19 февраля** — начало контрнаступления фашистов), приходишь к неизбежному логическому выводу: **не донесения с фронтов дезориентировали Сталина, а Сталин своим приказом дезориентировал командующих фронтами**.

Конечно, ничем нельзя оправдать ложную информацию. Но, во-первых, это характеризует стиль сталинского руководства: ему, значит, боялись говорить правду. А во-вторых, прогноз, содержащийся в злополучном приказе, отнюдь не свидетельствует о военных дарованиях его автора.

Остановлюсь еще на заключительном этапе войны — на зимней кампании 1945 года и подготовке взятия Берлина, как они описаны в книге (стр. 313—330):

«Координацию действий... фронтов на берлинском направлении Верховный Главнокомандующий взял на себя».

Как же осуществлялась эта координация?

Задолго до начала наступления, еще в ноябре 1944 года, было определено, что войска, которые будут брать Берлин, возглавит маршал Жуков, тогда же назначен-

ный командующим 1-м Белорусским фронтом (с оставлением на должности первого заместителя Верховного). Однако, когда наши армии вышли на рубеж Познань — Бреслау, и Генштабу и Ставке стало ясно, что брать Берлин надо силами не одного, а двух фронтов — 1-го Белорусского и 1-го Украинского, Сталин тут же утвердил план действий обоих командующих, но... одновременно установил разграничительную линию между фронтами, которая не оставляла 1-му Украинскому фронту никакого «окна» для удара по Берлину.

«Получилась, — справедливо пишет Штеменко, — явная несуразица: с одной стороны, утвердили решение маршала Конева — правым крылом наступать на Берлин, а с другой — установили разграничительную линию, которая не позволяла этого сделать. Мы считывали лишь на то, что до Берлина далеко и нам удастся устранить возникшую нелепость».

Посмотрите, какие точные определения: «несуразица», «нелепость». Но ведь несуразица и нелепость не возникли стихийно. И не упрямый подросток, не случайный человек провел карандашиком по карте эту «разделительную линию». Можно ли назвать даже не великим, а просто сносным полководцем человека, который, пользуясь своей неограниченной властью, вырабатывает такой несуразный, такой нелепый план?

На стр. 327—329 Штеменко признает, что эта позиция Сталина крайне осложнила работу Генштаба по планированию завершающих ударов. За месяц с небольшим до окончания войны, 31 марта 1945 года, Генштаб с участием маршалов Жукова и Конева рассматривал план дальнейших действий фронтов, нацеленных на Берлин. Маршал Конев, естественно, был очень взволнован этой самой злосчастной разгранлинией, которая не давала ему ударить по Берлину. Но — «никто... в Генштабе не мог снять это препятствие».

К счастью, на следующий день Сталин, ознакомившись с действиями союзников, решил, что со взятием Берлина следует поторопиться. Воспользовавшись этим, начальник Генштаба обратил его внимание на то, что разгранлиния фактически исключает непосредственное участие 1-го Украинского фронта в боях за Берлин, а это может отрицательно сказаться на сроках овладения германской столицей. Тогда до Сталина, видимо, наконец, дошло, что его упрямство может всерьез помешать действиям нашей армии, в результате чего,

несмотря на ее героизм, ее сумеют опередить англичане и американцы (которым фашисты на последнем этапе войны фактически перестали сопротивляться). Верховный смилостивился и молча зачеркнул на карте часть разграничительной линии: от Люббена (60 км от немецкой столицы) до Берлина. Конев таким образом в конце концов получил «окошечко».

Штеменко сообщает эти факты без всякого анализа, но не без эмоций. «Эта проклятая разгранлиния не давала нам покоя более двух месяцев», — пишет он. Впрочем, поскольку армии 1-го Украинского фронта все же получили, наконец, доступ к Берлину, все остались довольны.

Автор явно не хочет делать выводы из своих сообщений. Но читатель делает эти выводы без труда. Хочешь не хочешь, а получается, что и на заключительном этапе войны **Генштабу приходилось бороться не только с замыслами противника, но и с безграмотными замыслами своего Верховного Главнокомандующего.**

Что же имел в виду Сталин, когда проводил свою разгранлинию? Почему он так упорно не хотел, чтобы Берлин был взят соединенными силами двух фронтов? Неизвестно. И видимо, это действительно осталось неизвестным. Сам Сталин не говорил, а спросить его об этом никто не осмеливался.

### 3. СТАЛИНСКИЙ СТИЛЬ РУКОВОДСТВА

Какова была обстановка в Ставке? Каковы были взаимоотношения между Ставкой и Генштабом — главным оперативным органом Верховного Командования, мозговым центром войны?

Е. Болтин хвалит Штеменко за то, что ему «удалось хорошо показать стиль и метод руководства Ставки».

Верно, стиль показан хорошо. Только вот хороший ли это был стиль?

На стр. 263 автор отзывается о сталинском стиле руководства одобрительно. «Обсуждение любого вопроса в Ставке протекало, как правило, в деловой и спокойной обстановке. Каждый мог высказать свое мнение».

Отлично. Но Штеменко забывает, что еще на стр. 126 он, характеризуя заместителя начальника (а впоследствии начальника) Генштаба Антонова, мимоходом заметил: «При необходимости Антонов *осмеливался*



возражать Сталину». А на стр. 396, рисуя портрет маршала Жукова, автор пишет: «Чувствуя свою правоту в том или ином спорном вопросе, Георгий Константинович мог довольно резко возражать Сталину, на что *никто другой не отваживался*».

Не будем придираться к тому, что эти заявления взаимно противоречивы: не ясно, один ли Жуков **отваживался** возражать Сталину или на это **осмеливался** и Антонов. Несомненно, однако, что обе цитаты начисто опровергают утверждение, будто в Ставке царил обстановка, при которой «каждый мог высказать свое мнение». Какое уж тут «каждый», если начальник Генштаба «осмеливался», а первый заместитель Верховного «отваживался»!

Что же касается атмосферы деловитости и спокойствия, то она характеризуется буквально через двадцать страниц. Командующий Карельским фронтом К. А. Мерецков иллюстрирует свой доклад в Ставке демонстрацией макета местности и панорамными аэрофотосъемками укрепленного района противника. Вот как описывает Штеменко реакцию Сталина на этот доклад:

«Сталин слушал его, прохаживаясь, по обыкновению, вдоль стола. Потом вдруг остановился и резко прервал Мерецкова:

— Что вы нас пугаете своими игрушками? Противник, по-видимому, загипнотизировал вас своей обороной... У меня возникает сомнение, сможете ли вы после этого выполнить поставленную задачу.

И тут Мерецков подлил масла в огонь: отложив «игрушки» в сторону, он сразу же стал просить тяжелые танковые полки и артиллерию прорыва. Это уже совсем взвинтило Сталина. Последовала новая резкая реплика:

— Думаете, напугали, и мы откроем вам кошель?.. А мы не из пугливых.

Верховный не дал командующему закончить доклад...»

Если это называется «спокойная и деловая обстановка», то что же тогда назвать атмосферой грубости и нервозности?

Но, может быть, нельзя так поспешно обобщать? Ведь Штеменко оговаривается: «как правило». Может быть, эпизод с Мерецковым был как раз исключением из правила? Чего не бывает с человеком: случайный

срыв, болезнь, усталость? Нет, приводя этот эпизод, Штеменко говорит о нем, как о «характеризующем в какой-то мере тогдашнюю нашу рабочую обстановку». Следовательно (другого вывода сделать нельзя), вовсе не спокойствие и деловитость, а грубость и нервозность характеризовали рабочую обстановку в Ставке.

Концы с концами, как видите, не увязаны. Положительная характеристика сталинского стиля руководства, сформулированная С. М. Штеменко на стр. 263, опровергается тем же С. М. Штеменко на стр. 126, 145, 396 и многих других. Странно, что этого не заметил Е. Болтин.

Примеры сталинского самодурства щедро рассыпаны в книге. Вот стр. 114. Автор пишет, что постоянное пребывание А. М. Василевского в бытность его начальником Генштаба на фронтах весьма осложняло работу Генштаба. «Но,— добавляет Штеменко,— Верховный Главнокомандующий по этому поводу ни с кем не советовался».

(Общеизвестно, что во время войны место начальника Генштаба — как и Верховного Главнокомандующего — не на фронте, а в тылу. Но если начальник Генштаба может вообще не появляться на фронте, то Верховному время от времени (разумеется, не часто) бывать во фронтовых частях следует. Этого что-то не было слышно<sup>1</sup>.)

Глагола «советоваться» Сталин, видимо, вообще не

---

<sup>1</sup> На стр. 383 рецензируемой книги я с интересом прочла мельком оброненную фразу: «В этот день (день взятия Орла и Белгорода.— *Р. Л.*) Сталин только что вернулся с Калининского фронта». Насколько мне известно (возможно, впрочем, что я ошибаюсь), это первое упоминание в печати о поездке Сталина на фронт. Естественно, что генштабист Штеменко лучше осведомлен о таких вещах, чем мы, читатели. Однако не приходится сомневаться, что упоминаемая в книге поездка была редчайшим исключением и что она была полностью законспирирована от войск. Ибо никогда, ни в одной газете и вообще нигде не читали мы воспоминаний, впечатлений какого-нибудь солдата или офицера о посещении Сталиным фронта. Если во время войны такая секретность могла — с натяжкой! — объясняться соображениями безопасности, если после 1953 года это вызывалось борьбой против культа личности, то чем объяснить отсутствие таких воспоминаний в печати с 1945 по 1953 год? В частности, почему даже в 1949 году, когда отмечалось 70-летие Сталина, когда газеты захлебывались от любви и восторга и в течение полугода печатали «Поток приветствий», — почему даже тогда не появилось ни слова о посещениях Сталиным фронтов? Очевидно, потому, что таких посещений — во всяком случае, известных солдатам — не было.

признавал. Вот он, буквально накануне операции по освобождению Крыма, снимает с должности полностью подготовившего эту операцию командующего армией генерала И. Е. Петрова (стр. 220). В армии, возглавляемой Петровым, в течение месяца находятся представитель Генштаба С. М. Штеменко и представитель Ставки, член Политбюро ЦК К. Е. Ворошилов. Однако смещение и назначение командующего армией происходят, по свидетельству автора, *«без всякого уведомления представителя Ставки, не говоря уже о запросе его мнения по такому немаловажному вопросу»*. Просто в один прекрасный день, к полному недоумению Ворошилова, в станицу Варениковскую «прибыл специальный поезд, а с ним — новый командующий армией».

Как после этого относиться к утверждению Штеменко, что в Ставке «каждый мог высказать свое мнение»? Ведь даже у члена Ставки и члена Политбюро этого мнения попросту не спрашивали.

Доподлинные причины замены Петрова, эпически пишет Штеменко, «так и остались неизвестными». Это очень любопытное заявление. Книгу Штеменко писал в конце 60-х годов. Не знаю, жив ли И. Е. Петров, но К. Е. Ворошилов жив <sup>1</sup>. И Штеменко вполне мог спросить его о причинах внезапной замены Петрова. Вероятно, и спросит. Но и Ворошилову доподлинные причины, видимо, тоже остались неизвестными. Значит, не только возразить, не только высказать свое мнение, но даже спросить и то не осмеливался член Политбюро.

Впрочем, автор догадывается, что у Сталина было, видимо, какое-то предубеждение против прекрасного военачальника и честного коммуниста И. Е. Петрова, так как, пишет Штеменко, Петрова во время войны четырежды снимали и перебрасывали с места на место, ни разу не дав ему закончить начатое дело. Причины этой предвзятости автору неизвестны, но о них можно догадываться. Через несколько месяцев после описанной выше истории Петрова по личному распоряжению Сталина снова снимают с работы — на этот раз со 2-го Белорусского фронта. Происходит это после того, как член Военного совета фронта Мехлис сообщает Сталину о «мягкотелости» Петрова. Что такое в представлении Сталина и Мехлиса «мягкотелость», представить

---

<sup>1</sup> Был жив в ноябре 1969 года, когда писалась эта статья.

себе нетрудно, а «информаторы» были у Сталина и кроме Мехлиса, который, не отличаясь военными талантами, был незаменим, видимо, именно как «информатор».

Еще пример. Вот уже после войны Генштаб по поручению Сталина готовит торжественный обед в Кремле и парад Победы. 24 мая Сталину докладывают план подготовки и проведения парада. Сталин сокращает срок подготовки, утверждает план и спрашивает:

— А кто будет командовать парадом и принимать его?

«Мы промолчали, — пишет Штеменко, — зная наверняка, что он уже решил этот вопрос и спрашивает нас так, для проформы. — К тому времени мы уже до тонкости изучили порядки в Ставке и редко ошибались в своих предположениях».

Вот, значит, каковы были порядки в Ставке: Сталин все решал сам, а если спрашивал, так только для проформы. И опять возникает все тот же проклятый вопрос: куда девать заявление автора, что обстановка в Ставке была деловой и что «каждый мог высказать свое мнение»?

Если судить даже только по книге Штеменко (хотя есть множество и других свидетельств), то грубость и капризность Сталина, о которых упоминал еще Ленин в своем известном письме к XII съезду партии, возросли к 40-м годам до гипертрофированных размеров. К тому же они осложнились необыкновенной мелочностью и подозрительностью. Чего стоит хотя бы то, что Сталин лично устанавливал, когда и кому из руководящих работников Генштаба спать, а когда работать? Казалось бы, какое ему до этого дело? Генштаб во время войны работал круглосуточно, а уж внутренний распорядок вроде мог бы установить сам начальник Генштаба. Но нет, Сталин указывает: Антонову спать тогда-то, а Штеменко тогда-то. И разумеется, «установленный Сталиным жесткий порядок никто не мог изменить».

Любопытно, что Штеменко, будучи начальником оперативного отделения Генштаба, докладывал утром по телефону Верховному о положении на фронтах раньше, чем делал аналогичный доклад начальнику Генштаба. Кажется, полагается наоборот? Но такой порядок опять же «был определен лично Сталиным». «Делалось так потому, — наивно разъясняет Штемен-

ко,— что по распоряжку нашей работы в 10—11 ч. утра начальник Генштаба еще отдыхал». Но ведь мы только что узнали, что и начальнику Генштаба часы отдыха устанавливал лично Сталин. Так, может быть, он для того и установил ему такие часы, чтобы начальник Генштаба, упаси боже, не узнал что-нибудь важное раньше Сталина?

Насколько этот человек никому не доверял и никого не уважал, видно и из примеров, касающихся Штеменко лично. Очень, например, характерна история о том, как начальник оперативного отделения Генштаба летел в Тегеран.

Описание этой поездки начинается так:

«Днем 24 ноября 1943 г. Антонов сказал мне:

— Будьте готовы к отъезду. Возьмите карты всех фронтов и прихватите шифровальщика. Куда и когда поедете, узнаете позже...»

В этом еще нет никакого криминала. Известно, что советская разведка получила сведения о подготовке покушения на участников тегеранской встречи, и максимальная засекреченность поездки была поэтому вполне оправданна. Можно понять, что во избежание какой-нибудь случайности даже весьма ответственных участников поездки не предупреждали заранее, куда и когда они поедут.

Но дальнейшее уже менее понятно.

Штеменко едет в машине на вокзал. Шофер знает, на какой вокзал он едет, а начальник оперативного управления Генштаба, куда его везут, не знает, и пытается, совсем как заключенный, «ориентироваться, вглядываясь в улицы и переулки сквозь неплотное зашторенное боковое окно».

Смешно?

Да нет, почему-то не очень. Тем более что затем Штеменко в течение суток едет в специальном поезде вместе со Сталиным и Ворошиловым и докладывает им в пути обстановку на фронтах. И все еще не знает, куда и зачем он едет! А ведь, при минимальном уважении к своим сотрудникам, в поезде это ему уже можно было сказать?

Но о каком уважении человеческого достоинства можно говорить, если иметь в виду Сталина? Человека, который по утрам звонил в Генштаб и «иногда здоровался». Человека, который, вызвав к себе в 23 часа круглосуточно работавших сотрудников Геншта-

ба и выслушав их двухчасовой доклад, предлагал им посмотреть кинокартину, «преимущественно фронтовую хронику» («Нам было не до этого. В управлении ожидала работа без конца и края. Но отказываться не осмеливались...»). Человека, который, рассердившись за пустяковую ошибку, спрашивает заслуженного полковника: «Что у вас на плечах?» Человека, который как школьников, распекает ведущих работников Генштаба: «Читаете ли вы военную историю? Вот если бы вы читали, вы бы знали...»

Разумеется, это мелочи, но мелочи удивительно характерные, типичные, мелочи, в которых проявляются натура, личность. Из них, пожалуй, наибольшее впечатление производит выразительное повествование о том, как генштабисты встречали со Сталиным Новый год. Здесь я позволю себе привести большую цитату:

«В канун Нового, 1945 года, за несколько часов до полуночи, А. И. Антонов объявил:

— Только что звонил Поскребышев. Передал, чтобы мы приехали на «Ближнюю» к половине десятого без карт и документов.

На мой вопрос, что бы это значило, А. И. ответил шутливо:

— Может быть, нас приглашают встретить Новый год? Не плохо бы...

Через несколько минут последовал звонок от командующего бронетанковыми и механизированными войсками Я. Н. Федоренко. Он, в свою очередь, спросил, не знаем ли мы, зачем и его вызывают на «Ближнюю», причем тоже налегке.

Я сказал, что сами ломаем голову относительно странного приглашения.

Вдвоем с Антоновым, как обычно, на его машине, мы выехали, продолжая теряться в догадках о цели вызова. Ежедневные наши поездки к Верховному были, как правило, более поздними, а на праздники нас никогда не приглашали.

На даче у Сталина мы застали еще несколько военных... *Как выяснилось*, нас действительно пригласили на встречу Нового года, о чем свидетельствовал уже накрытый стол...» (стр. 301).

Тут уж впрямь «ни прибавить, ни убавить». Трудно представить себе, чтобы даже какой-нибудь восточный тиран, какой-нибудь владыка ассирийский так приглашал на пир. Приказано явиться, а зачем — неиз-

вестно: то ли водку пить, то ли живу не быть. Вот когда явились, тогда узнали: приказано веселиться...

Не буду пересказывать описание самого празднования: ничего не может быть скучнее, невыразительнее, ничто так не характеризует угрюмую, лишенную человечности натуру Сталина, как этот праздник по приказу, лишенный веселья, юмора, культуры, даже женского общества. Ибо ни военных руководителей, ни членов Политбюров (приглашенных, очевидно, таким же способом) даже не подумали спросить: а может быть, они хотят встречать Новый год с женами? По свидетельству Штеменко, присутствовала лишь одна женщина: жена Пальмиро Тольятти. Видимо, секретаря ЦК Итальянской компартии все же **пригласили** встречать Новый год, а не **приказали** ему явиться, и, снисходя к его европейским предрассудкам, так и быть, пригласили с женой.

Судя по воспоминаниям Штеменко, невероятная грубость и маниакальная подозрительность Сталина в отношении советских людей сочетались у него с необычайным легковерием, когда речь шла о политических деятелях капиталистического мира. Общеизвестны уверенность Сталина в том, что Гитлер будет соблюдать советско-германский договор, доходившие до неприличия его, Сталина, попытки задобрить фашистского фюрера. На стр. 359 рецензируемой книги Штеменко дополняет наше представление о прозорливости Сталина рассказом о том, как воспринял Верховный сообщение Трумэна и Черчилля о наличии в Америке атомной бомбы. «Видимо,— пишет автор,— Сталин не вынес из беседы с Трумэном впечатления, что речь идет о принципиально новом оружии. Во всяком случае, Генеральному штабу никаких дополнительных указаний не последовало».

Возможно, это объясняется моей военной неграмотностью, но мне почему-то кажется, что Генштабу (а весной<sup>1</sup> 1945 года в особенности) больше пристало заниматься изучением проблемы атомного оружия, чем подготовкой торжественного обеда — хотя бы и в честь Дня Победы.

Кстати, о торжественном обеде. В своей книге Штеменко полностью воспроизводит известный тост Ста-

---

<sup>1</sup> Летом 1945 года в Потсдаме.— И. Э.

лина на этом обеде и с восторгом комментирует его. Ясно, что сейчас, почти через четверть века, когда история пересмотрела и переоценила многие действия и речи Сталина, автор считает этот его тост образцом государственной мудрости, патриотического чувства и коммунистического сознания.

Я считаю, что в этой речи Сталин зафиксировал свою измену марксизму-ленинизму и вызывающе нарушил Советскую Конституцию, запрещающую, как известно, проповедь национальной и расовой исключительности.

Сталин заявил с кремлевской трибуны, что русский народ «является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза». Это есть не что иное, как проповедь национальной исключительности, узаконение национального неравенства. Ибо там, где есть лучшие, есть и худшие, там, где кому-то обеспечено первое место, обязательно есть те, кому уготовано последнее. Что общего имеет эта шовинистическая табель о рангах, это деление народов на «более выдающиеся» и «менее выдающиеся» — с ленинской национальной политикой?

Заметим, что Сталин делает оговорку: «...из всех наций, входящих в Советский Союз». Это дипломатическая оговорка: он не хочет обидеть союзников — американцев, англичан, французов. Обидеть многочисленные советские народы он не боится: ничего, стерпят. Наоборот, он сознательно сеет национальную рознь между братскими народами Советского Союза, считая, как все тираны, что эта рознь облегчит ему управление. Для этого в речи дважды подчеркивается, казалось бы, совершенно немыслимое в устах руководителя Коммунистической партии и социалистической партии и социалистической страны утверждение: **один** — пусть и самый многочисленный — из народов нашей многонациональной страны является «*руководящим народом*», «*руководящей силой*». Остальные, надо понимать, руководимые, несовершеннолетние?

Сравним это заявление с ленинской статьей «О национальной гордости великороссов».

«Мы полны чувства национальной гордости,— писал В. И. Ленин,— ибо великорусская нация **т о ж е** создала революционный класс, **т о ж е** доказала, что она способна дать человечеству великие образцы борьбы за свободу и социализм, а не только великие погромы,



ряды виселиц, застенки, великие голодовки и великое раболепство перед попами, царями, помещиками и капиталистами».

Обращаю внимание читателей на дважды выделенное шрифтом маленькое слово «тоже». Ленин как бы специально подчеркивает этим отсутствие какой бы то ни было исключительности, какого бы то ни было пренебрежения к другим народам. В подтверждение этого читаем дальше:

«И мы, великорусские рабочие, полные чувства национальной гордости, хотим во что бы то ни стало свободной и независимой, самостоятельной, демократической, республиканской, гордой Великороссии, *строящей свои отношения с соседями на человеческом принципе равенства, а не на унижающем великую нацию крепостническом принципе привилегий*». (Курсив мой.— Р. Л.)

Статья «О национальной гордости великороссов» написана В. И. Лениным в 1915 году. К 1945 году со дня опубликования этой статьи прошло 30 лет, с Октября 1917 года — почти 28 лет. Октябрьская революция написала на своих знаменах в числе прочих лозунгов полное уничтожение постыдного национального неравенства, лежавшего в основе государственного устройства царской России. Тем чудовищнее, что в 1945 году, на торжестве, посвященном победе над самым коварным и страшным врагом и русского народа, и всех народов СССР, и всего человечества, Генеральный секретарь партии, основанной Лениным, счел нужным перечеркнуть завоевания Октября и во всеуслышание провозгласить в качестве ведущего «унижающий великую нацию крепостнический принцип привилегий».

Лесть — не признак уважения. Льстят только тем, кого надеются обмануть. В грубой лести Сталина нет никакого уважения к великому русскому народу, к его национальным свойствам, к его огромному вкладу в мировую культуру, в революционно-освободительное движение, в разгром фашизма. Можно легко обнаружить в этом тосте идейную близость с милым сердцу некоторых современных публицистов К. Леонтьевым, с мрачайшей фигурой русской истории К. Победоносцевым. Можно найти в нем отзвуки гитлеровской концепции «избранного народа», «народа-фюрера» (кстати, это точный перевод: «фюрер» по-немецки «руководитель»). Но даже днем с огнем нельзя найти в

этой речи ничего от марксизма, ленинизма, коммунистической идеологии.

Любопытно, что в этой же речи Сталин позволил себе роскошь, которую он никому другому не позволял: он признал, что «у нашего правительства было много ошибок». Каких — он не сказал; однако по контексту ясно, что Сталин имел в виду те самые ошибки, которые были причиной «отчаянного положения в 1941—1942 гг.» (не считая, разумеется, массовых арестов, которые Сталин не только преступлением, но даже ошибкой никогда не считал). Нынешние сталинисты католичнее, чем сам папа: никаких ошибок Сталина они не признают, либо, в крайнем случае, как девица в соответствующем анекдоте, утверждают, что они были «очень маленькие». Безусловно для них одно: незачем разбираться в ошибках, раз мы победили. Незачем подсчитывать, во что обошлись народу и родине ошибки и преступления Сталина и его окружения: счет этот списан войной и победой.

Эти надежды напрасны: история ничего не прощает и не «списывает». Но именно в расчете на такую психологию, на то, что «победителей не судят», и сделал Сталин свое демагогическое заявление, похвалив русский народ за то, что он не прогнал свое правительство, наделавшее много ошибок, и не поставил другое, как это сделал бы «иной народ».

Какое другое? Которое руководило бы войной против фашизма и строительством социализма лучше, чем правительство Сталина? Так народ просто не имел возможности не только сделать это, но и подумать об этом. Нет, Сталин, конечно, не это имеет в виду. Он говорит, что «иной», менее героический и великий народ не выдержал бы этой войны и поставил бы правительство, которое «заключило бы мир с Германией и обеспечило бы покой». Делая это демагогическое заявление, Сталин прекрасно знал (и знал, что это знает наш народ), что **мир, обеспечивавший покой, с гитлеровской Германией заключить было невозможно**. Не разгромив фашизм, мира можно было достигнуть только на условиях рабства. В рабство же ни русский, ни какой-либо другой советский народ идти не хотел. Кредит доверия Советскому правительству и русский, и другие народы СССР действительно оказали большой. Что же, это лишь увеличивает историческую вину Сталина, систематически это доверие обманывавшего.

Таким образом, мы видим, что книга, которую хвалят за то, что она реабилитирует Сталина, фактически дает обильный материал, для его развенчания, разоблачения. Книга С. М. Штеменко «Генеральный штаб в годы войны», по существу, уничтожает созданную фальсификаторами истории легенду о Сталине как о руководителе и организаторе победы над фашистской Германией. Тот факт, что автор вовсе не хотел разоблачать Сталина, лишь усиливает значение его свидетельств.

История литературы — и художественной и мемуарной — насчитывает немало случаев, когда автор, оставаясь верным правде, опровергает себя самого. Неудивительно поэтому, что в споре, который на протяжении всей книги ведут Штеменко-генштабист и Штеменко-сталинист, побеждает первый.

*Москва. 12.9.1969*

## **II. О второй книге С. М. Штеменко «Генеральный штаб в годы войны»**

Вторая книга вышла в свет через четыре года после первой, в 1973 году. Не берусь судить о ее ценности для военных, но широкого читателя она сегодня привлекает меньше, чем первая, хотя интерес к истории Великой Отечественной войны отнюдь не угас.

Причины понятны. За прошедшие годы в обиходе читателей появилось множество новых — опубликованных — материалов. Среди них и мемуары крупных советских военачальников (прежде всего маршала Г. К. Жукова), и воспоминания рядовых участников войны, и записки писателей-фронтовиков. Особое место в читательском восприятии истории войны занимают посвященные ей немногие страницы «Архипелага ГУЛАГ», которые, как бы ни относиться к этой гигантской книге, не вырубить топором из сознания.

После всего этого вторая часть мемуаров С. М. Штеменко сообщает мало нового. Нельзя, впрочем, не признать, что освещение автором ряда известных исторических фактов (формирование в СССР польской, чехословацкой и других иностранных частей; взаимо-

действие с Народно-освободительной армией Югославии; история Варшавского восстания; пленение властителей; взаимоотношения с союзниками и с правительствами и политическими партиями освобожденных стран) дает небезынересный материал для размышлений.

Памятуя свое штатское положение (за прошедшие годы я не окончила никакой академии), я и в этой части своей рецензии воздержусь от какого-либо стратегического разбора: не мое это дело. Меня интересует другое — изменилась ли за эти годы позиция автора в смысле оценки роли Сталина в войне и победе?

И да и нет.

**Изменилась**, ибо от очень осторожной защиты Сталина в первой книге С. М. Штеменко во второй переходит к открытому и рьяному его восхвалению. Перейдя от обороны к наступлению, Штеменко-сталинист в этой книге заявляет, что Сталин проявил «высокие качества военного деятеля» и «как полководец вложил неоченимый вклад в дело победы».

**Не изменилась**, ибо во второй книге, как и в первой, Штеменко-сталинист, даже ободренный общим процессом ресталинизации, терпит поражение от Штеменко-генштабиста. **Фактов**, подтверждающих апологетические оценки, в книге нет, а есть факты, их опровергающие, — и портрета великого полководца и талантливое стратега не получается.

Можно посочувствовать С. М. Штеменко, когда он в начале последней главы наивно высказывает «чувство зависти к авторам художественных произведений», которые вправе-де «вложить в уста полководца те фразы, а в голову те мысли, которые они считают нужными». Оставим в стороне несколько упрощенное представление С. М. Штеменко о процессе художественного творчества, но, несомненно, сочинителям некоторых так называемых «художественных» произведений (например, автору «Блокады» А. Чаковскому) легче, чем штабнику Штеменко, не умеющему «вкладывать» в уста и голову своего героя украшающие его фразы и мысли.

Итак, во второй книге, как и в первой, оценки и факты не совпадают. Например, на стр. 279 второй книги автор повторяет то, что уже говорил в первой: Сталин «хорошо понимал необходимость коллективной работы», Сталин «не решал и вообще не любил решать важ-

ные вопросы войны единолично», он «признавал авторитеты... считался с их мнением и каждому отдавал должное». А на стр. 253—255 рассказывается, как Сталин, **не спрашивая мнения Генштаба**, приказал командующему 2-м Украинским фронтом Р. Н. Малиновскому **немедленно** овладеть Будапештом, не дав ему никакого времени на подготовку. Наступление не увенчалось успехом, и, пишет далее Штеменко, «в Генштабе задумались. Решение на удар за Тиссой было принято лично Верховным Главнокомандующим, и никто не решился бы его отменить или поправить. Но нужно было спасти положение».

И Генштаб принялся спасать положение, созданное некомпетентным приказом Главкома.

Это не единственный пример. Вот на стр. 497 сообщается о поправках, внесенных Верховным Командованием в разработанный Генштабом план стратегической обороны летом 1942 года, которые «существенно осложнили решение задачи» и «стали источником многих злоключений». Вот на стр. 274—275 живописуется телефонный разговор И. В. Сталина с командующим 3-м Украинским фронтом Ф. И. Толбухиным. Разговор происходит в марте 1945 года. В кабинете Верховного в это время находится начальник Генштаба А. И. Антонов. Сталин ничего ему не сообщает и ничего не спрашивает, а просто, *«посмотрев на А. И. Антонова»*, говорит Толбухину: «Генштаб на моей стороне».

Ну, если это называется «ценить коллективную работу»...

Приходится, однако, предполагать, что во время войны Сталин вынужден был в конце концов научиться как-то считаться с мнением военных специалистов. Он был достаточно умен, чтобы понять, что иначе нельзя выиграть войну и приписать затем себе лично честь разгрома фашизма. Однако победить свою натуру трудно, и время от времени Сталин срывался, за что каждый раз приходилось дорого платить.

Вывод, что Сталин **не был** выдающимся полководцем, логически вытекает и из сопоставления общеизвестных фактов его поведения с теми необходимыми выдающемуся полководцу качествами, которые перечисляет Штеменко в 13-й главе своего труда.

«Первейшей задачей военачальника, — пишет Штеменко, — является *знание противника*... Главное для полководца должно заключаться в отчетливом пони-

*мании возможностей* противника и — что важнее всего — правильном *представлении о его замыслах*» (стр. 459, подчеркнуто мной.— Р. Л.).

Пятью страницами раньше (стр. 454) Штеменко свидетельствует:

«Горестным примером большого просчета было мнение советского Верховного Командования и лично И. В. Сталина относительно срока нападения Гитлера на Советский Союз. ...Начала военных действий в июне... не ждали. Считали возможным развертывание агрессии гитлеровской Германии *гораздо позже*» (подчеркнуто мной.— Р. Л.).

Таково представление Сталина о **замыслах** противника. А вот его понимание **возможностей** противника:

«...В ноябре 1941 г. Верховный Главнокомандующий сказал: «Нет сомнения, что Германия не может выдержать долго такое напряжение. Еще несколько месяцев, еще полгода, может быть, годик — и гитлеровская Германия должна лопнуть под тяжестью своих преступлений».

Штеменко комментирует: «Но противник, мобилизовавший в своих интересах промышленность и сельское хозяйство покоренных им стран Европы, «лопнул» только после того, как у него вырвали территорию завоеванных государств и загнали в собственное логово».

Неужто в ноябре 1941 года Сталин не знал, что Германия располагает не только собственными ресурсами, но и ресурсами покоренных стран Европы? Разумеется, знал. Знал, но не понимал, недооценивал значение для войны экономического потенциала.

Штеменко правильно пишет, что «полководец — это не должность и не чин», это — талант, это «личные качества» военачальника. «Каждый полководец вносит что-то свое, присущее его характеру, дарованиям, знанию и опыту...»

Что же «свое, присущее...» внес Сталин? Этого Штеменко сказать не может и поэтому аргументирует именно должностью и чином:

«И. В. Сталин на протяжении всей войны являлся Председателем Государственного Комитета Оборона и Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами СССР. На этих постах проявились его высокие качества военного деятеля.

...Коль скоро давно установлено, что выдающаяся личность играет важную роль в истории, то мы по праву

можем сказать, что Сталин и как полководец вложил неоценимый вклад в дело победы» (стр. 479—480).

Проследим за ходом рассуждений. Сталин во время войны занимал высочайшие военные посты. Война закончилась победой. **Следовательно**, на этих постах проявились его высокие качества; **следовательно**, он является выдающейся личностью; а коль скоро выдающаяся личность играет важную роль в истории, то, значит, Сталин — великий полководец, который внес неоценимый вклад, и т. д.

Логика, скажем прямо, слабая — особенно для генштабиста, только что объяснившего, что полководец — «это не должность и не чин». Ведь надо еще доказать, что на данных высоких постах данная личность проявила высокие качества. Это во-первых. Во-вторых, следует выяснить, какую роль в истории играла эта «выдающаяся личность» — положительную или отрицательную. Ну и в конце концов естественно желание узнать, какой специфический «неоценимый вклад» внес данный деятель, занимая высокий пост.

Ничего этого в книге нет — очевидно, потому, что Штеменко не беллетрист.

Не будучи «автором художественных произведений», С. М. Штеменко пытается, однако, решить задачу, непосильную и для А. Чаковского, — «очеловечить» Сталина. Для этого подробно описывается скромная обстановка «Ближней» дачи, умиленно рассказывается, как Сталин лечился от радикулита, залезая на лежанку русской печи, как он (непонятно для чего) разбавлял водой сухое вино, как он ухаживал за розами и яблонями, выращивал арбузы и даже собственноручно кормил белочек и птиц. При чтении всех этих трогательных подробностей невольно вспоминается, что Гитлер был вегетарианцем, Геббельс — заботливым отцом, а Гиммлер, говорят, очень любил классическую музыку — Бетховена и Баха. Жаль, Штеменко, рассказывая о пристрастии Сталина к прокручиванию пластинок, не сообщает нам, совпадали ли музыкальные вкусы Сталина и Гиммлера. А можно бы — посмотрев, на каких именно пластинках Сталин писал «хор.», а на каких — «дрянь»...

Впрочем, бог с ними — с белочками, розами и пластинками. Гораздо интереснее свидетельство С. М. Штеменко об отношении Сталина к людям. Не вообще к людям — общеизвестно, что они были для него нули

и «винтики», а к тем «винтикам», с которыми он непосредственно работал и которые были ему нужны.

Во второй книге, как и в первой, есть примеры грубости и беспричинной антипатии Сталина к отдельным людям. Но это общеизвестно, это уже стандарт. Более выпукло рисуют Сталина отношения его с людьми, которых он ценил, к которым, в общем, относился хорошо (поскольку был на это способен).

Я имею в виду эпизод, относящийся лично к Штеменко и рассказанный им на последних страницах книги. Эпизод этот заслуживает, мне кажется, того, чтобы привести его подробно.

...Летом 1949 года С. М. Штеменко, тогда уже начальник Генерального штаба, вместе с заместителем военного министра В. Д. Соколовским поехал к Сталину на «Ближнюю» дачу, чтобы сделать Политбюро доклад о состоянии противовоздушной обороны в стране. Когда они приехали, Сталин и другие члены Политбюро вели на террасе разговор о строительстве новых заводов тяжелой промышленности.

Дальше придется цитировать:

«В ходе разговора И. В. Сталин вдруг спросил:

— А как думает молодой начальник Генерального штаба, почему мы разбили фашистскую Германию и принудили ее капитулировать?»

Я был готов к докладу по ПВО, мысли мои вертелись вокруг этого вопроса. *К тому же, не вполне было ясно, в каком направлении (?) шла беседа до нашего прибытия* (подчеркнуто мной. — Р. Л.). Поэтому, встав, я несколько помедлил с ответом. И. В. Сталин тоже встал, пыхтя трубкой, подошел ко мне и сказал: «Мы слушаем».

Оправившись от неожиданности, я подумал...» (стр. 505).

Ну как вы полагаете, что подумал начальник Генерального штаба, немолодой уже человек, генерал, кавалер многих орденов, внесший действительно вклад в дело победы? Что он подумал, когда ему задали вопрос, значившийся в экзаменационных билетах школьников девятого класса? Может быть, обиделся? Может быть, подумал (не сказал, а хотя бы **подумал!**), что это издевательство, что оскорбительно задавать ему такие вопросы?

Ничего подобного.

«...Я подумал, что лучше всего изложить Сталину



его собственную речь перед избирателями, произнесенную накануне выборов в Верховный Совет СССР 9 февраля 1946 г.».

Что ж, он был по-своему прав, этот стратег и тактик. **Замыслов** Сталина он не знал, но зато хорошо знал его **характер** и **возможности**. И потому начал излагать Сталину его, Сталина, собственную речь, мгновенно забыв так хорошо изложенный им, Штеменко (на стр. 288 рецензируемой книги), принцип: «Одним из самых страшных зол... является стремление «угадать» мысли начальника, подтянуть к ним для «подтверждения» свой доклад и боже упаси — пойти поперек их».

Итак, начальник Генштаба бубнит тысячу раз пережеванную за три года в газетах и учебниках речь Сталина и, надо отдать ему справедливость, чувствует себя при этом «не очень хорошо» («казалось, что изрекаю давно известные истины и лишь занимаю время»). Но *«никто меня не перебивал... все сохранили серьезность*, тоже, видимо, продумывая поставленный мне вопрос» (еще бы, а вдруг кого-то другого вызовут к доске!)...

Боже мой, что же это напоминает? Ведь где-то уже была такая ситуация? Да, конечно, в одной из песенок А. Галича, где Клим Петрович Коломийцев, выступая, правда, по перепутанной (а не такой надежной, как у Штеменко) шпаргалке, во всеуслышание провозглашает на митинге, что он требует мира «как мать и как женщина» («который год я вдовая, все счастье мимо, но я стоять готовая за дело мира»). И тоже никто не перебивает, не смеется, все сохраняют серьезность, оратора награждают аплодисментами, и «первый — лично сдвинул ладоши».

В Кунцеве, естественно, аплодисментов не было. «Первый», терпеливо выслушав собственную речь, не стал бить в ладоши, а начал делать открытия. Он сообщил начальнику Генерального штаба совершенно свежую истину, не усвоенную им, Сталиным, восемь лет назад, в начале войны: следует помнить, что в войне большое значение имеют людской и экономический потенциалы. И на двух страницах, захлебываясь от почтительности, Штеменко сообщает читателям весьма тривиальные и не очень точные выкладки и сообщения Сталина по поводу этой истины, известной каждому первокурснику.

Пожалуй, этот эпизод произвел на меня наиболее тяжелое впечатление. Мы теперь много знаем о чудовищных преступлениях Сталина, об уничтожении им миллионов людей. Но мы еще не вполне оценили последствия его многолетней деятельности по растапыванию человеческой личности, его систематических усилий, направленных на лишение людей самоуважения, чувства человеческого достоинства. Я понимаю, что рассказанный эпизод — отнюдь не самый чудовищный из примеров, которые можно привести. Но он характерен как пример атмосферы, в которой десятилетиями воспитывались работники государственного аппарата. В результате такого воспитания создаются люди, которым нечего терять и которые не будут испытывать ни малейшей неловкости в ситуации, в которой Штеменко все-таки чувствовал себя «не очень хорошо».

*Москва, 1974*

## РАЗГОВОР НАЧИСТОТУ

*(К двадцатилетию XX съезда КПСС)*

Правда конца — это тоже  
возможность начала.

*Н. Коржавин. Инерция стиля*

Иллюзий было достаточно. Радужных надежд — тоже. Пора осмыслить итоги этого двадцатилетия, на которое мы в 1956 году возлагали такие большие надежды.

Тогда, в 1956 году, печалась о жертвах, возмущаясь узанным, мы в то же время радовались. Казалось — сброшен с плеч кровавый груз сталинского деспотизма, угрюмой лжи, лицемерия, жестокости. Можно зажить по-новому, по-социалистически, можно говорить правду, **нужно** говорить правду. Нужно спросить людей, народ, все население нашей страны (а оно все трудовое!), как они хотят жить, чего хотят, чего не хотят.

Вдруг появилось искусство. Да, появилось. Еще незадолго до этого обкатанные строчки в журналах наводили тоску. Все театры были похожи друг на друга — и по репертуару и по стилю. Кино? В год выпускалось несколько уныло-биографических лент.

А тут хлынули в поэзию, в театр, в кино свежие молодые голоса. Именно тогда вошли в литературу Борис Слуцкий, Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко, Булат Окуджава, Новелла Матвеева; заговорили долго молчавшие М. Светлов, Л. Мартынов, Н. Заболоцкий. Возникли новые, ни на кого не похожие театры: «Современник», потом Театр на Таганке, потом — театр МГУ. Своеобразные, далеко слышные голоса подали из Ленинграда — Г. Товстоногов и Н. Акимов. Вышли на экраны «Летят журавли» и «Баллада о солдате». «Новый мир» напечатал «Не хлебом единым» В. Дудинцева. В журналах — литературных и научных — завязывались дискуссии на темы, еще недавно неприкасаемые и неупоминаемые.

Все это радовало, даже голову немного кружило. Больше всего радовала реабилитация. Воскресали живые и мертвые. Возвращались люди из гибельных лагерей и ссылок (а сколько их осталось там, в вечно мерзлой земле!); возвращались целые народы — калмыки, чеченцы, балкарцы; возвращались книги, давным-давно изъятые из обихода советских людей. Помню, однажды утром, развернув «Литературную газету», я радостно сообщила: «Кольцов реабилитирован!» — а присутствовавший при этом юноша, студент первого курса, родившийся в 1937 году, спросил: «А кто такой Кольцов?»

Кто такие Михаил Кольцов, Исаак Бабель, Андрей Платонов, Марина Цветаева, даже кто такие Михаил Зощенко, Михаил Булгаков и Анна Ахматова, новые поколения постепенно узнавали в 50—60-х годах. Культура как бы воссоздавалась и создавалась, прорастая молодыми побегам.

Но, взбудораженные и восхищенные всеми этими поступательными явлениями, мы не замечали, что даже тогда, в самом начале «оттепели», развитие шло весьма неровно, то взлетая, то падая, напоминая кривую температуры лихорадящего больного.

## 1. ВЛЕВО — ВПРАВО

Напомним вкратце ход событий. XX съезд и доклад Хрущева о культе личности Сталина. Небывалое — доклад зачитывается на открытых беспартийных собраниях. Какой демократизм, какая смелость: вот залог того, что «это не повторится»...

Наивные люди, мы как-то не придали в первый момент значения тому, что доклад этот **не был напечатан**. Он не был напечатан в СССР ни тогда, ни позже — ни в газетах, ни в журналах, ни даже в стенографическом отчете XX съезда. И теперь у нас уже никто не может прочесть его и вспомнить, что в нем сказано<sup>1</sup>.

Нельзя сказать, чтобы доклад этот был вершиной аналитического мышления: докладчик даже попытки не сделал проследить, как и почему стала возможной преступная деятельность Сталина. Но сама эта деятельность была показана достаточно ярко: от голода на Украине в результате сталинских методов коллективизации до разгрома и уничтожения военных кадров накануне войны. Десятиклассники, первокурсники 50-х годов, мальчики, три года назад по крышам пробиравшиеся к Колонному залу Дома союзов, чтобы отдать почести праху того, кто убивал их отцов и дедов, выслушав этот доклад, не могли не задуматься: **КАК? ПОЧЕМУ?**

Теперь этим студентам сорок лет. Они прожили эти двадцать лет, так и не получив ответа на свои вопросы. Кое-кто выбросил эти мучительные вопросы из головы. Но другие ответили себе на них сами. Ответили по-разному: как смогли, как додумались. Но один из ответов, безусловно, подсказала им жизнь: все возможно, если власть не ответственна перед народом, если права народа не закреплены в его **сознании**.

Период от XX до XXII съезда, а потом от XXII съезда до октябрьского Пленума ЦК 1964 года можно, как сказано выше, начертить в виде ломаной кривой. Сейчас, задним числом, можно отметить и пики взлетов, и глубины провалов (оговорюсь, что буду касаться только внутривнутриполитической и культурной жизни, не затрагивая ни экономической, ни внешнеполитической проблем).

Первым спадом, провалом после XX съезда был окрик по адресу нескольких молодых коммунистов, высказавшихся при обсуждении итогов XX съезда за многопартийную систему. Судя по напечатанному в апреле 1956 года в «Правде» сообщению, Хрущев вызывал их к себе, беседовал с ними (достижение!), но убедить не смог — и они были исключены из пар-

---

<sup>1</sup> Доклад впервые опубликован в «Известиях ЦК КПСС», № 3, 1989 г.

тии. Первый звонок. Некоторые оценили его правильно, но таких было мало — и автор данной статьи, к сожалению, не может отнести себя к их числу. Розовый туман стоял в голове. Все говорили открыто обо всем — так давно этого не было! И не замечалось, что говорили лишь о **прошлом**, о том, что **сверху разрешалось** критиковать. А сила гласности, свободного слова — как раз в праве критиковать тех, кто у власти **сегодня**.

Вот этого не было — и не становилось больше. Следующим этапом явились венгерские события, и они до того напугали, что наше руководство принялось пятиться назад. Сам Хрущев не постеснялся, через полгода после своего разоблачающего доклада на XX съезде, заявить: «Дай бог всем нам быть такими марксистами, как товарищ Сталин». Видимо, именно тогда ободрилась и приподняла голову наиболее сталинистская часть Политбюро, именуемая впоследствии «антипартийной группой». Вероятно, Молотов и другие тыкали в глаза Хрущеву событиями в Венгрии и вразумляли, до чего доводят «свободы». Помнится, в разгар венгерских событий в Москве были внезапно прекращены гастрольные выступления коллектива ленинградского Дома писателей, показывавшего в ВТО остроумный и злой спектакль «Давайте не будем!». Спектакль клеймил всего только лакировщиков, доносчиков и проработчиков в литературе и искусстве. Но и это уже казалось опасным.

Однако после XXII съезда пик критики (разумеется, обращенной в прошлое, но невольно влиявшей и на текущую жизнь) снова взлетел высоко, до самой высшей точки за эти 20 лет — дальше шло уже в общем нисхождение. На съезде вслух было сказано о работе созданной XX съездом комиссии по расследованию обстоятельств убийства Кирова и был сделан недвусмысленный намек на того, кто был подлинным убийцей! Из Мавзолея Ленина был убран труп Сталина. У «элиты» отобрали «пакеты», и шел разговор об отобрании и других привилегий. Печатались и готовились к печати исторические исследования о проведении коллективизации, о причинах неудач на первом этапе войны и др. В «Правде» появилось стихотворение Евтушенко «Наследники Сталина», предостерегавшее от неосталинизма. Ширилась пытавшаяся осознать происшедшее проза: появились «Рычаги» А. Яшина,

мемуары И. Эренбурга, «Тишина» Ю. Бондарева, «Хранитель древностей» Домбровского, наконец, вершина тогдашней прозы — «Один день Ивана Денисовича» А. Солженицына. Вышли «Тарусские страницы» и альманахи «Литературная Москва», в которых воскресло имя Марины Цветаевой. Выходил «Новый мир» А. Твардовского — журнал, дававший настоящую духовную пищу изголодавшимся по ней людям.

Люди начали думать. Вольно думать. Не по тезисам, не «от сих до сих», не подгоняя свои мысли к заранее готовому ответу, а свободно — не зная еще, к каким выводам они придут. И нередко приходили к выводам, ничего общего не имеющим с заготовленными стандартной пропагандой. Тогда-то и начался тот необратимый духовный процесс, который продолжается и сейчас и который был бы плодотворным, если бы был основан на свободном споре и обмене мнениями. Люди думают. Что может быть прекраснее? Пусть думают, пусть открыто выражают свои мысли, пусть ошибаются и спорят, пусть поправляют друг друга — авось все вместе додумаются до подлинно человеческого.

Ан нет! Я уже говорила, что почти одновременно с приливом начался и отлив. Стоит вспомнить обсуждение романа В. Дудинцева «Не хлебом единым». Недавно я перечитала этот роман: право же, в свете всего последующего это очень безобидное, почти трогательное своей верой в торжество справедливости произведение. Правда, за Дудинцевым остается подчеркнутый Паустовским приоритет выведения в советской литературе Дроздова как социального типа, как представителя той «элиты», которая управляла (и в немалой степени управляет) советским обществом. И еще один, весьма живучий и, боюсь, не бессмертный ли образ есть в этом произведении — Невраев. Основная же сюжетная канва и судьба главных героев — да ведь они вполне оптимистичны! Случайная судебная ошибка (да еще при наличии члена суда, записавшего «особое мнение»), полная безнаказанность верной Лопатину Нади и остальных его доброжелателей, почти фантастическое торжество хорошего над плохим... За что травили Дудинцева? Ведь это — жизнерадостная книга!

Однако Дроздовы верно учуяли ее опасность. Что нужды, что это была книга сторонника советского

стройка! Она была за Советскую власть и коммунистическую идеологию **без дроздовых, против дроздовых**, за подлинную социалистическую демократию — и уже этим была опасна.

Обсуждение этой книги происходило в два этапа. Первый — обсуждение в Доме литераторов летом 1956 года и единодушное одобрение книги всеми выступавшими. Я помню это обсуждение — сама там находилась. Напор желающих проникнуть в зал был так велик, что чуть ли не в течение часа в ЦДЛ не могли войти сам Дудинцев и тогдашний редактор «Нового мира» К. Симонов. Настроение присутствовавших было таково, что противники романа выступить не решались, хотя председательствовавший Всеволод Иванов время от времени брал слово и взывал: «Товарищи, мы знаем, что в зале находятся писатели, отрицательно относящиеся к роману Дудинцева. Мы просим их выступить, чтобы обсуждение было действительно обсуждением».

Напрасно! Эти герои сталинского образца (в зале присутствовали и Кочетов, и Софронов, и Грибачев) так и не выступили. И не потому, что никаких аргументов, кроме «тащить и не пущать», у них не было, а главным образом потому, что недавно происходил XX съезд. И сигнала отбоя — еще не прозвучало. Они еще боялись. Они еще не знали, как поведет себя начальство, что можно и чего — нельзя. Они не получили новейших директив о том, что считать партийным, а что антипартийным. Поэтому они повели дело тихой сапой, за кулисами. И добились своего. Через несколько месяцев, уже после венгерских событий, в печати начался сокрушительный разгром романа Дудинцева, обвиненного во всех смертных грехах. (Так же, тихой сапой, впоследствии подготавливался поход против Пастернака. Так же, некоторое время спустя, натравили Хрущева, ничего в искусстве не понимавшего, на так называемых «абстрактных» художников.)

Так все и шло в области культуры, вплоть до осени 1964 года, как на качелях — вправо-влево, влево-вправо. Вдруг вышел (правда, с купюрами) одно-томник Бабеля, вновь появился в печати Заболоцкий, некоторые ходившие в «самиздате» стихи напечатала «Юность». А с другой стороны, вдруг закрыли «Литературную Москву», запретили постановку напечатан-

ной «Новым миром» пьесы Назыма Хикмета «А был ли Иван Иванович?», продержавшейся в репертуаре Театра сатиры **один день**. На III съезде писателей Хрущев поносил Дудинцева и цитировал в качестве образца для советской поэзии совершенно беспомощные вирши друга своей юности. На том же съезде он обратился к помощи, как он выразился, писателей-«автоматчиков», и Анатолий Софронов, выходя из зала, удовлетворенно поглаживал брюхо. В «самиздате» открыто ходило стихотворение Б. Слуцкого «Лакирую действительность, исправляю стихи...», в конце которого поэт выражал неколебимую надежду: «Я еще без поправок эту книгу издам». Увы, без поправок он ее не издал, и это стихотворение так и не напечатали<sup>1</sup>. Из Союза писателей исключили было одного заведомого стукача<sup>2</sup>, погубившего не одного талантливого человека, но его вскоре восстановили во всех правах.

И все-таки все было необратимо. Во всех областях культуры, искусства, литературы шел неудержимый, неотвратимый процесс **самоосознания**: осознания народом своей истории, личностью — своих прав, искусством — своих гигантских необъятных возможностей. «Холст растрескивается с хрустом, — писал двадцать лет молчавший до этого Леонид Мартынов, — и смывается всякая плесень. Дело пахнет искусством: человечеству хочется песен».

Мало ли чего хочется человечеству! Плесень не хотела смываться, она хотела жить. Она понимала: дело не ограничится искусством. Да оно уже и не ограничивалось: заявляла о себе наука — биология, история, физика... Научно-техническая революция требовала создания коллективов талантливых ученых, и в эти коллективы приходила молодежь, интересы которой отнюдь не ограничивались математическими и физическими проблемами. Их волновали проблемы совести, нравственности, свободы. Молодые люди — студенты, аспиранты, старшекласники — заполняли зрительные залы молодых театров, ломались на вечера поэтов; появились «менестрели» — Булат Окуджава, Новелла Матвеева и — чур меня, чур! — Александр Галич. Было почти невозможно достать билеты на «Голого короля» в «Современнике», на «Доброго человека из Сезуана»

<sup>1</sup> Опубликовано после смерти Слуцкого.

<sup>2</sup> Критик и литературовед Я. Эльсберг.



в театре Юрия Любимова, на «Тень» и «Дракона» в Ленинградском Театре комедии и на «Горе от ума» в Ленинградском Большом драматическом. В Московском театре Ленинского комсомола бурные аплодисменты вызывал диалог Жанны д'Арк (в одноименной пьесе Б. Шоу) с Карлом VII, собственно, диалог двух теней, происходящих спустя десятилетия после казни героини:

«К а р л V I I (защищаясь). Но ведь тебя реабилитировали!

Ж а н н а. Да, но ведь меня сожгли».

Все всё понимали и все всё соотносили, и это был вовсе не эзопов язык, а естественно возникавшее историческое мышление, сами собой напрашивавшиеся исторические параллели. Ибо, разумеется, ни Бернард Шоу, ни Грибоедов, ни Бертольт Брехт, ни даже Евгений Шварц ни сном ни духом не имели в виду ни Сталина, ни его наследников.

Вот что пугало: проснувшееся историческое мышление! Наука в наш век, конечно, вот как нужна — предельно. Но как бы сделать так, чтобы ученые творчески, самостоятельно и свободно думали только одной частью своего мозга — именно той, которая решает их специфические научные задачи, и в остальном положились бы на политиков, идеологов и руководителей?

Так не бывает. Это роковая ошибка. Мысль, которой положен предел, которая связана с запретами, либо хиреет, либо рвет запреты. Мысль может ошибаться, но, чтобы найти верный путь, она должна иметь право блуждать. Ни наука, ни искусство не могут развиваться, руководствуясь лагерным принципом: «шаг вправо, шаг влево — считается побег». Не пора ли задуматься над предостережением академика А. Д. Сахарова об отставании нашей науки, содержащимся в его брошюре «О стране и мире»? Со многими положениями этой брошюры я категорически не согласна, но этот раздел я восприняла именно как предостережение компетентного и тревожащегося о судьбах нашей науки человека.

Вернемся в начало 60-х годов. Машина вертелась. Все так же все решалось небольшой кучкой людей. Вместо «Иосифа Виссарионовича» прав всегда оказывался «Никита Сергеевич», который, сделав наполовину дело двойного освобождения — людей из лаге-

рей и душ из плена «культа личности» Сталина, почти немедленно завел свой собственный культ. И когда ему приходили в голову или кто-то подсказывал ему либеральные решения — все их одобряли, но когда он решал сеять кукурузу за Полярным кругом или изгнать из живописи Фалька — все тоже одобряли. Уже и возразить-то было можно: никто не рисковал, как при Сталине, головой. Рисквали только портфелем, но и портфель терять не хотелось.

В общем, когда смотришь на этот период (между XX съездом партии и октябрьским Пленумом ЦК 1964 г.) из нынешнего далека, видишь, как непрочны, как иллюзорны «свободы», выдаваемые из рук по крошкам, как корм птицам. Как легко их отнять, если необходимость их осознает только микроскопически малая часть народа. Как легко их лишиться, если они не закреплены не только законодательством (законы, как известно, можно принять какие угодно), но и сознанием своих прав.

В принципе ничего не изменилось ни когда Хрущев разоблачил Сталина, ни когда в октябре 1964 года сняли Хрущева. Уже сам факт внезапной отставки (без всяких объяснений и доказательств, только с косвенными намеками) вчера еще непогрешимого главы партии, внесшего «крупнейший вклад в марксизм-ленинизм» и внезапно наглухо забытого, свидетельствовал, что ничего не изменилось: перед народом никто отчитываться не собирался.

Сейчас иные придерживаются такой — по-моему, снобистской — точки зрения: а надо ли народу, чтоб перед ним отчитывались, чтоб с ним советовались? Надо ли ему вообще что-нибудь, кроме «гроши да харчи хороши», да водка подешевле? И в доказательство приводят, что в самый разгар «оттепели», когда интеллигенция радовалась разоблачению Сталина, его защищали-де многие простые люди, мотивировавшие тем, что они сражались против фашистов под знаменем Сталина.

По-моему, это доказательство свидетельствует против тех, кто его приводит. Оно доказывает, что людям нужны не только водка да харчи, что народ не легко и не просто расстается с иллюзиями, что ему нужно время и возможность свободно мыслить и получать добросовестную информацию, чтобы осознать свои права и понять, кто и почему их у него отнял. Если бы

робкое начало демократизации, положенное Хрущевым, продолжалось, развивалось и укреплялось, мы имели бы такой же взлет народной инициативы, какой был в Чехословакии во время «Пражской весны», который мы задавили танками.

Но его-то и боялись. Хрущева, думается мне, сняли вовсе не за промахи и ошибки, в большом количестве сотворенные им в области хозяйственной и административной в последний период его деятельности. Сняли потому, что не могли предугадать, до чего дойдет он в своем «волюнтаризме» в области политической. А вдруг действительно провозгласит свободные выборы с несколькими кандидатами? А вдруг отменит цензуру? А вдруг ликвидирует в партийном аппарате отделы и должности, стоящие над хозяйственными и советскими органами, над общественными и профсоюзными организациями? Вдруг скажет: для поддержания порядка в стране достаточно суда и милиции, незачем заниматься этим КГБ?

Кажется, боялись этого напрасно. Хрущев, которому власть действительно вскружила голову, хотя и был, в отличие от многих своих соратников, человеком самобытным, не вовсе затертым штампами, не потерявшим человечность, все же был слишком ограниченным, слишком некультурным, слишком в сталинской школе воспитанным, чтобы так вот сломать все сталинские каноны. Но при нем, возможно, так далеко назад не пошли бы. А без него — пошли. Не сразу, не бегом, но довольно ходко.

## 2. ПОЛЗУЧАЯ РЕСТАЛИНИЗАЦИЯ

Ползучая ресталинизация — воскрешение имени Сталина и консолидация неосталинизма — проводилась не без тонкости: медленно, постепенно, сначала — подспудно, потом все смелее и смелее. А главное, все это проходило на фоне некоторых положительных явлений: исправлялись иные действительно вопиющие ошибки Хрущева — пал Лысенко, возродилась генетика, ликвидировалось разделение советских и партийных органов на городские и сельские, были приняты меры по подъему сельского хозяйства. Этим воспользовались неосталинисты, чтоб перечеркнуть всю деятельность Хрущева, и в первую очередь повернуть назад в освещении сталинского периода.

Не прошло и года с октябрьского Пленума 1964 года, как на инструктивных совещаниях, на собраниях докладчиков, на совещаниях редакторов стали раздаваться настойчивые директивы: прекратите писать об ошибках Сталина! Прекратите говорить о лагерях! Прекратите говорить о жертвах репрессий! Прекратите! Вы развращаете молодежь, вы прививаете цинизм, вы подрываете веру в партию.

Все происходило как раз наоборот. Цинизм прививался именно этим молниеносным конъюнктурным изменением тона пропаганды, вера в партию подрывалась не рассказом о страшных страницах ее истории, а насильственной попыткой заставить о них забыть.

Расскажу один эпизод, очень для тех лет характерный. В одной из московских школ в декабре 1966 года собрали ребят на вечер, посвященный 25-летию разгрома немцев под Москвой. Доклад делал полковник из Военно-политической академии. После доклада учительница, которая вела собрание, для проформы спросила, есть ли у кого-нибудь вопросы. И вдруг из задних рядов поднялась девочка-семиклассница с длинными косами и спросила:

— Товарищ полковник, а почему вы о Сталине говорите только одно хорошее и ничего плохого?

Не знаю, читал ли товарищ полковник сказку Андерсена о голом короле и помнил ли соответствующее замечание невинного ребенка, но педагогам, казалось бы, следовало эту сказку знать. Однако реакция их была вполне в духе последних директив: девочку затравили. Ее сняли с комсоргов класса, официально — за плохие отметки. Но так как отметки были не хуже, чем до этого происшествия, то в классе не было ни одного школьника, который не понимал бы, за что ее сняли. Четырнадцатилетнюю крамольницу без конца вызывали к завучу, в комитет комсомола и допрашивали: кто ее родители, нет ли у нее репрессированных родственников, что она читает и откуда у нее такие настроения? Родителям пришлось перевести ее в другую школу.

Сейчас этой девочке и ее бывшим одноклассникам 23—24 года. И когда я слышу филиппики стариков, обвиняющих нынешнюю молодежь в цинизме, равнодушии, усталости, отсутствии мировоззрения,— я всегда вспоминаю этот эпизод. Тем более что хорошо знаю — он не единственный.

Итак, 1965 годом можно датировать начало постепенного, медленного отвоевывания неосталинизмом одной идеологической позиции за другой. Редакторы, естественно, поступали согласно установкам. Из газет исчезли статьи о культе личности Сталина, появились статьи о волюнтаризме. Переверстывались журналы. Статьи о посмертно реабилитированных ученых, писателях, полководцах и старых большевиках стали кончаться невразумительными фразами вроде: «Смерть настигла его в расцвете сил» или «До последнего дыхания он был верен партии и народу». Где и когда настигла смерть, как испустил он свое последнее дыхание — об этом конфузливо умалчивалось. Из издательских планов спешно вычеркивались запланированные книги о сталинском проведении коллективизации, о тяжелейших ошибках в военной и дипломатической областях. Переделявались и вычеркивались целые куски в воспоминаниях маршалов и генералов. Переписывались — в третий раз! — учебники по истории партии. Издательства и редакции отказывались от принятых художественных произведений. Именно тогда были написаны, но остались не изданными в нашей стране разоблачавшие сталинизм романы А. Солженицына и А. Бека, повести Г. Владимова и Л. Чуковской (впрочем, повести Чуковской были написаны гораздо раньше), мемуары Евгении Гинзбург и многих других, ряд прекрасных стихотворений Анны Ахматовой, Ольги Берггольц, Бориса Слуцкого, Наума Коржавина. Так планомерно уничтожалась историческая память, искусственно глушились эмоции, у литературы отымалось ее естественное право переживать и осознавать народную трагедию. Литература при этом уродовалась, но это никого из тех, кто определял литературную политику, не волновало.

Я не очень соблюдаю здесь хронологию, пишу по памяти, но могу поручиться, что отбой протрубили именно в 1965 году. Никакой формальной реабилитации Сталина объявлено не было, но направление чувствовалось явственно, определенные интонации слышались в докладах, читались в газетах, отражались в кино- и фотохронике.

Сейчас, пожалуй, пора задать себе вопрос: чем определялось, чем вызывалось это наступление неосталинизма, этот окрик «Назад!»? Так ли уж была дорога деятелям второй половины 60-х годов память о тиране?

Вероятно, эту психологическую причину нельзя считать главной, хотя вовсе сбрасывать со счетов тоже нельзя: большинство деятелей той поры начинали свою карьеру в середине 30-х годов. Главное другое: иначе как сталинскими (вариантно: более или менее жестокими) методами они управлять не умели и демократического полководья, которое казалось им разрушительной стихией, боялись. Старое было привычным, удобным и, казалось, легко поддавалось управлению. Демократических традиций у них не было никаких: большинство из них вступило в партию тогда, когда со всеми дискуссиями и спорами в партии давно было покончено. Убеждать они не умели, умели только приказывать и объявлять, что можно и чего нельзя. Действовать же сталинскими методами, дав полную свободу критике этих методов, было невозможно. Но не более возможным казалось открыто объявить о своей приверженности сталинскому знамени. Отсюда — острая, медленная «ресталинизация».

Интеллигенция чувствовала носившуюся в воздухе опасность. И пожалуй, первым (или одним из первых) документом не литературного, а политического «самиздата» явилось письмо в ЦК группы выдающихся ученых, художников, писателей, режиссеров, предостерегавших руководство партии от реабилитации Сталина. Такие письма — ЦК КПСС, Л. И. Брежневу, XXIII съезду партии — писали тогда многие. Ответа никто не получил, даже академики, и это само по себе показательно. Впрочем, письма эти свою роль, возможно, сыграли. XXIII съезд, которого с надеждой ждали сталинисты и с тревогой — демократически мыслящая часть народа, Сталина не реабилитировал. Мавзолея жертвам Сталина, однако, не воздвигли.

Вспоминая этот период, нельзя не отдать должное тем первым просветителям, которые открывали народу глаза, беспощадно смывая лак с истории.

Еще до того, как затрубили «отбой», появился первый вариант капитального труда Роя Медведева «К суду истории». На дворе еще стояла «оттепель», автор еще надеялся свой труд напечатать — но очень скоро эти надежды рухнули. Впоследствии книга была издана за границей, но я и сейчас считаю, что главную свою роль она сыграла здесь. Это был один из первых весомых идейных ударов по сталинизму.

И рукопись книги Медведева, и названные и нена-

званные мною мемуары и художественные произведения нарасхват читались, обсуждались, перепечатывались (к сожалению, преимущественно в Москве и Ленинграде). Эти человеческие документы, эти **неизданные**<sup>1</sup> книги несли в себе огромный нравственный и интеллектуальный заряд. Их нельзя было просто прочитать, похвалить и отложить в сторону. Они предъявляли счет совести каждого читателя, они заставляли его думать над подлинной историей и судьбой родины, партии, своих друзей, своей собственной судьбой и деятельностью. Думать над тем, что же такое социализм. И что такое сталинизм. И что же дальше?

Иногда это были даже не рукописи, а книги, отдельные статьи: до «заморозков» они еще иногда проскакивали. Так, успела выйти в свет книга А. Некрича «22 июня 1941 года». И сама книга, и запись ее обсуждения в ИМЭЛ на какое-то время стали «бестселлерами». Перечитывая сейчас эту книгу, видишь, что автор ее, как и Дудинцев, никакой «крамолы» не писал: он лишь добросовестно подтверждал — историческими фактами и их анализом — то, что было констатировано на XX съезде партии и подтверждено еще не переработанными мемуарами полководцев. Факты свидетельствовали, что Сталин отнюдь не был военным гением и, обладая неограниченной властью, плохо подготовил страну к войне. На обсуждении в ИМЭЛ выступавшие подтвердили и дополнили книгу фактами, куда более вопиющими, чем те, которые в ней содержались.

После отбоя книгу и автора предали анафеме. Книгу изъяли из библиотек, директора издательства сняли с работы, автора и некоторых из одобрявших книгу на обсуждении исключили из партии, друзьям объявили выговора. В общем, как поется в известной песенке, «...Каждому умному по ярлыку...».

И умным кричат дураки: «Дураки!»  
А вот дураков — незаметно.

Дуракам снова везло, умным снова запрещалось думать. Но это уже в какой-то мере была попытка с негодными средствами. Все равно думали. Раздобы-

<sup>1</sup> Не изданные в нашей стране, но напечатанные за границей (частично), они сыграли свою историческую роль и сегодня стали доступны советским читателям. Книга Р. Б. Лерт входит в их число. — И. Э.

вали книги, изъятые при Сталине из употребления, набрасывались на годами лежавшие в чьих-то сундуках философские труды, слушали заграничное радио, читали книги, изданные на иностранных языках (число людей, знающих иностранные языки, увеличилось). Пересматривали историю. Судили — может быть, вкривь и вкось, но собственным умом — прошедшие годы и деятелей прошлого. Писали. Давали друг другу читать рукописи. Обсуждали.

Если бы все это получило широкое общественное выражение — в печати, по радио, в открытых дискуссиях, — насколько повысился бы политический, общественный, нравственный уровень не только узкого интеллигентского круга, но и широких слоев народа. И сколько нынешних противников социализма были бы страстными его сторонниками!

В 1965—1966 годах произошло событие, которого не было даже при Сталине. Двух писателей — Андрея Синявского и Юлия Даниэля — арестовали, посадили в тюрьму и судили за то, что они, под псевдонимами, издали на Западе свои романы и рассказы о сталинском периоде.

То есть не то чтобы при Сталине не арестовывали писателей. Сколько угодно — человек шестьсот. Но им инкриминировали не их произведения. И не то, что они издали на Западе. И судили их не за это. Их, впрочем, вообще не судили: их просто объявляли троцкистами, диверсантами, членами контрреволюционного подполья или шпионами (немецкими, польскими, японскими — какими угодно) — и либо расстреливали, либо гноили в лагерях. **Но за романы не судили.** Илья Эренбург в 20-х годах издал во Франции два своих романа, не пропущенных советскими издательствами, — «Рвач» и «Похождения Лазика Ройтшванца» (последний не издан у нас до сих пор). За эти романы его всячески поносила наша критика, называвшая их буржуазной клеветой, но к судебной ответственности никто Эренбурга не привлекал. Б. Пильняк в 20-х годах издал за границей роман «Красное дерево», тоже подвергшийся разносу критики, но никакому судебному или административному преследованию он не подвергся (арестовали его много позже, лет через десять, и объявили японским шпионом). Гнусное преследование Пастернака за издание в Италии «Доктора Живаго», происходившее уже в хрущевские времена, несмотря на



всю постыдность травли писателя, проводившейся под руководством Семичастного, к судебному делу все же не привело.

Беспрецедентное дело Синявского и Даниэля стало, пожалуй, первым значительным катализатором общественного мнения нашей интеллигенции. На защиту их впервые поднялись довольно широкие круги. Собственно, даже не столько на их защиту, сколько на защиту социалистической законности, о возрождении которой так недавно и так пылко говорилось. Указывали, что нет в кодексе статьи, запрещающей печатать свои произведения за границей. Говорили, что термин «клевета» неприменим к художественным произведениям. Требовали обсуждения романов Синявского и Даниэля не прокуратурой, а писательской общественностью. Когда же стало ясно, что судить все равно будут, стали требовать, чтобы процесс был открытым, с соблюдением всех норм законодательства, с допущением на процесс всех желающих, в том числе и иностранных корреспондентов.

Ничего этого не добились. Синявского и Даниэля судили и осудили: первого — на семь, второго — на пять лет лагерей. За романы и рассказы. Эти романы и рассказы не были литературными шедеврами. Исключительно талантливый литературовед и критик Андрей Синявский (псевдоним «Абрам Терц») отнюдь не был столь же талантливым романистом и новеллистом. Произведения его воспринимались по-разному: в одних отчетливо выражалась безвкусная смесь эротики с мистикой, в других — не очень умело, но искренне живописалась безысходность положения человека, над которым навис сталинский террор. Недостатками изобиловали и столь же искренние произведения Юлиа Даниэля («Николая Аржака»). Вероятно, эти недостатки и были причиной того, что до ареста авторов их произведения популярностью на Западе не пользовались. Популяризировала их трагическая судьба авторов, вместо добросовестной литературной критики получивших лагерные сроки.

Собственно, процесс Синявского — Даниэля можно считать началом диссидентского движения в стране. Причем то диссидентское движение, которое сейчас разделилось на множество разных линий, с разными программами, было поначалу хоть и совершенно неорганизованным, но, безусловно, единым по настроению.

Независимо от различных философских взглядов никто не выступал против социализма, против Советской власти, против правительства. Писали письма не за границу, а **этому правительству**. Требовали только одного: выполняйте свои собственные законы, свои собственные обещания, провозглашенные вами принципы! «Подписанты» (термин, именно тогда возникший) цитировали в своих письмах произведения Ленина, Советскую Конституцию, советский Уголовный кодекс, речи руководителей партии и правительства. Страшно написать, но, право же, если смотреть из сегодня, из 1976 года, все это напоминает, увы, то ли петиции рабочих, шедших 9 января 1905 года к царю, то ли письма тому же Николаю II от русских либералов после 9 января.

Как известно, царь ответил рабочим пулями, а либералам вовсе не ответил, потому что было уже не до них: началась революция.

В 60-х годах все выглядело несколько иначе. Пуль не было<sup>1</sup>, но не было и ответов — во всяком случае, от тех, кому адресовались письма. Практически же ответ «подписанты» все-таки получили: их стали исключать из партии, из творческих союзов, «прорабатывать» на собраниях, увольнять с работы. Всего их было, вероятно, не больше 1000—1500 человек во всей стране, однако радиус действия репрессивных мер был очень велик: в частности, в Москве они применялись почти в каждом научном институте, университете, в издательствах, в некоторых школах.

Вот тогда-то как следствие «мер», принятых нашими партийными, административными и судебными органами, зародилась и утвердилась в умах людей мысль: «Если это социализм, тогда я против него».

А дальше все шло по нарастающей линии. С обеих сторон повышались ставки. Власти, продолжая клясться социализмом и Лениным, ужесточали репрессии, ибо, воспитанные в сталинской школе, иначе и не умели встретить никакую оппозицию своим действиям. Молодежь, видя бесполезность писем и петиций, тоже обратилась к другим, впрочем, вполне мирным средствам. Студент А. Гинзбург с помощью нескольких товарищей собрал в книгу материалы процесса Синявского

---

<sup>1</sup> События в Новочеркасске и Тбилиси остались малоизвестными широкой публике.— И. Э.

и Даниэля (включив в нее и все печатавшиеся в советской прессе статьи и отчеты). Книга, посланная составителем Председателю Совета Министров СССР и руководителю КГБ, одновременно оказалась напечатанной на Западе. Последовал второй процесс — Гинзбурга, Галанскова, Добровольского и Лашковой, в ходе которого всякий непредубежденный наблюдатель мог убедиться в явной подстроенности обвинения и в провокаторской роли Добровольского. Гинзбурга и Галанскова осудили на немалые сроки (Галанскова в лагере судили вторично — и он умер в лагерной больнице).

Пятого декабря 1967 года новая группа молодежи устроила демонстрацию у памятника Пушкину с требованием соблюдать Советскую Конституцию и пересмотреть процесс Гинзбурга, Галанскова. Демонстрацию разогнали, участников ее — В. Буковского, Делоне и др. — арестовали, судили и разослали по лагерям; некоторых — в психиатрические больницы.

Если посмотреть трезвым здравым взглядом и подумать — за что? — всё кажется таким же нелепым, как проработка Дудинцева и Некрича. За что, в самом деле? Даже если бы они демонстрировали **против** Советской Конституции, их не за что было арестовывать, ибо эта Конституция сохраняет их право на демонстрацию. Но они требовали **не отмены ее, а ее соблюдения**. Они протестовали не против советского строя, а против конкретного судебного решения. Допустим, что в этом случае они были не правы (хотя они были правы!). Почему их арестовали, а не ответили им гласно и спокойно?

Не только потому, что не было аргументов; пуще всего, чтобы не было прецедентов. Этак каждый гражданин потребует у правительства доказательства справедливости того или иного мероприятия!

### 3. ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ НЕСОГЛАСИЕ АНТИСОВЕТСКИМ ДЕЙСТВИЕМ?

Антидемократичность и антисоциалистичность нашей системы управления выпуклее всего обнаруживается в этом запрете спорить с властью, в приравнении несогласия с каким-либо мероприятием правительства — к антигосударственному преступлению.

Никакие «советологи», никакие антикоммунисты не могут выдумать ничего более компрометирующего нас, чем тот несомненный, неопровержимый факт, что за последние сорок пять лет мы не можем назвать ни одного партийного съезда, ни одной конференции, ни одной сессии Верховного Совета, ни одного номера газеты или журнала, где хоть бы один советский человек — коммунист или беспартийный выступил с критикой кого-либо из находящихся на своем посту руководителей партии и правительства либо с критикой принятого ЦК или правительством постановления. Вот пример, который можно было бы назвать смешным, если бы он не был так трагичен: решение о разделении всех партийных и советских органов на городские и сельские Пленум ЦК по предложению Хрущева принял единогласно; немедленно после снятия Хрущева Пленум ЦК **в том же составе** единогласно его отменил. Тысячи, сотни тысяч, может быть и больше, людей считали это разделение нелепым и неправильным тогда, когда оно было принято. Где можно найти хоть какой-нибудь след их несогласия с решением партии и правительства?

Не будем говорить о том, что было при Сталине, после смерти которого немедленно пришлось отменить ряд законов и постановлений, принятых по его указанию, против коих при его жизни и пикнуть никто не смел. Но после смерти Сталина прошло уже больше двадцати лет. Все могли убедиться, что ни Сталин со своими безгласными помощниками, ни Хрущев со столь же до поры до времени безгласными сподвижниками не обладали волшебным рецептом принятия единственно правильных решений. Где гарантия, что этим рецептом обладает и кто-нибудь другой? Коллективное руководство, скажут мне. Но руководство коллективно тогда, когда разногласия в нем открыты, гласны, доступны обсуждению народа, который может положить свой голос на ту или иную чашу весов.

В номере «Правды» от 3 февраля 1976 года я прочла очерк Ю. Апенченко о делегате XXV съезда КПСС И. С. Павлове — председателе колхоза. Говоря об успехах возглавляемого Павловым колхоза, автор делает такое отступление:

*«В поездках по средней полосе России во Владимирской, Калининской, Горьковской, Смоленской областях не однажды задавал я председателям передовых*

*колхозов один вопрос. С какого, на их взгляд, времени обрели их колхозы особую силу и уверенность, резко подняли общий уровень производства? Хозяйства разные, а ответ один. Рубеж обозначен четко: 1965 год, мартовский Пленум ЦК. Нынешняя техническая оснащенность, поворот в отношении к земле, все возрастающий размах строительства — результат решений, принятых партией весной 1965-го и в последующие годы».*

Вполне возможно, что это так, что решения мартовского Пленума ЦК 1965 года действительно обозначали положительный поворот<sup>1</sup>. Но менястораживает это восторженное: «хозяйства разные, а ответ один». А когда он был не один? Поднимите подшивки газет хрущевского десятилетия, сталинского периода — разве не славословились каждое принятое насчет колхозов (и насчет всего иного) решение? Колхозы ведь существовали у нас до марта 1965 года тридцать пять лет — и множество решений насчет них принимали и Пленумы ЦК, и различные верховные органы и до марта 1965 года. И всегда наша пресса писала о них так же, как пишет сейчас. А потом, когда сменялось руководство, иные из них отбрасывались как неверные или вредные. И неужто ни один человек в стране не видел, что они неверные или вредные, когда выполняли их? А если видел, почему не поднимал против них голос?

Все потому же — потому, что такое выступление было бы расценено как антисоветское, антипартийное действие. Потому так и велики наши просчеты в сельском хозяйстве, что разрешается только одобрять, соглашаться и восхищаться.

В 1947 году в «Литературной газете» было напечатано стихотворение С. Маршака «Мысли вслух», в котором он, с уважением отзываясь о некоторых американских президентах — Вашингтоне, Линкольне, Франклин Рузвельте, намекнул, что не ко всем американским президентам он относится с таким почтением. Кончалось стихотворение так:

Я не желаю инцидентов  
И на уста кладу печать,  
На сто процентов президентов  
Я не обязан обожать.

---

<sup>1</sup> Сейчас, по прошествии шестнадцати лет после этого Пленума, видно, что поворот не был такой уж решительный: об этом говорит нынешнее положение сельского хозяйства. (Примечание 1981 года. — Р. Л.)

Все, включая и нашу цензуру, согласятся с этим, когда дело касается иностранных президентов. А вот когда дело касается наших... Беда в том, что в наши гражданские обязанности, в наши гражданские добродетели (не говорю уже о партийном долге) негласно — ни в Конституции, ни в Уставе партии это не записано — включается обязанность «обожать» все сто процентов наших руководителей (во всяком случае, пока они руководители), восхищаться ими и соглашаться со всем, что они говорят. Поэтому все призывы к критике и самокритике бесполезны: до тех пор пока не только делегат партийного съезда или депутат Верховного Совета, но и самый обыкновенный гражданин не имеет права, не смеет выйти на трибуну и сказать: «Я не согласен с Леонидом Ильичем Брежневым (или с Алексеем Николаевичем Косыгиным, или даже с Пленумом ЦК) по такому-то вопросу», до тех пор никакой действительной критики быть не может — и никакого действительного участия трудящихся в управлении государством тоже. А поверить в то, что в течение сорока пяти лет абсолютно все и по всем вопросам всегда были согласны, невозможно: это значило бы считать всех кретины. Еще более нелепо считать, что все несогласные в чем-либо с правительством — антисоциалисты, антикоммунисты и антисоветчики. А ведь именно на этом тезисе основано практическое отсутствие у нас возможности публично выразить свое несогласие. Впрочем, и с антисоциалистами надо спорить, а не сажать их в тюрьмы.

В те же 60-е годы произошел в Москве такой случай. Скромная учительница литературы одной из московских школ Валерия Г. подписала коллективное письмо, адресованное советским властям. Авторы письма просили пересмотреть приговор, вынесенный Гинзбургу и Галанскову, основываясь на нарушениях законности, допущенных в ходе процесса. Валерию Г., до этого считавшуюся одной из лучших учительниц литературы в Москве, уволили с работы. Однако, так как у нее не было никаких взысканий и замечаний, для увольнения потребовалось согласие и даже ходатайство профсоюзной организации. Созвали профсоюзное собрание — под руководством директора школы и инструктора райкома. Сохранилась запись выступлений на этом собрании, в свое время широко распространенная в «самиздате». Когда сейчас перечитываешь эти

листки, видишь, как далеко зашел к тому времени поворот от демократизации (точнее — «либерализации») к «закручиванию гаек» — не достигший еще, впрочем, кульминации. На собрании все же нашлись три-четыре человека, осмелившихся положительно характеризовать Валерию Г., отстаивающих ее право поступать так, как подсказывает ей совесть, говоривших о социалистической законности. Но большинство выступало вполне в духе сталинских времен: говорили о «пособничестве врагам», ставили Валерию Г. в вину «развращение школьников» стихами Ахматовой и Цветаевой, утверждали, что для советского педагога недопустимо сочувствие осужденным советским судом. Особенно характерным было выступление преподавателя математики Ножкиной — в отличие от многих других выступление предельно искреннее. Ножкина не возмущалась, она недоумевала. Она все допытывалась у Валерии Г., зачем та впуталась в эту историю, какое ей дело до подсудимых, с которыми она даже не знакома. Валерия Г. пыталась было объяснить своей коллеге, что ее волнует несправедливость и незаконность приговора, что она, Валерия Г., хочет, чтобы законность не страдала, чтобы советский суд всегда судил справедливо. Ножкина не понимала — они говорили на разных языках. «Как? — восклицала она. — К врагам справедливость?» — «Да, — отвечала Валерия Г., — всех надо судить справедливо, иначе и не поймешь, кто враг, а кто друг». — «Да вам-то какое дело? — упорствовала Ножкина. — На это существует власть, пусть она решает».

Этот педагог, воспитатель детей, сам воспитан десятилетиями бесправия, десятилетиями вынужденного и вошедшего в привычку нравственного абсентеизма, десятилетиями уверенности, что где-то там наверху за него решат все: и за кого ему голосовать, и кто враг, а кто друг, и что справедливо, а что нет, и что такое наука, а что — антинаука.

После разоблачения Сталина, воспитавшего этот тип граждан, у нашего общества был выбор: опираться на мыслящих людей или на повинующихся обожателей — на Твардовского и Валерию Г., или на Софронова и Ножкину. Хрущев колебался от Твардовского к Софронову и обратно. В послехрущевский период курс твердо поставили на Ножкину. «Новый мир» продолжал еще выходить под редакцией Твардовского, но каждая его книжка опаздывала на два месяца, ибо

цензура досматривала ее, как на таможне, ища «неконтролируемый подтекст».

Подтекст искали всюду — и находили его даже в пьесах А. Н. Островского и А. С. Грибоедова, снимавшихся инстанциями с репертуара. И он был, этот подтекст, его в изобилии поставляла действительность. Характерно, что когда Мейерхольд в 20-х годах поставил «Горе от ума» («Горе уму»), ни у кого из зрителей не возникло аллюзий с современностью. А в 60-х годах, когда Чацкий — Юрский произносил со сцены Ленинградского БДТ «К свободной мысли их вражда непримирима...» или «А судьи кто?», раздражались аплодисменты, свидетельствовавшие, что зрители прекрасно понимают актуальность текста. Ибо уже не единичными стали обыски, аресты, приговоры — и главным образом за попытки свободно мыслить. Не существовало никаких заговоров, никаких покушений, никакого насилия. Писали статьи, мемуары, социологические исследования — и так как печатать их было негде, давали читать друг другу. Вот за это и сажали. Появились и новые виды «крамолы»: кое-кто из евреев, отчаявшихся добиться прекращения антисемитизма, стал добиваться выезда в Израиль; крымские татары вполне легальными средствами боролись за право вернуться на родину, в Крым. Виктора Некрасова и Ивана Дзюбу исключили из партии за то, что они в Бабьем Яру произнесли речь об уничтоженных гитлеровцами в Киеве евреях.

Реакцией на все это со стороны диссидентов явился выход машинописных сборников «Хроника текущих событий», сообщавших о репрессиях.

И тут грянул второй катализатор — Чехословакия.

#### 4. 21 АВГУСТА 1968 ГОДА

21 августа 1968 года — вторжение советских войск или, говоря по-официальному, войск стран Варшавского Договора (хотя совершенно ясно, что мы могли бы обойтись и без них и вовлекли их в это дело по тем же причинам, по которым Сталин заставлял своих подручных подписывать вместе с ним списки расстрелянных), арест Дубчека — Черника и Смрковского и все за тем последовавшее было (вспомним Клаузевица) продолжением политики военными средствами. Проводя в Советском Союзе «ползучую ресталинизацию», нельзя



было без страха смотреть на «Пражскую весну», на социалистическую демократию, начавшуюся осуществляться в Чехословакии. Да, там получили право высказываться и противники социализма, но коммунисты их не боялись. Коммунистическая партия во главе с Дубчеком пользовалась поддержкой народа — рабочего класса, интеллигенции, крестьянства. Чехословацкие коммунисты раньше других поняли, что преследование инакомыслящих убивает не антикоммунистическую, а коммунистическую идеологию, что с идейными противниками надо идейными средствами и бороться, что репрессивными мерами можно заставить людей одинаково голосовать, но нельзя заставить их любить и верить. Можно помешать говорить, но нельзя помешать думать. Чехословацкая компартия во главе с Дубчеком добивалась подлинного единства духа, подлинной коммунистической идейной убежденности, которые вырабатываются только в результате свободной самостоятельной работы мысли, в свободном споре с противниками. Это и есть идеологическая борьба; то же, что называют ею наши официальные идеологи, есть карательная политика. И, как я надеюсь показать дальше, полицейские методы идеологической борьбы оттолкнули от марксизма-ленинизма большее количество людей, чем это могли бы сделать любые проповедники антисоциализма.

Чехословацкие коммунисты вели идейную — и только идейную! — борьбу со своими противниками, но к войне с таковыми армиями своих непрошенных защитников они не были готовы. И попытка создать в Чехословакии — стране с высококвалифицированным рабочим классом, с прочными демократическими традициями и традициями борьбы за национальную независимость, — **создать в ней социализм с человеческим лицом, социализм демократический в противовес сталинскому тоталитарному лжесоциализму**, эта попытка была растоптана советскими танками. Этого пятна нам не смыть.

Почему пошли на такой позор? Из одного лишь страха, как бы демократическая «чума» не перекинулась в другие социалистические страны Восточной Европы, а оттуда и к нам. В самом деле, почему же только чехам можно при коммунистическом правительстве говорить то, что они думают, и свободно критиковать и партию и правительство? Ведь того и гляди, что

этого захотят и поляки, и венгры, и болгары, и — русские, украинцы, латыши, казахи!

И — захотели! И вина только наших идеологических карательных органов в том, что многие люди, начавшие свою деятельность как сторонники подлинно социалистического общества, перешли впоследствии к отрицанию социализма как такового. Поверим Солженицыну, который сейчас в «Теленке»<sup>1</sup> похвально тем, что он-де всегда был антисоциалистом и лишь ловко обманул доверчивого Твардовского (хотя анализ его произведений заставляет сомневаться в полной правдивости и нынешних его заявлений). Но ни, скажем, Н. Коржавин или А. Галич, ни многие другие противниками социализма тогда не были. Они стали ими, когда в нашей практике, после кратковременной «оттепели», утвердился принцип репрессирования за мысли, когда рухнули надежды вести диалог разномыслящих иначе, как диалог следователя с подсудимым. Знак равенства между понятиями «социализм» и «полицейское государство» внедрили в сознание людей наши собственные юридические, политические, административные и идеологические органы. Какое трагическое совпадение взглядов преследуемых и преследующих: и те и другие твердят, что **это** и есть социализм!

Достоинно реагировал на эту попытку подменить понятия Павел Литвинов, когда вызвавший его для «усовершенствования» кагебист лицемерно воззвал к памяти деда П. Литвинова — большевика-ленинца, бывшего наркома иностранных дел СССР Максима Максимовича Литвинова.

— Я думаю, мой дед был бы доволен мною, — сдержанно ответил Павел Литвинов.

Полагаю, что он прав. Семь человек, вышедших в августе 1968 года на Лобное место (как символично!) Красной площади в Москве с написанными от руки лозунгами: «Руки прочь от Чехословакии!» и «За нашу и вашу свободу!», выступали не против социализма, а в защиту его. Павел Литвинов, Лариса Богораз, Константин Бабицкий, Вадим Делоне, Владимир Дремлюга, Владимир Файнберг и Наталья Горбаневская выступили как подлинные интернационалисты против великодержавного насилия над братским народом. И не случайно их не осмелились судить за то, что они

---

<sup>1</sup> Имеется в виду книга А. Солженицына «Бодался теленок с дубом».

сделали: их лицемерно судили и осудили за... нарушение общественного порядка.

Этот лицемерный приговор показывает, что уже существовало общественное мнение. Заявить, что эти семеро арестованы за протест против данной правительственной акции, не решились. Несмотря на запугивание советских людей призраком стоявших якобы на границах Чехословакии дивизий ФРГ, несмотря на потоки грязи, лившиеся со страниц наших газет на Дубчека, Смрковского, Кригеля и других деятелей «Пражской весны», слишком многие советские люди сочувствовали Чехословакии и осуждали оккупацию.

Начавшиеся было митинги и собрания с принятием резолюций, одобрявших акт «братской помощи», пришлось прекратить. На этих собраниях не обнаружилось ожидаемого единства: были и выступления против оккупации, и нежелательные голосования.

Процесс пятерых (Файнберга сразу поместили в психиатрическую больницу, Горбаневскую же, кормящую мать, временно оставили в покое — впоследствии она попала в ту же машину) не прибавил славы нашей юриспруденции, но лишь увеличил количество возмущенных и количество материалов «самиздата». Мыслящие люди, естественно, не могли довольствоваться информацией «Вечерней Москвы», изображавшей подсудимых подонками. В многочисленных экземплярах расходились по рукам речи подсудимых, несмотря на запреты судей, объяснявших цель и смысл демонстрации.

Их судили, осудили, разослали по лагерям и ссылкам. А пример их мужества остался.

Как и пример мужества П. Григоренко, В. Буковского, Л. Плюща, С. Глузмана, С. Ковалева, М. Жамилева и других, многие из которых продолжают томиться в заключении.

Особо следует остановиться на деле крымских татар и связанной с этим делом судьбой Григоренко, Костерина и других.

Петр Григоренко и Алексей Костерин — старые большевики. Григоренко — заслуженный генерал Советской Армии, после войны преподававший в военной академии. Костерин, участник гражданской войны, семнадцать лет провел в сталинских лагерях и ссылках и потому в Великой Отечественной войне участвовать не мог. За него воевала его дочь, добровольно пошед-

шая на фронт и героически погибшая. (Дневник Нины Костериной, опубликованный в свое время в «Новом мире», — один из сильнейших документов, свидетельствующих о нравственной силе и чистоте того поколения восемнадцатилетних, которые шли сражаться и погибали не просто против немцев за Россию, а против фашизма за социализм.)

Эти люди выступали — против социализма?

Обвинение это было бы смехотворное — и его даже не осмелились предъявить, Алексей Костерин вывел из затруднения своих преследователей: отправив после оккупации Чехословакии в ЦК КПСС свой партбилет члена партии с 1917 года, он вскоре после этого умер от инфаркта. А Петра Григоренко объявили сумасшедшим и **пять лет** продержали в психиатрической тюрьме.

За что?

За то, что он поддержал требование крымских татар: снять запрет на их возвращение в родной Крым.

И вот что характерно: врач-психиатр, допрашивавший Григоренко в Институте имени Сербского, все допытывалась: а вам-то, генералу, чего не хватало? вам-то какое дело? вам-то что до этих татар?

Точь-в-точь, как допрашивал завуч школы четырнадцатилетнюю девочку: у тебя нет в семье репрессированных? Так какое тебе дело? Ты — русская? Так что тебе до антисемитизма?

Точь-в-точь, как Ножкина не понимала Валерию Г.: вам-то что? вам-то какое дело до законности?

«Вам-то что?» — этот неофициальный, но постоянный припев всех современных стражей государственной безопасности, не только должностных, но и, так сказать, добровольных. Конечно, те, кто поумнее Ножкиной, вслух на собрании этого не скажут. Но в частных беседах эти люди, пишущие статьи о «чувстве хозяина» и выступающие с докладами о синхронном негодовании, внезапно охватывающем всех советских людей то по поводу Пастернака, то по поводу Сахарова, — в частных доверительных беседах эти «без лести преданные» бездонно удивляются по поводу того, что существуют, оказывается, в нашей стране люди, ставящие свой гражданский долг выше своего личного благополучия. Люди, которые не хотят передоверять властям решение всех вопросов, а хотят «все знать и на все идти сознательно» (кстати говоря, это слова Ленина). Благонамеренные защитники государствен-

ности иногда, вероятно, искренне считают этих людей сумасшедшими: ведь для них самих существует единственный стимул поведения — личная выгода. Не ясно ли, чье поведение и чьи взгляды ближе к критериям социалистической гражданственности?

## 5. УТЕЧКА МОЗГОВ И ТАЛАНТОВ

Существенно то, что самая структура нашей государственной и общественной жизни построена так, что она часто отталкивает, выталкивает из себя людей искренних, самоотверженных, бескорыстных, сплошь и рядом талантливых, а выдвигает беспринципных, послушных и жадных. Отсутствие гласности, отсутствие права на инакомыслие и возможности отстаивать свои убеждения, не платя за это лишением работы или свободы, приводит к понижению творческого и нравственного потенциала нашего общества. Я не назвала и сотой, даже, наверное, тысячной доли людей, осужденных в последнем десятилетии за вот это самое инакомыслие, — и среди этих людей множество талантов, ярких умов, людей большой совести и мужества. Но я не могу назвать ни одного случая исключения из партии за карьеризм, ни одного судебного процесса над бюрократом, ни одного гласного осуждения, скажем, антисемита. Так происходит чудовищный отбор: держиморды, о которых говорили в свое время Ленин и Луначарский, лицемерно прикрываясь коммунистической и социалистической фразеологией, пятнают идеал социализма, отвращая от него тех, кто мог бы его действительно созидать.

Держимордам не важно, что думает человек, важно, чтоб он говорил то, что велено, и вел себя смиренно. Вспоминаю, что в 1937 году, при первых выборах по сталинской Конституции, кабины для голосования были устроены так, что избиратель, получив бюллетень, обязательно проходил через кабину и бросал бы бюллетень в урну уже по ту сторону перегородки: следовательно, никто не мог проконтролировать, вычеркнул ли он кандидата.

Это было **единственный раз** и, видимо, дало нежелательные результаты. Со следующих выборов и по сей час кабины устроены так, что избиратель, желающий вычеркнуть кандидата, должен свернуть к стоящей сбоку кабине на глазах у тех, кто только что выдал ему

бюллетень. Это напоминает тех полицейских в «Драконе» Шварца, которые, переодеваясь в женское платье, чтобы подслушивать разговоры на рынке, нарочно оставляют на ногах полицейские сапоги: теперь они услышат только то, что будет приятно бургомистру.

\* \* \*

В первой половине описываемого двадцатилетия широко была распространена надежда возродить социализм, не ломая структуры нашего строя, а постепенно заменяя сгнившие части его аппарата другими. Надежда эта не умерла, но исполнение ее что-то все отодвигается и отодвигается. Тяготевшие к «Новому миру» и Твардовскому прогрессивные слои партии и интеллигенции (не только авторы, но и читатели) открыто добивались тогда демократизации нашей общественной жизни, свободы мысли и совести, поднятия интеллектуального и нравственного уровня людей, расширения ответственности власти перед народом — без эксцессов, без выплескивания вместе с грязью и кровью истинных завоеваний революции.

Добивались, но — не добились. Коренных изменений наверху не хотели, заменять сгнившие части аппарата никто не собирался. Кое-что подлатали, подремонтировали, подкрасили, сделали ход рычагов чуть мягче — и машина неосталинизма была пущена в ход. Вольномыслящих «реформаторов», пытавшихся самостоятельно продумывать исторический путь нашей страны и возникшие на этом пути проблемы, исключили из партии (Рой Медведев, А. Некрич, Л. Копелев и другие), кое-кого арестовали (члены марксистского кружка «Колокол» в Ленинграде). В письме Солженицына IV съезду писателей не было ничего антисоциалистического, ничего антисоветского, но именно с этого письма, не зачитанного на съезде, но поддержанного многими выдающимися советскими писателями, началась травля Солженицына, продолженная его исключением из Союза писателей и завершившаяся насильственной высылкой из страны. Ничего антисоветского не было и в брошюре А. Д. Сахарова «Размышления о мире, прогрессе и мирном сосуществовании», как и в его совместном с Р. Медведевым и В. Турчиным письме к руководителям партии и правительства. На эти содержавшие ряд доброжелательных предупреж-

дений документы просто никто ничего не ответил. «Новый мир» в течение ряда лет подвергался преследованиям как со стороны аппарата, так и со стороны реакционных журналов — «Октября», «Огонька», «Молодой гвардии», пока не был фактически ликвидирован разгоном редакции и вынужденным уходом Твардовского. Все вопросы снова стали решаться административным, насильственным путем — вплоть до заключения инакомыслящих в психиатрические больницы. К «искусствооведам в штатском», как называют у нас стукачей и провокаторов, прибавились «психиатры в штатском». Процедура упростилась: больного не судят, его показания не выслушивают...

Самоновейшим средством борьбы с инакомыслящими (точнее, как сказала в одной из своих статей Лидия Чуковская, с **мыслящими**) явилось выдворение из страны. Выдворение разными способами; насильственная высылка (Солженицын), лишение советского гражданства людей, посылаемых в командировки (В. Чалидзе, Ж. Медведев), предоставление виз тем, кто вынуждается к отъезду полной невозможностью работать в стране (Виктор Некрасов, Андрей Синявский, Александр Галич), недвусмысленное предложение уехать под угрозой ареста (И. Бродский, А. Якобсон, Павел Литвинов и другие). Независимо от взглядов этих людей — они различны, эти взгляды — выдворяются талантливые, независимо мыслящие люди, спор с которыми внутри страны, при предоставлении им свободы высказывания, несомненно, обогатил бы духовную культуру, нравственный и научный потенциал нашего общества. Способствовал бы он и развитию марксизма, развитию и обогащению коммунистической идеологии. Идеологическое убожество нашей пропаганды — результат многолетнего механического отсеечения противников. Для «борьбы» с противником, которому заткнут рот, не надо ни ума, ни эрудиции, ни искренности убеждений — достаточно минимума вызубренных и зачастую искаженных азов.

Среди диссидентов и недиссидентов немало людей принципиально не согласных со многими положениями, защищаемыми академиком А. Д. Сахаровым. Но простое нравственное чувство не позволяет им выступать с возражениями Сахарову в печати, которая не только

не дает ему, Сахарову, доступа на свои страницы, но и обливает его грязью. Еще больше несогласных с антидемократической и антисоциалистической проповедью А. И. Солженицына и его сторонников. Но мы, марксисты, хотим опровергать их силой собственных убеждений, а не силой аппарата КГБ. Пусть инакомыслящие получают право и возможность отстаивать свои взгляды — и тогда с противниками социализма будут спорить не жалкие пропагандисты, работающие пошпартгалке, а убежденные и способные самостоятельно мыслить сторонники социализма.

\* \* \*

Конечно, для самих высланных лучше жизнь в эмиграции, чем в тюрьме или психиатричке. Но для нашей страны, для ее науки и культуры инспирированная утечка мозгов представляет грозную опасность. А ведь они утекают, эти мозги, отторгаются от политической и культурной жизни страны — и не только путем высылки за границу. Не говорю уже о гуманитариях — писателях, историках, лингвистах, литературоведах, художниках, но кто подсчитал, сколько физиков, математиков, химиков, биологов (не просто дипломированных и «остепененных», а талантливых) заперты в местах заключения или ходят без работы! Один из последних примеров — доктор физико-математических наук Валентин Турчин, не прошедший по конкурсу в своем научно-исследовательском институте, где он заведовал лабораторией. Я читала его производственную характеристику — она свидетельствует, что речь идет о незаурядном ученом, уже обогатившим советскую физику. Но в последних трех строчках характеристики сказано, что Валентин Федорович Турчин позволил себе на собрании сотрудников института публично защищать академика А. Д. Сахарова от обвинений, которые в ту пору на Сахарова сыпались. Только эти три строчки и были зачитаны на заседании ученого совета института, и именно они решили судьбу Турчина.

А казалось бы, какое дело ученому совету института до того, что думает В. Ф. Турчин об А. Д. Сахарове? Вы вольны с ним не соглашаться, опровергать его мнение, но почему это должно ему мешать работать над проблемами машинного языка? Ну, лишили вы его заработка и любимой работы, но вы ведь и советскую физику лишили талантливого человека.



Нет, мы на это не смотрим, мы — щедрые. Мы вот и гениального Ростроповича уступили нью-йоркской филармонии только потому, что он дружил с Солженицыным. А какое, казалось бы, дело нам до того, кто с кем дружит? Нам бы музыку его слушать...

На заре Советской власти академик Павлов, расходившийся с большевиками и с Лениным по гораздо большему кругу вопросов, чем А. Д. Сахаров и В. Ф. Турчин, спокойно руководил своим институтом и читал лекции студентам. Тогда в стране действительно клокотала классовая борьба — и ничего, не боялись академика Павлова. Чего же сейчас боятся ученые советы?

Недавно я прочла в «Правде» о новом «положении», которым будет руководствоваться ВАК — Высшая аттестационная комиссия, присуждающая ученые степени. В сообщении сказано, что одним из условий присуждения ученой степени будут марксистско-ленинские взгляды претендента. Если исходить из этого, то И. Павлова следовало бы лишить ученого звания: уж он-то марксистом не был.

Это, конечно, шутка, но совсем не шуточно то, что такими вот постановлениями, и соответствующими пунктами в уставах творческих союзов, и соответствующей практикой поощряется и насаждается отвратительная торговля убеждениями. И безусловно, снижается научный, интеллектуальный и моральный уровень деятелей науки и искусства (о том, во что превращается в таких условиях партийный билет, я уже не говорю). Слава богу, у нас еще нет описанных Орвеллом механизмов, с помощью которых проверяется искренность убеждений. Зато у нас уже создан механизм, с помощью которого бездарному человеку, объявившему себя в карьеристских целях марксистом или коммунистом, отдается предпочтение перед талантливым, который, если совестлив, при таких обстоятельствах в партию не вступит, даже считая себя марксистом и коммунистом. А если он себя ни марксистом, ни коммунистом не считает, зато умен и талантлив?

Описанный выше механизм продвижения и выдвигения плюс система репрессий плюс тщательно разработанная шкала привилегий сделали свое дело. Я не берусь судить о научных достижениях, но что понизился средний уровень литературы, это мне, читателю, видно невооруженным взглядом. Взлет кривой в этой сфере был слишком кратким, отнятие дарованных сверху

некоторых свобод — слишком стремительным. Вероятно, поэтому так быстро отблестали и отгорели иные из огней, вспыхнувшие было в нашей поэзии в период «оттепели». Нельзя сказать, чтобы среди выступивших тогда мальчиков и девочек не было подлинных, порою даже незаурядных талантов. Но, купаясь в атмосфере, как им казалось, всеобщей раскованности, они как-то слишком быстро изнежились, избаловались. «Пылкие мальчики» не сумели стать «мужами с честью и умом». И как только подморозило, одни увяли, другие переqualificировались на «одические рати», третьи погрузились в усовершенствованную версификацию. Я предъявляю претензии только вторым, продавшим свой поэтический дар и гражданскую совесть за чечевичную похлебку конформизма. Что касается остальных, то ведь кто знает, что лежит в их ящиках? Поэты сейчас, кроме всех прочих делений, делятся на тех, кто оставит и кто не оставит после своей смерти литературное наследство.

Некоторые критики выражают опасения по поводу «фетизации» (т. е. значительного влияния интимной лирической поэзии А. Фета) поэзии, отсутствия в ней мужественной гражданской струи. Но ведь как понимать гражданственность? Никто не уговаривал Павла Когана или Николая Майорова писать гражданскую лирику — они писали потому, что не могли не писать. Из поэтов 50-х годов я считаю самым гражданственным Наума Коржавина, но он смог издать у нас в период политической весны только один тоненький сборник, а остальные, написанные за пятнадцать лет, стихи увез с собой за границу — и кому они там нужны? Зато никто не мешал и ныне не мешает печататься Феликсу Чуеву и С. В. Смирнову, которые и посейчас «сверяют чувства» по Сталину. А поэтам, которых обуревают противоположные гражданские чувства, говорят: «Вам-то что?» И они кладут гражданские стихи в стол, а печатают любовную лирику — хорошо, если хорошую. Так что и «фетизация» есть какой-то, пусть косвенный, протест против сталинизма. Конечно, есть у нас и прекрасные, талантливые поэты, которых я очень люблю, но именно поэтому, шадя их, здесь не назову. Их мало, и им нелегко лавировать между Сциллой совести и Харибдой цензуры.

Проза пошла каким-то обходным путем. Здесь, как и в поэзии, появились свои любители чечевичной пох-

лебки, приплывшие от «Тишины» к «Берегу»... Однако литература все-таки существует, не может она ограничиваться макулатурными творениями И. Стаднюка, В. Кожевникова, Мих. Алексеева. Живут и пишут — тоже между Сциллой и Харибдой — многие талантливые писатели, помня о правиле: «шаг вправо, шаг влево — считается побег». Но большая часть журналов вновь стала заполняться серятиной, бездарью, конъюнктурщиной, среди которых, однако, нет-нет да блеснет подлинный талант — Шукшин, например. Появился «Наш современник» — явление новое, неоднозначное, в какой-то степени ставшее знамением времени. Здесь нет возможности глубоко анализировать литературную продукцию этого журнала, но нельзя не заметить, что за последние годы наиболее талантливые произведения печатаются именно в этом журнале, что сейчас он, пожалуй, единственный из журналов, имеющий «лица необщее выражение»<sup>1</sup>. Что это за выражение и что за лицо — другой вопрос, и почему именно ему дана некоторая, хоть чутошная свобода — и над этим стоит подумать. Но что верно, то верно — здесь есть жизнь и есть литература, хотя этот «деревенский» и «неорусистский» журнал — явление, конечно, куда более узкое и менее значительное и в общекультурном, и в литературном, и в политическом смысле, чем старый «Новый мир».

Без преувеличения можно сказать, что ныне убитый «Новый мир» Твардовского был школой мышления для нескольких поколений. И не только потому, что на страницах этого журнала печатались лучшие произведения нашей художественной прозы, после которой, как справедливо заметил однажды Твардовский, нельзя уже писать по-старому (добавим от себя: нельзя уже и читать некоторые «довоенные» произведения). Не менее, если не более, значили для читателя публицистика и критика «Нового мира». Свидетельствую, что, получая долгожданную серо-голубую книжку, читатель прежде всего раскрывал ее на этих разделах. И не за сенсацией мы гонялись, не за остроумной только полемикой. Тут было то, чего мы ни до, ни после ни в одном журнале не находили: свежесть суждений, научная добросовестность, критическая смелость и честность, а

---

<sup>1</sup> Читателю, вероятно, любопытно будет вспомнить, как начинал «Наш современник».

главное — простор для самостоятельного суждения читателя. Можно было и не соглашаться, но нельзя было не размышлять. Читатель ощущал себя не объектом «воспитания», а мыслящей личностью.

Сейчас «Нового мира» нет, но потребности, созданные им, остались. Это тоже, вероятно, одно из необратимых последствий этой эпохи. Хотя годы идут, растут новые поколения, у которых этих потребностей, может, и нет...

Говоря о «Новом мире», нельзя не упомянуть о Солженицыне. Сейчас, когда Твардовского давно нет в живых, нет и созданного им журнала, а открытый Твардовским Солженицын выслан за границу и стал там знаменем воинствующего антисоциализма, многие «кочетовцы» и другие неосталинисты потирают руки и восклицают: «Вот, мы всегда говорили, что он — враг и контрреволюционер. А ваш Твардовский не видел...»

Что понимают держиморды в социализме и литературе?

Твардовский увидел в Солженицыне необычайный, ни в какие рамки не укладывающийся талант. И, будучи подлинным коммунистом и демократом, не собирался он загонять этот талант в прокрустово ложе догматов. Разумеется, возобладай в нашей литературной и иной действительности Твардовский и такие, как Твардовский, Солженицын бы и Ленинскую премию за «Ивана Денисовича» получил, и его «Раковый корпус», «Круг первый», «Август четырнадцатого», напечатанные на родине, получили бы квалифицированную добросовестную критику и большой круг читателей. И кто знает, стал бы Солженицын таким, какой он сейчас? И почему никто не хочет задуматься над тем, как же это случилось, что большой писатель, родившийся после революции, стал ее врагом? Чем это определяется?

Для Солженицына, конечно, трагично, что он лишен родины. Но меня сейчас как-то мало волнует его личная трагедия. В тысячу раз более трагично для нашей родины, что ее искусством, литературой, культурой распоряжаются люди, так безумно разбазаривающие таланты, готовые срезать голову, если в ней содержатся нумерованные мысли, вместо того, чтобы с этой головой вступать в спор. (Здесь невольно вспоминаешь Ножкину. «Как, спорить с врагом?» Да, спорить. И побеждать в **споре** — если умеешь.)

И ведь произведения не одного только Солженицына издаются за рубежом, а не у нас дома. Советская литература, советский читатель лишились многих, нисколько не антисоветских, а просто честных, правдивых, талантливых книг. За границей, а не у нас изданы «Реквием» Анны Ахматовой, «Новое назначение» А. Бека, вторая книга романа Василия Гроссмана «За правое дело» («Жизнь и судьба». — И. Э.), рукопись которой КГБ изъял у автора, «Верный Руслан» Г. Владимова, «Записки зеваки» В. Некрасова, стихи Н. Коржавина, А. Галича, повести В. Корнилова и В. Войновича, рассказы В. Шаламова<sup>1</sup>. Среди названных писателей есть и те, кто умер, не дождавшись опубликования своих произведений (Александр Бек, Василий Гроссман), есть уехавшие за границу, есть и члены Союза писателей (к счастью, писателей больше не судят за публикацию за границей: опыт с Синявским и Даниэлем оказался неудачным). Конечно, они предпочли бы публиковаться на родине, но не от них это зависит. И непонятно, зачем нужно засыпать пеплом огонь советской литературы и украшать эмигрантскую, отдавая ей прекрасные книги, созданные в нашей стране. То, что «Посевом» издан «Карантин» В. Максимова — книжка злобная и посредственная, по «творческому методу» близкая романам Кочетова и Шевцова, меня не трогает, пусть себе. Как не трогает и печатание «Континентом» опусов Марамзина. Но читать главы из великолепного романа Василия Гроссмана на страницах «Континента», а не «Нового мира» — обидно. Как и «Верный Руслан» — в издании «Посева», а не «Советского писателя».

Да и кто это может прочесть? Писателей понять можно: лучше издание за границей, чем никакого издания — хоть потомки прочтут. Но нам-то, советским гражданам, легче ли от того, что лучшие наши книги могут читать все, кроме нас?

## 6. О ГЛАСНОСТИ И СОВЕТСКОЙ ДЕМОКРАТИИ

Вернемся от литературы к питающей ее жизни. Прошло двадцать лет — что изменилось в нашей жизни?

---

<sup>1</sup> Большинство из перечисленных произведений сегодня изданы на родине.

Вероятно, изменилось немало — в области экономики, материальном уровне, в структуре материальных потребностей народа. Но я — не экономист, не берусь анализировать эту сторону нашей жизни. Меня интересует развитие общественного сознания, общественной активности, духовного самосознания, взаимоотношения различных групп внутри нашего общества — и то, какое выражение находят все эти явления. То есть меня интересует, развивалось ли и в какую сторону в нашей стране за эти двадцать лет то, что у нас принято называть социалистической демократией (и что лучше бы назвать демократическим социализмом).

Честно говоря, я не вижу никакого движения в этой области, кроме движения вспять (от решений XX и XXII съездов). Внутрипартийная критика, которая тогда взлетела до осуждения некоторых решений ЦК (правда, прошлого), вновь опустилась до уровня в лучшем случае начальника цеха. «Культ личности» — тут и комментариев никаких не надо, достаточно читать газеты. Привилегии, об отмене которых говорилось в тот период, не отменены: налицо все тот же вопиющий разрыв между верхней и нижней зарплатой, те же пайки с пониженными ценами на высокосортные продукты и товары, та же особая торговая сеть и особая сеть санаториев, домов отдыха, дач. Не изменилась и практика выборов в Советы: по-прежнему мы механически опускаем в урну бюллетень с единственным кандидатом, о котором большинство избирателей ничего не знает, кроме кратких биографических сведений, почерпнутых из листков, расклеенных на столбах. Не изменилось положение крымских татар и евреев: антисемитизм, в частности, лишь закаменел, загрубел, стал более откровенным. По-прежнему инакомыслящее меньшинство не имеет никакой возможности открыто высказать свои взгляды и предложения, и если арестов за самое последнее время и стало, возможно, несколько меньше<sup>1</sup>, то об амнистии политических заключенных, отсидживающих свои сроки за **мысли**, власти по-прежнему не хотят и слышать. Хрущев в 60-х годах разругал картины и скульптуры, которые он не понял; Ягодкин в 70-х пустил по ним бульдозер.

Но самое главное, пожалуй, то, что рядовой совет-

---

<sup>1</sup> Устарело: их опять стало больше. (Примечание автора 1981 года.)

ский гражданин — рабочий, колхозник, интеллигент, служащий — не получает и десятой доли той информации, которую он, как сознательный гражданин, должен получать, и не имеет возможности высказать свое мнение о тех или иных аспектах государственной политики (организованное обожание не в счет).

Приведу пример:

Известно, что в 1975 году — завершающем году девятой пятилетки — наше сельское хозяйство получило всего лишь 140 миллионов тонн хлеба вместо намеченных по плану 215 миллионов тонн. Такой недобор зерна (кроме всего прочего, отражающийся и на животноводстве) вынудил наше правительство затратить валюту на закупку зерна за границей — и не только в этом году: заключен договор с США о покупке у них хлеба в течение пяти лет.

Не будучи (как и большинство населения нашей страны) ни экономистом, ни сельскохозяйственным ученым, я верю, что причиной неурожая были особенные погодные условия, так сказать, стихийное бедствие. Но ведь мы сталкиваемся с этой проблемой не впервые: происходило это и в 60-х годах, и совсем недавно, в 1972-м. Думается, что при современном уровне науки и техники существуют меры, которые можно предпринять, чтобы наше сельское хозяйство встречало засуху во всеоружии. И может быть, следовало бы разобраться, только ли в засухе дело?

Во всяком случае, это проблема, кровно касающаяся всего народа, и перед народом следовало бы отчитаться.

В конце 1975 года собралась сессия Верховного Совета СССР. И правительству, и всем местным работникам, и населению неурожайных районов положение уже было ясно. Но правительство не доложило сессии Верховного Совета о создавшейся ситуации. В докладе не были названы цифры, не было сообщено о закупке зерна за границей. И ни один депутат, представитель народа, не сделал соответствующий запрос в высшем советском органе. Ни слова об этом ни напечатали в то время газеты. Только спустя месяц с лишним цифра 140 миллионов тонн зерна появилась в опубликованном в газетах отчете ЦСУ — без всяких комментариев и без напоминания плановой цифры (215 млн. т.). Иностранные радиостанции сообщили цифру 140 миллионов тонн месяца за полтора до этого.

Почему советские граждане должны узнавать о недороде в своей стране от иностранных радиостанций а не от собственных источников информации?

Стихия стихией, но когда правительство чувствует себя ответственным перед народом, оно обязано доложить депутатам этого народа, какие меры приняты для борьбы со стихией и для восполнения недостатка продовольствия. А депутаты Верховного Совета должны, обсудив этот доклад, подвергнуть, если есть за что, правительство критике, предложить дополнительные меры и, вернувшись на места, доложить своим избирателям. И все это полагается напечатать в газетах — и граждане, в свою очередь, должны иметь полную возможность подвергнуть критике и правительство, и местные власти. Тогда, может быть, скорей найдутся средства, чтобы исправить те недочеты и пороки, которые разоряжают нас в борьбе со стихиями.

Откуда такая секретность, такое недоверие к разуму, к здравому смыслу нашего народа, которому все взахлеб клянутся в любви и уважении? От кого секреты? Весь мир знает и обсуждает наши валютные закупки хлеба за границей, а наш народ не знает. Почему? А может быть, вообще не вредно бы напечатать отчеты о внешней торговле: ведь **там-то** знают, что мы у них покупаем, значит, это не государственная тайна.

Вот то-то и оно, что у нас больше секретов от собственного народа, чем от американских бизнесменов.

К числу секретов относится и статистика некоторых отрицательных социальных явлений — пьянства, хулиганства, взяточничества, воровства. Что эти явления у нас существуют — этого никто не отрицает, и время от времени в газетах появляются призывы с ними бороться. Но динамика этих явлений в ее абстрактном выражении — секрет за семью печатями, с ней, вероятно, знакомы только угрозыск и Главспирт. Как же с этим бороться — неуловимым и неопределимым? В бытовой плоти каждый наблюдает это ежедневно: и забегаловки, и группы в подворотнях «на троих», и шатающиеся шестнадцатилетние мальчики, и «дать на лапу», и «черный рынок» ворованного дефицита, и квартиры за взятки, и пластик, перекочевывающий с государственных строек в ремонтируемые частные квартиры, и так далее, и тому подобное — несть числа. Но как со всем этим бороться, если критике поставлен невидимый барьер служебным положением критикуемого?



Нельзя сказать, что в наших газетах так уж мало корреспонденций, фельетонов об «использовании служебного положения» (что часто является псевдонимом прямого расхищения государственной собственности), о превышении власти, о всяческих служебных махинациях. Но если проанализировать появляющиеся затем заметки «По следам наших материалов», то можно заметить, что, чем выше ранг героя фельетона, тем легче он отделяется: в суд материалы в таких случаях не передаются, дело ограничивается выговором или строгим выговором (в худшем случае — снятием с работы; нередко с переводом на другую руководящую работу). Что касается совсем высоких лиц, то о них и таких материалов не печатается. Правда, говорят, что эпопея бывшего Первого секретаря ЦК Грузии Мжаванадзе и его супруги освещалась в грузинской печати, но я грузинского языка не знаю, а в русских газетах ничего об этом не было. Во всяком случае, персональный пенсионер Мжаванадзе со своей супругой, успешно подвизавшейся на почве спекуляции и контрабанды, живет у нас в Москве в предоставленной ему квартире, из партии не исключен, и суду ни он, ни его супруга не преданы. Говорят и о других случаях разложения высокопоставленных лиц, но что тут правда, а что сплетни, в условиях отсутствия гласности судить нельзя.

Между тем невозможно эффективно бороться с пьянством, расхитительством, взяточничеством, коррупцией в нижних звеньях, выводя из-под удара зараженных этими пороками представителей верхних слоев. Пусть таких даже немного, но в руках разложившихся представителей «элиты» и власть на местах, и тесная спайка, и они своих помощников в обиду не дадут. Невозможно и потому, что они создают определенный моральный климат в подведомственных им звеньях, выживая оттуда честных людей; и потому, что, нарушая законы и одновременно произнося речи о «социалистической законности», они растлевают людей, прививая им цинизм.

Конечно, попытки бороться с коррупцией у нас есть. Коррупция опасна любому правительству — нельзя полагаться на людей продажных. Но демократическая гласность представляется, видимо, более опасной, чем даже коррупция. Поэтому борьба с явлениями разложения в аппарате ведется преимущественно «закрытым

способом», тайно, негласно. Однако нет ничего тайного, что в конце концов не становилось бы явным, тем более что правящий слой имеет большую сферу окружения и обслуживания, через которую просачиваются «великосветские» тайны. За свои привилегии «элита» расплачивается потерей авторитета.

Разумеется, коррупция не является отличительным признаком нашего общества, она весьма характерна для капиталистического строя, ее полным-полно в государствах буржуазной демократии. Но в свете современных споров о демократии и диктатуре я хочу обратить внимание на одну особенность политической демократии, которую буржуазия в свое время завоевала, обратила себе на пользу и которую (особенность!) не грех позаимствовать государству трудящихся. Я говорю о **гласности**. Понимаю я, что «жить в обществе и быть свободным от общества нельзя». Знаю о зависимости буржуазной прессы и буржуазных органов информации от своих капиталистических хозяев. Понимаю, что они (органы информации) стоят на страже своего капиталистического строя. Но, видимо, поэтому они, заботясь об усовершенствовании и упрочении жизнеспособности этого строя, подвергают гласной критике пороки отдельных его деятелей и учреждений. И политические партии буржуазии (всех руководителей которых нельзя подряд считать глупыми политиками), видимо, учли, что, при всех издержках и неудобствах, гласность является более действенным средством контроля, чем одна только бюрократическая ревизия сверху. Напомню, что Никсона и его заместителя Агню разоблачила не коммунистическая, не левая, а самая обычная буржуазная печать. То же относится и к разоблачению ЦРУ, компании «Локхид» и т. д.

Очень может быть, что отдельным группам буржуазии, как утверждала одно время наша печать, зачем-то понадобилось свергнуть Никсона. Но, чтобы достичь этого, они разоблачили действительные преступления своего президента и подлинные пороки своего государственного аппарата. Это, как теперь всем ясно, не ослабило, а упрочило систему, и это, как тоже всем ясно, было бы невозможно без политической оппозиции внутри класса буржуазии. Если бы вся американская печать принадлежала группе капиталистов, поддерживающих Никсона, никакого Уотергейтского дела не было бы. Значит, возможна борьба отдельных групп

буржуазии, не затрагивающая основ капиталистического строя, а, наоборот, усиливающая его?

Почему же в государстве трудящихся невозможна политическая оппозиция, не затрагивающая основ социалистического строя, но не подчиненная правящей партии, гласно критикующая ее и тем упрочняющая основы социалистического строя?

Не только допустимо, но и необходимо. Об этом сразу после XX съезда сказал еще Пальмиро Тольятти, указавший на то, что оппозиция нужна правящей партии, как воздух.

## 7. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПОБЕДА СТАЛИНИЗМА И ЕГО МОРАЛЬНАЯ ИНФЛЯЦИЯ

Каков же итог этого двадцатилетия в области идеологической, внутривластной, духовной?

Если сказать кратко, итог этот таков: **административная победа неосталинизма при явственных признаках его морального поражения.** Не вынеся никакого об этом постановления, Сталина практически реабилитировали, его преступления предали забвению, его методы снова взяли на вооружение — в меньших, правда, масштабах и в менее жестоких формах. По сути дела, реабилитирована и сталинская человеконенавистническая «теоретическая» концепция: ожесточение классовой борьбы по мере успехов строительства социализма. Об этом тоже вслух не говорится, но вся **практика** построена на этом; иначе зачем же сажать инакомыслящих в тюрьмы, вместо того чтобы дискутировать с ними?

Об административной победе сталинизма ярче всего свидетельствует сравнение двух фактов: в 1956 году Хрущев спорил со сторонниками многопартийности; в 1975 году сторонника многопартийности Б. Винокурова посадили в психиатричку.

В чем же проступают признаки морального поражения сталинизма, инфляции его «ценностей»? Необратимые изменения в душах? Неумирающая потребность в мыслях? Осознание ценностей демократических прав? Насколько все это глубоко, насколько распространено, какое влияние имеет на реальную общественную жизнь в Советском Союзе? А если не имеет, то каково же значение этих моральных факторов?

Кто может ответить на эти вопросы в наших условиях? Нет статистики, нет социологических исследований (во всяком случае, таких, результаты которых публикуются), нет опросов общественного мнения. И все-таки есть основания думать, что, несмотря на понижение общественной активности, порожденное опасностью и невысокой результативностью протестов, в умах и душах людей развивается глубинный процесс переоценки ценностей. Далеко не для всех развенчан миф о Сталине, но моральный износ культа личности вождей — налицо, и уже одно это — необратимый результат истекшего двадцатилетия. Столько раз на протяжении этого двадцатилетия «на слуху» одного поколения менялись официальные оценки, что им уже нет веры. Поэтому нынешние «внес вклад» и «лично товарищ такой-то...» уже не убеждают, не волнуют, не воспринимаются эмоционально, они играют чисто звуковую, символическую, упреждающую роль: не переходят мостовой в неположенном месте. Большинство и не переходит, но своего иронического отношения к символу почти не скрывает.

Необратимо и наличие того, что называется **общественным мнением**. Это очень серьезный фактор, который нельзя сбрасывать со счетов. Конечно, нет такой страны и такой общественной системы, где общественное мнение было бы единым для всех групп и классов населения, для всех общественных слоев. Конечно, когда некоторые из делегатов, выступавших на XXV съезде, презрительно говорили, что ничтожная группка диссидентов не отражает ничьих настроений, они ошибались. Даже без статистики и без опросов общественного мнения можно отметить некоторые новые явления в духовной, нравственной жизни общества.

Я прекрасно помню 1937-й и последующие годы, когда каждый исключенный из партии, каждая семья арестованного попадали в вакуум. От них отказывались, как от зачумленных. От них отрекались жены, дети, друзья. Соседи кричали им: «Враги народа!» Были исключения (сама знаю такие), но — немного. Тут действовал, конечно, страх, но не только страх. Общественное мнение под влиянием лживой пропаганды, которой верили, совпадало с официальным. Подавляющее большинство советских людей верило самым чудовищным обвинениям — не только тогда, когда они были адресованы Троцкому, Бухарину и прочим высо-

ко и далеко стоявшим людям, но и тогда, когда клеймили тех, с кем рядом работали, жили.

Ничего подобного сейчас нет. Разумеется, и теперь кое-кто перестает звонить по телефону исключенному из партии или приходить в гости к жене арестованного диссидента. Но это уже только из страха, причем не из страха попасть в лагерь или потерять жизнь — всего лишь из шкурного страха потерять престижное положение, доверие власть имущих. Разумеется, такой мотив не может иметь моральной силы — и обычно такие люди, сохраняя портфель, теряют уважение многих своих знакомых. В вакуум диссиденты уже не попадают. И не только потому, что у них есть активные единомышленники. Сотни, тысячи самых обыкновенных «образованцев», боящихся пикнуть, нигде и ни против ничего не возражающих, в глубине души **не верят** газетной клевете на диссидентов. И жены от них, диссидентов, не уходят, а мужественно борются за их спасение, и друзья от них не отрекаются, и дети не стыдятся отцов, а гордятся ими.

Это чего-то стоит, и это когда-нибудь скажется.

Еще глубиннее процесс выработки мировоззрения, процесс осознания многими рядовыми людьми — интеллигентами, рабочими, колхозниками — необходимости демократических свобод для решения неотложных социальных и хозяйственных задач, просто для хорошего выполнения любимой работы. Это сложный и медленный процесс. Далеко не сразу люди понимают связь между своими повседневными нуждами и той демократизацией, которой добиваются диссиденты, — свободой слова, печати, совести, прекращением преследования инакомыслящих, амнистией политическим заключенным. Однако это процесс идет — и мне думается, что он развивается вовсе не так, как этого хотели бы сторонники старой России. Не так уж много у нас людей, ищущих спасения в религии, и уж вовсе нет вздыхающих о монархии. Тех, кто с завистью взирает на развитие стран капитализма, больше, но это в основном люди, отчетливо осознающие технологические и бытовые преимущества жизни в этих странах, однако вовсе не стремящиеся заимствовать их социальный строй. Никаких серьезных социальных групп, могущих стремиться к реставрации капитализма, у нас нет. Люди стремятся к тому, чтобы социализм был действительно социализмом, чтобы не было у нас привилегированных каст, что-

бы в промышленности, сельском хозяйстве, сфере услуг, торговле, медицинских учреждениях и пр. нашей страны работа шла не хуже, а лучше, чем при капиталистическом хозяйствовании. И стремятся к свободному удовлетворению своих духовных запросов — без указки и понукания. И все больше людей понимает, что все это возможно только **при условии демократизации.**

Что касается марксистско-ленинской идеологии, которая, по утверждению нашей официальной пропаганды, переживает в СССР расцвет, а по мнению Солженицына и других, необратимый кризис, приходится заметить, что нет ни того, ни другого, ибо практически открытое развитие марксистской мысли в нашей стране так же невозможно, как и всякой другой мысли. Кризис идеологии мы переживаем, а кризисом марксизма его могут назвать лишь люди, верящие, что современная официальная пропаганда есть развитие идей Маркса и Ленина. На деле вот уже почти пятьдесят лет, как эти идеи кромсаются, уродуются, подгоняются к очередным поворотам нашей догматической политики. В результате в учебниках, в программах, в популярной литературе осталась догматическая шелуха, которую с отвращением жует вот уже несколько поколений студентов. Эта серая «теория» не имеет ничего общего ни с марксизмом, ни с «вечнозеленым деревом жизни». Над такими книгами не думают, их заучивают и по ним сдают экзамены, сразу после экзаменов выбрасывая заученное из головы.

Это — типично сталинский метод вбивания в голову упрощенного, сокращенного и искаженного «нужного» мировоззрения.

В свое время он действовал. Сталин оперировал не только репрессиями, но и мифами. Множество людей с благоговением читали «Вопросы ленинизма» и «Краткий курс» — с таким же благоговением, как сейчас в Китае читают цитатники Мао. Но эти двадцать лет не прошли даром. Очередной вариант «Краткого курса», многократно препарированный, читают уже без всякого благоговения, а со скукой. И потому, что уровень читателей выше, и потому, что уже трижды на их глазах переделывались трактовки, формулировки и фактическая оснастка учебника, — и что тут правда, а что на потребу текущего момента, уже не разберешь. Да никому и не нужно, чтобы разбирались, нужно, чтобы правильно отвечали. Отвечают так, как требуется, но

никакого влияния на выработку мировоззрения такое преподавание истории и философии, естественно, оказать не может.

Есть ли это идейное поражение марксизма? Нет, это идейное поражение сталинизма, его концепций, его трактовки Маркса и Ленина, его «педагогики» и «дидактики». Подлинной истории возникновения, жизни и уничтожения ленинской партии, как и подлинной материалистической философии молодежь не знает, а изготовленную поспеловыми, митиными и юдиными фальсификацию она отвергла. К сожалению, иные из отвергнувших сталинскую философию истории поверили своим учителям в одном — что преподаваемое ими и есть марксизм.

Идейное поражение сталинизма заключается в том, что рухнуло доверие к его системе выработки мировоззрения. Когда-то, в 20-х годах, мы, совсем юные, становились марксистами, читая не только то, что писали Маркс и Ленин, но и то, что писали авторы, с которыми они полемизировали. Мы читали Фейербаха и Прудона, Штирнера и Кропоткина, Ницше и Владимира Соловьева, Михайловского и Богданова. Позже с этим было покончено. Студентам предлагалось читать только учебник, в котором в лучшем случае пять строк отводилось какому-нибудь противнику марксизма. Мировоззрение выдавалось готовым, его выводы следовало усвоить на веру. Даже сейчас в Ленинской библиотеке нельзя получить свободной выдачи, скажем, сочинений Ф. Ницше. Недавно я разговорилась с пятидесятилетним человеком, окончившим философский факультет. Зашла речь о Солженицыне и о его «вехистской» концепции истории России. Я спросила своего собеседника читал ли он «Вехи». «Что вы! — ответил он. — Мы читали только несколько строк Ленина, посвященных «Вехам».

Может ли быть стойким и прочным мировоззрение, боящееся противников? И можно ли быть уверенным в искренности полученного таким образом мировоззрения, если учесть к тому же, что его, как мы помним, полагается предъявить для получения кандидатской степени?

Отсутствие возможности свободно выработать мировоззрение приводит часть молодежи к отказу выработки мировоззрения вообще. Это тоже симптом мораль-

ного поражения сталинизма — и одновременно самое опасное, пожалуй, его последствие. Отвергнув сталинизированный «марксизм», часть молодежи берет на вооружение доморощенную и нехитрую философию нашего отечественного «гедонизма»: прожить свой век по возможности повеселее и поудобнее, работать поменьше, наслаждаться побольше. Есть юнцы, которые так далеко не заходят, но от всяких проблем отстраняются: «им-то что за дело!» Те же, кому есть дело, кто задумывается над проблемами вечными и повседневными и не находит ответов в стерилизованных учебниках, нередко вообще остаются в одиночестве. Ни в каких клубах творческой и научной интеллигенции, ни на каких собраниях, ни на каких молодежных дискуссиях никакого откровенного диалога, спора между, скажем, философски разно мыслящими людьми у нас нет и не может быть — причем заметим: настоящий марксист так же не может откровенно высказаться, как, допустим, верующий или агностик. По той же причине нет у нас и серьезной современной марксистской философской литературы, которая трактовала бы настоящие вопросы бытия, морали, духовной жизни личности и общества без догматической пошлости, с той раскованностью мысли и формы, которые необходимы современному читателю. То есть, возможно, такие книги и пишутся, но не издаются. Несомненный (хотя и значительно преувеличиваемый Максимовым и Солженицыным) успех разнообразных религиозных учений в среде современной советской интеллигенции, на мой взгляд, прежде всего определяется тем, что эти учения — так или иначе, верно или неверно — на эти духовные запросы отвечают. А наши философы — нет.

Свобода мысли в нашей стране — в том числе и для противников марксизма — необходима прежде всего марксизму, ибо без нее никакого развития марксистской мысли быть не может, как не может быть построен реальный социализм без реальных демократических свобод, в том числе и для меньшинства инакомыслящих. И мне кажется, что главная задача — непрерывно увеличивать в нашей стране количество людей, понимающих это. Право же, это важнее, чем что о нас думают американские сенаторы.

Конечно, от понимания до действия — большое расстояние. Но ведь о каких действиях идет речь? Все



группы и течения инакомыслящих не приемлют насильственного решения проблемы, не замышляют ни заговоров, ни переворотов. Следовательно, их задача — и тех, кто является сторонниками социализма, и тех, кто рекомендуется противниками его — настойчиво добиваться все более массового открытого требования реальных демократических свобод. Для того чтобы более или менее широкие массы людей решились на такое открытое требование, нужно, чтобы они прежде всего понимали, зачем такие свободы нужны, и понимали, что у нас их нет. Вот этого понимания и следует добиваться.

И конечно, необходимо преодолеть инерцию страха у рядовых людей, имеющую, нужно признать, реальные основания. Менее понятна эта инерция у нашей научной и художественной элиты, больше всех нуждающейся в творческой свободе и меньше всех рискующих, добиваясь ее. Мне думается, что здесь дело не только в страхе. Множество академиков не подписало письмо, осуждающее А. Д. Сахарова, — и это, конечно, хорошо. Но не сделать чего-нибудь легче, чем совершить противоположное. То, что ни один из академиков, крупных художников, писателей, режиссеров не поддержал требования А. Д. Сахарова об амнистии политическим заключенным и прекращении преследования инакомыслящих, свидетельствует о том, как велика в этой среде не только инерция страха, но и инерция директивного мышления. Естественно, что многие из коллег Сахарова не согласны — как и автор данной статьи — с рядом его утверждений и взглядов. Но, чтобы поддержать требования политической амнистии, вовсе не обязательно соглашаться, скажем, с оценкой Сахаровым политики разрядки или роли США во Вьетнаме. Однако, десятилетиями приученные к «монолитности» как к некоему идеалу, люди заранее отказываются от самостоятельного анализа противоположных взглядов, закаменевая на формуле: «Кто не с нами, тот против нас».

Я думаю, что право на свободу мысли нужно завоевывать явочным порядком. И начинать с избавления от «внутреннего редактора».

*Февраль-март 1976 г.*

## ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ТРУД»

Читать напечатанный в вашей газете 28 октября 1975 года «политический фельетон» «Хроника велико-светской жизни» стыдно и страшно.

Стыдно — за автора и редактора. Страшно — за общество, которое ограничивается такой прессой.

Вы напечатали это грязное произведение с целью вызвать у читателей отвращенье к академику Сахарову. У каждого чистоплотного человека оно вызывает отвращенье к вашей газете и к тем, кто вдохновил вас на эту акцию.

Я не собираюсь здесь заниматься анализом взглядов и убеждений Андрея Дмитриевича Сахарова. Будучи несогласной со многими его высказываниями, я могла бы полемизировать с ним в том случае, если бы он имел возможность отвечать на эту полемику в своей стране. Ему заткнут рот — и поэтому полемизировать с ним я не буду. Но то, что напечатано в вашей газете, — не полемика. И никакая не «идеологическая борьба». Это просто ушат грязи, обдуманно вылитый на голову чистого, честного и гуманного человека, который «поднял голову от научных расчетов, огляделся и усмотрел общую неустроенность дел человеческих».

Вот за это вы и ненавидите его и поливаете грязью. Сидел бы за своими научными расчетами и не нарушал бы монополию: говорить о «неустроенности дел человеческих» положено только вам — и только то, что приказано.

Я не знаю, кто такие Караванский и Паулайтис. Но я знаю, кто такие Леонид Плющ, Владимир Буковский, Андрей Твердохлебов, Петр Григоренко, Семен Глузман и многие-многие другие, в защиту которых поднял свой мужественный голос академик Сахаров. Это люди, томящиеся в тюрьмах, лагерях и психиатрических больницах, которых стремятся довести до смерти или до действительного психического заболевания только за то, что они требуют, чтобы декларируемые нами демократические свободы реально осуществлялись в нашей стране.

Это на руках талантливых Леонида Плюща или Андрея Твердохлебова — кровь советских людей? Или на руках математика Револьта Пименова? Или, может быть, на руках заслуженного генерала Советской Армии

коммуниста Петра Григоренко, пять лет отсидевшего в психиатрической тюрьме? Может быть, на руках одного из честнейших и талантливейших писателей наших — Виктора Некрасова, воевавшего в окопах Сталинграда и написавшего об этом одну из лучших книг советской литературы? Сейчас автор выдворен за границу, а его книги потихоньку изымаются из библиотек. Может быть, кровь советских людей — на руках Валентина Морозова, который хотел сохранить сокровища украинской культуры от безграмотных русификаторов и жадных расхитителей? Нет, это его кровь — на руках тех тюремных начальников, что посадили в его в камеру уголовников, снабженных ножами.

Есть большая группа преступников, на руках которых кровь советских людей. О них вы молчите. Это — работники карательных органов, деятели светлой памяти 1937—1949—1953 годов. Некоторые из них продолжают свою деятельность, но большинство уgomонились: одни умерли в своих постелях или в привилегированных больницах, оплаканные семьями и парторганизациями, другие, обеспеченные высокими пенсиями, вкушают «заслуженный отдых». Та кровь, которую они пролили в следственных кабинетах Лубянки, Бутырок и других тюрем, на Колыме, в Воркуте, в Караганде, — это кровь вас не беспокоит?

Их наследники действуют сейчас — малой кровью и большим беззаконием, об их жертвах и печется Сахаров. И этого вы не можете ему простить, ибо печетесь не о жертвах, а о палачах.

Вы осмеливаетесь упрекать Сахарова в том, что, будучи 1921 года рождения, не принимал участия в войне, а «продолжал спокойно получать образование». Да где была бы сейчас наша страна, если бы в мясорубку войны были брошены все ученые (как преступно поступили со многими добровольно пошедшими в Московское ополчение 1941 года научными работниками) и вся студенческая молодежь? Миллионы воевали, но миллионы делали свое дело в тылу. И вы осмеливаетесь упрекать в этом как раз того юношу, который за свои крупнейшие научные заслуги стал академиком, трижды Героем Социалистического Труда! Много ли вы сможете назвать людей, так оплативших полученное ими образование?

«По склонностям своим (?) он не торопился разделить героическую судьбу своего поколения».

По склонностям? А вот в «Книжке партийного активиста» (Справочник на 1976 год. М.: Издательство политической литературы) я читаю биографии членов и кандидатов Политбюро ЦК КПСС. Это — высший штаб нашей страны. Двадцать два человека. Почти все — участники Великой Отечественной войны; большинство значительно превосходит А. Д. Сахарова по возрасту. Однако среди этих двадцати двух я насчитала четырех человек сахаровского поколения, которые на фронте не были и в войне не участвовали. Одному из них в 1941 году исполнилось 23 года, другому — 24, двум — по 27 лет. Возраст, как видим, самый цветущий, призывной. Все они, конечно, в годы войны работали или учились. Как ни относиться персонально к каждому из них, чье-либо утверждение, будто эти люди **«по склонностям своим не торопились** разделить героическую судьбу своего поколения», справедливо рассматривалось бы как бессовестная клевета.

А в отношении Андрея Дмитриевича Сахарова бессовестная клевета, значит, допустима? И ненаказуема?

У вас поворачивается язык упрекать в продажности человека, который всю свою Ленинскую премию (сто тысяч рублей) отдал на строительство Онкологического центра в Москве. Человека, о котором вы прекрасно знаете, что, будь он столь же послушен и конформен, как те семьдесят два, что его осудили, — он имел бы все, чего пожелает, и в любых количествах.

У вас хватает наглости, пользуясь скромностью ученого, вполне в духе политической порнографии острить над его снизившейся научной производительностью, о чем он заявил сам. Но, во-первых, в тех условиях, в которых живет Сахаров, любое продолжение научной деятельности есть подвиг. Во-вторых, если бы Сахаров ничего больше в жизни не сделал, он все равно остался бы великим ученым. В-третьих, если вас так беспокоит недостаточная научная производительность иных ученых, почему бы не вспомнить о тех академиках, которые **никогда ничего** в науке не сделали: ни до, ни после того, как стали академиками? Академика Митина, например. Или академика Ильичева. Или некоторых других, из числа, скажем, подписавших «Заявление 72-х».

Вы инкриминируете академику Сахарову беседу с заезжим американским сенатором и миллионером Бакли. Сколько мне помнится, Бакли приезжал в Советский Союз в составе делегации сенаторов, приглашен-

ных нашим правительством. Если он «даже по американским критериям пресловутый реакционер», зачем было звать его в гости? А почему бы Сахарову гнушаться беседовать с миллионерами, если таких бесед не гнушаются наши руководители? Разве Никсон не был пресловутым реакционером? А президент Форд разве американский коммунист? И не боятся ли члены нашего правительства, что после дружеских бесед с Нельсоном Рокфеллером они будут приняты в клуб миллионеров?

То, что написано в статье о жене академика Сахарова, читать вообще невозможно. Так ругались когда-то на одесском базаре торговли; с тех пор, как я слышала, уровень их морали и культуры повысился. Не имея склонности к жанру великосветской хроники и не испытывая любопытства к интимной жизни знаменитых людей, я вообще не понимаю, какое отношение к политическому и человеческому облику Андрея Дмитриевича Сахарова имеет операция глаукомы, сделанная его жене? Повторяю, я не любитель жанра великосветской хроники, но, если уж вводить в советских газетах этот ранее отсутствовавший в них жанр, я бы с большим интересом прочла о времяпрепровождении мадам Мжаванадзе, чьи торговые операции имели прямое отношение к политическому и человеческому облику ее супруга.

Антисемитская концовка статьи вполне соответствует общему моральному уровню произведения.

Кончаю тем же, чем начала: стыдно. Мне — стыдно вдвойне: я — член того же Союза советских журналистов и той же партии, что и редактор «Труда».

*Р. Лерт,  
член КПСС с 1926 г.*

2 ноября 1976 г.

## **ЭТИКА И ИСТОРИЯ В РОМАНЕ «АВГУСТ ЧЕТЫРНАДЦАТОГО»**

Писать об этой книге трудно вдвойне.

Критиковать произведение крупнейшего таланта вообще трудно. Большой художник, даже ошибаясь, подчас успешно опрокидывает самые логичные и точные критические построения. Но когда речь идет о Солженицыне, к трудностям, так сказать, профессионального

порядка добавляются соображения нравственные. Допустимо ли, честно ли критиковать то, что запрещено хвалить? Можно ли предъявлять претензии автору, которому заткнут рот? Не подкинешь ли тем самым хворост в костер, на котором его морально поджаривают?

По всему этому я и положила в ящик письменного стола статью, написанную мной еще год назад, почти сразу после двукратного внимательного прочтения романа. Разумеется, я поступила бы иначе, если бы другой была судьба писателя, если бы «Август» и уж конечно «Раковый корпус» и «В круге первом» издали бы в нашей стране — и можно было бы спорить о них с автором и друг с другом.

Почему же сейчас я отказываюсь от своего вынужденного молчания? Ведь в судьбе писателя ничего не изменилось: его по-прежнему не печатают, его так же травят, на него так же клеветают. В связи с «Августом» клевета стала еще более разнузданной: от дурно пахнущих сплетен «Штерн» — «Литературной газеты» до напечатанных в «Труде» и «Литературной России» фантастических измышлений не менее фантастического Ежи Романовского о «германофильстве» Солженицына.

Я отказываюсь от своего молчания потому, что прочла рукописный сборник статей — «Август четырнадцатого» читают на родине». Сопоставив улюлюкающий тон нашей прессы с почти религиозным преклонением большинства авторов этого сборника, я подумала, что читателям может пригодиться моя попытка добросовестной критики. Может быть, она в какой-то мере пригодится и писателю. Не потому, чтобы я рассчитывала влиять на крупнейший талант нашей литературы, а потому, что даже гению нужна обратная связь — не только с единомышленниками. Антисолженицынская кампания, травля, клевета и преследования лишают нас, читателей, прекрасных книг и возможности размышлять над ними. А писателя они лишают возможности доброжелательно общаться с читателями и размышлять над их читательской реакцией. По вине Союза писателей, нашей печати и органов власти Солженицын практически изолирован в своей стране от нормальной читательской реакции, от добросовестной литературной критики. Остаются — либо злобная клевета, либо нерас-

суждающее преклонение. Организм у Солженицына закаленный, дарование его мощно — однако не думаю, чтоб эти попеременные ванны из кипятка и льда были полезны таланту любого масштаба.

Разумеется, я понимаю, что моя статья не может заполнить искусственно создаваемого вокруг творчества Солженицына литературного вакуума. Тем более что это статья не профессионального критика, а просто думающего читателя. Читателя, страстно любящего литературу, глубоко благодарного Солженицыну за «Ивана Денисовича», «Раковый корпус» и «Круг первый» — и искренне огорчившегося после прочтения «Августа»:

\* \* \*

Вчитываться в роман трудно. Страницы «Корпуса» и «Круга» буквально рвешь из рук, в них погружаешься, как в реку, и вот она уже несет тебя, трудно остановиться, и заставляешь себя остановиться, потому что (как при чтении Достоевского) внезапная глубина или внезапное тончайшее проникновение непостижимы с одного разу — и надо перечитывать. В отличие от этого «Август» и в первом и во втором прочтении читается трудно, в негоходишь нехотя, спотыкаясь, продираясь сквозь запруды нарочито медленного, дотошно детализированного, едва-едва текущего разворота событий, обстоятельного описания приказов, дислокаций, поворотов движения. Это — не недостаток (как легкость восприятия — не всегда достоинство), это — прием, метод. В сочетании с особым авторским языком (оговорюсь, что язык я специально анализировать не буду) он создает ощущение необычайной **архаичности** романа. Будто написано книга не нашим современником, а современником Мельникова-Печерского, будто это не взгляд **на прошлое**, а взгляд из прошлого. Такое читательское ощущение создается, несмотря на подчеркнутую «современность» отдельных локальных приемов (монтаж газетных цитат, «экранный», подлинные документы), несмотря даже на органичную, без всяких кавычек, современность построения основного текста, представляющего собой в значительной степени внутренний монолог, «поток сознания» героев. (Попутно скажу, что прежде всего с помощью внутреннего монолога Солженицын в своем искусстве краткой и выразительной характеристики в «Августе», пожалуй, превзошел само-

го себя. Например, фельдфебель Чернега, или медсестра Таня, или Саня Лаженицын, которым отпущено не так уж много страниц (а Тане, может быть, и всего-то две-три), до того зримы, объемны, до того живые — со своей душой, индивидуальностью, историей, и все это не столько через диалог или авторскую характеристику, сколько через неуловимый, скользкий, спрессованный «внутренний монолог».)

И несмотря на все это, роман сознательно, **нарочно** архаичен. И замедленность темпов (как будто в едва ползущей киноленте), и тяжеловесность конструкции фразы, и древнеславянский — где подлинный, а где и примышленный — оттенок лексики, все это вполне функционально, все служит не только и не столько воссозданию «аромата эпохи», сколько освещению ее с мировоззренческих позиций автора. И язык романа — нравится он или не нравится, но поставленной цели этот плотный, своеобразный, трудный и красочный язык служит вполне. Причудливое сочетание в стилистике романа архаической лексики с современным построением позволяет отстранить и подчеркнуть главную философскую идею романа — идею нравственной реанимации духовных ценностей старой России. Архаизм стиля соответствует архаизму мышления.

Я постараюсь в дальнейшем доказать это, анализируя образы героев романа. Сейчас мне нужно понять, откуда проистекает этот архаизм мышления. Ведь сама по себе историческая тема его вовсе не предполагает (не буду приводить примеры — они слишком известны).

Мне думается (оговорюсь: это — мой домысел), что трагическая типичность биографии автора, горчайший опыт его познания современности, та жестокость, бездуховность и античеловечность, которые ему пришлось и наблюдать и испытать, привели его к поискам этой духовности и человечности в прошлом. К идеализации этого прошлого и — соответственно — к полемическому вызову всей разоблачительной струе классической русской литературы.

Эта мировоззренческая установка не сказалась бы так отрицательно на художественных достоинствах романа, если бы Солженицын-художник дал себе волю и не подчинился столь безоговорочно Солженицыну-идеологу, заранее запрограммировавшему роман.

Все, что написано писателем до «Августа четырнадцатого» (все, что известно мне), за исключением,



пожалуй, пьесы «Свеча на ветру», этой запрограммированности начисто лишено. Произведения его потрясают именно непредвзятостью, органичностью, зримостью — до боли! — наблюденного, пережитого и пережитого автором. Мысль его работает как бы синхронно с чувством. Кажется, все его и миллионов других людей страдания и унижения он ощущает собственным телом и сердцем вот сейчас, сию минуту, когда пишется им эти строки. Поэтому так рвет сердце, так не дает покоя сознанию та безоглядная смелость, с которой Солженицын ставит перед нами самые глубокие, самые мучительные нравственные и исторические вопросы. Требуем ли мы, читатели, от «Корпуса» или «Круга» математически выверенных ответов? Конечно, нет: разве литература — таблица умножения? Ответов мы ищем сами — и названные книги Солженицына, как ничьи другие из современных авторов, заставляют работать мысль и сердце — негодовать, страдать и думать.

«Август четырнадцатого» — совсем другое дело. Автор за нас все уже продумал. «Проклятых вопросов» нет — есть готовые ответы. Поиски их происходили где-то «за кадром» — и похоже, не философская концепция автора сложилась в результате исследования исторической действительности, а отбирал он в этой действительности (а подчас и придумывал) только то, что вмещалось в заранее построенную им схему. Поставив перед собой гигантскую, действительно достойную гения задачу — найти корни современной трагедии в истории России, он выбрал не лучший путь простого оттачивания от схемы, принятой в учебниках. Отсюда полемически звучащие характеристики многих героев, характеристики, которые можно приближенно определить как «противоположное общее место»: принятые в официальной концепции плюсы и минусы просто поменялись местами. Тщательно высветленный, почти в эпических, житийных тонах написанный генерал Самсонов, густо-густо зачерненный «революционер» Ленартович, голубка по кротости и львица по мужеству Ирина Томчак, руководствующаяся суворинским «Новым временем», — это ведь все штампы «наоборот». Негатив выбелен, позитив зачернен — только и всего, операция, в общем, несложная. Но все они, назависимо от того, как написаны (Самсонов — блестяще, с глубоким проникновением, Ленартович — карикатурно-натуралистически, Ирина — благостно, «постным маслом»), вы-

падают из своих реальных биографий, из исторического контекста, из естественной разноголосицы времени, все они послушно выполняют задание автора — иллюстрировать тот или иной идеологический тезис. И эта навязчивая запрограммированность снижает художественную значимость романа, делает психологически неточными, недостоверными поведение, мысли, поступки ряда героев.

Так возникает на страницах романа художественно беспомощный образ Ленартовича. Нельзя даже сказать, что это — памфлет, гротеск, пасквиль (как, скажем, Петр Верховенский в «Бесах»). Нет, просто этот добросовестно написанный молодой негодяй не имеет никакого отношения ни к сочиненной ему биографии, ни к исторической обстановке, в которой ему приходится действовать.

К августу 1914 года полностью не сложилась еще и концепция «пораженчества», которое, кстати сказать, ничего общего не имело с трусостью. Позиция Ленина, Либкнехта и других социалистов, оставшихся верными своим убеждениям, несмотря на охвативший их страны шовинистический угар, вовсе не заключалась в капитуляции перед противником. Как ни относиться к этой позиции, но при добросовестном анализе ее нельзя не признать, что вожди ее не учили ни дрожать, ни бежать, ни «окапываться в тылу», а призывали брать оружие и учиться владеть им, чтобы впоследствии обернуть его против своих угнетателей. Это было и труднее и опаснее, чем голосовать за военные кредиты и писать патристические статьи.

Во многом обвиняли русских революционеров, но самые злейшие враги не отказывали им в мужестве. Ленартович же, символизирующий в романе революционную идеологию, рекомендованный автором как революционер по убеждениям, рождению и семейным традициям, — просто примитивный трус, у которого во время боя стучат друг о друга коленные чашечки. Мало того, Ленартович не просто трус, он — редчайшее скопище всех пороков. Он — лицемер: все, произносимые им про себя пышные тирады («готов отдать жизнь, но за революционное дело»), конечно же чистейшее лицемерие, потому что он тут же прикидывает, насколько удобнее и безопаснее отсидеться от войны в тюрьме или в плену. Этот «революционер» презирает солдат, которыми командует: они для него не более чем грязные

и дикие животные. Он патологически бесчеловечен: ему не только не жаль раненых, страдающих от плохой организации медицинской службы, но он равнодушно отвечает врачу полевого госпиталя: «Чем хуже, тем лучше». Ничтожный себялюбец, Ленартович при виде группы солдат, уносящих после разгрома армии Самсонова в Россию своего мертвого полковника и раненого поручика, не испытывает ничего, кроме страха за собственную шкуру. Автор не удержался даже от того, чтобы именно Ленартовича — опять же его одного во всем романе! — наделить нечистыми мыслями о женщинах (это уже забавно, если вспомнить, что речь идет об армии, состоящей, как известно, из здоровых молодых мужчин).

Такой сгусток подлости был бы чрезмерен, пожалуй, даже для характеристики поведения Романа Томчака, если бы его отцу не удалось «подмазать, шоб не рыпило» — и отпрыск его попал бы в армию. Но механическое сбединение этой психологической характеристики с «революционными убеждениями» делает образ Ленартовича выдуманым, бесплотным и безвкусным. И вовсе не потому, что среди революционеров не мог оказаться трусливый или плохой человек — всякое бывало! — а потому, во-первых, что этот образ претендует на символичность, и потому, во-вторых, что ни одна черта, ни один штрих, ни одна подробность в этом образе не увидена автором в жизни, душе, обиходе, сознании тогдашних революционеров. Саша Ленартович — не живой человек, рожденный женщиной (пусть даже исповедующей пагубные атеистические взгляды), он, подобно рисунку Мурочки и известного стихотворения Чуковского, — «бьяка-закаляка кусачая», автор сам из головы его выдумал. И кажется, что написал его совсем другой писатель, не тот, который создал Чернегу или Саню Лаженицына.

В образе Ленартовича наиболее существенно сказываются художественные просчеты, неумолимо следующие за чрезмерной запрограммированностью, «закмуренностью» автора, не желающего вглядываться в то, что он, по его мнению, знает, понял и безоговорочно осудил еще до того, как сел писать, — с точки зрения той истины в последней инстанции, которой он якобы обладает.

Каждый крупный художник, особенно художник-реалист, особенно такой **социальный** писатель, как Сол-

женицын, не может не иметь свою систему взглядов, свою историко-философскую концепцию. Поскольку сам Солженицын не скрывает того, что он — не марксист и что его историко-философская концепция расходится с принятой у нас в стране, я надеюсь, что не поврежу ему, если изложу эту концепцию так, как она представляется мне после ознакомления с романом и с послесловием к нему. Переосмысливая историческое развитие России в XX веке, Солженицын отрицает нравственную и практическую целесообразность революционного пути изменения действительности. Отсюда и упоминание в послесловии первой мировой войны как «главной темы нашей новейшей истории». Отсюда — резкая критика царского правительства и высшего генералитета — не за войну как таковую, а за **неподготовленность** к ней, за бездарность, с которой она ведется, что и ввергнет Россию (уже в следующих, разумеется, «узлах») в бездну революции. Предвоенная Россия, как рисует ее Солженицын, благополучная, здоровая, правда, очень еще неблагоустроенная страна, на всех парах идущая по пути технического прогресса к всеобщему благоденствию. Руководит ею, к сожалению, неумное правительство, которое мешает развернуться подлинно творческим силам страны, ее «делателям» и созидателям — русской буржуазии и инженерии. Впрочем, еще больше мешают революционеры с их бунтами, восстаниями и протестами, ничего не созидающие, а лишь «растрачивающие национальный продукт», как выражается один из героев романа.

Льшу себя надеждой, что изложила концепцию добросовестно, хотя в корне с ней не согласна. Я могла бы вступить здесь с автором в историко-политический спор, приведя множество доказательств трусливости и жадности русской буржуазии, ее неспособности выполнить даже свою собственную историческую задачу, ее всегдашней готовности продать любые общенациональные интересы за прибыли, обеспеченные нищетой и бесправием русского народа. Но я не буду этого делать по двум причинам. Во-первых, речь идет не об историческом трактате, а об историческом романе; во-вторых, политический спор в данном случае безопасен для меня, но не безопасен для моих оппонентов, а в таких условиях я не хочу его вести. Следовательно, будем говорить о **художественном методе** создания романа, в котором главное — не концепция, даже не точность исто-

рической обстановки, а точность психологических характеристик, верность и зоркость взглядывания.

Любой гротеск, любая «мениппова сатира», любая даже фантастика — если это настоящая литература — есть только особый угол зрения, особое, пусть иногда причудливое, освещение действительности, но ни в коем случае не хирургическое отсечение от нее неудобных, не вмещающихся в авторскую концепцию частей. Вспомним «Мастера и Маргариту» Булгакова, вспомним сатиру Свифта и Щедрина — какая реалистическая точность при невероятной сгущенности гротеска! Вспомним «Мэри Глостер» и «Котиколовов» Киплинга — какое романтическое воспевание жестокости, насилия и хищничества, не скрывающее, однако, ни одной реалистической подробности.

Тем более существенна верность правде для художника, творящего «в формах самой жизни». Каким бы взглядом ни смотрел художник на действительность (в данном случае — на действительность историческую), с каких бы позиций ее ни оценивал, он лишен права ее оперировать или подкрашивать. И когда это этическое правило не соблюдается, возникает **художественная неправда**, заставляющая вспоминать о второй части «Мертвых душ». Таким образом и подставляется Саша Ленартович на место, скажем, Дмитрия Фурманова или Сергея Лазо (они, кстати говоря, во время первой мировой войны тоже были студентами). Или — поскольку Солженицын интересуется Югом России — на место двух казаков, братьев-большевиков, Евгения и Владимира Трифоновых, фрагменты биографий которых содержатся в интересной книге Юрия Трифонова «Отблеск костра».

Воспроизвести нравственный облик тогдашних революционеров и, проследив цепь катаклизмов, понять, каким образом на исторической арене их сменили реальные ленартовичи — задача невыносимо, несказанно трудная. Гораздо легче, заранее выведя формулу, «опрокинуть современность в прошлое», чтобы решение задачи сошлось с приготовленным ответом. Но это — временная легкость, и она, думаю, чрезвычайно затруднит работу над дальнейшими «узлами» эпопеи.

Итак, Ленартович обречен автором на нравственное ничтожество. При такой запрограммированности «бесу» должен быть противопоставлен ангел. Он и противопоставлен — это Воротынцев.

Нужно сказать, что «ангел» гораздо более правдивая фигура, чем «черт». Может быть, потому, что Солженицын лучше его знает?

Мне приходилось читать и слышать критические замечания по адресу Воротынцева, высказывания в том духе, что он, дескать, слишком «голубой» и прекрасный. Я не согласна с этой критикой: Воротынцев мне представляется живым, незапрограммированным, естественным «хорошим человеком», без всякого глянца или лакировки, наиболее свободно движущимся в романе, в социальной среде, в истории. Если не считать, впрочем, режущих глаз и ухо (и совершенно лишних в романе) страниц, посвященных его супружеским воспоминаниям: эти страницы наивно безвкусны и неоправданно мельчат Воротынцева. Кажется, и любить он должен крупнее.

Запрещенный прием — приписывать автору точку зрения его героя. Но симпатии к Воротынцеву автор не скрывает. «Симпатия» — даже не то слово. Думаю, что, не применяя запрещенного приема, я могу выделить Воротынцева как в некоей мере «alter ego» — второе я автора. Солженицын частично наделил его своим характером, своей индивидуальностью: Олега Костоглова или Глеба Нержина он перенес почти на шестьдесят лет назад, одел в форму полковника ставки его императорского величества и пустил в сопровождении Санчо Пансы — Арсения Благодарева в одиночку сражаться на полях первой мировой войны с глупостью, трусостью и ничтожеством царского правительства и генералитета.

Благородство и тщетность этих рыцарских вылазок, как и тупая косность правителей, написаны с выразительностью, превосходящей, пожалуй, все, что до сих пор написано о первой мировой войне, — и эти страницы относятся к лучшим в романе. Но...

Но тот же архаизм мышления, усиленный психологическим сродством с Воротынцевым, заставляет автора полностью сливаться со своим героем, мешает ему воспользоваться преимуществами временной дистанции.

Я уже говорила, что облик Воротынцева обаятелен. Настоящий человек встает со страниц книги — с умом, волей и бесстрашием, готовый взять на себя не сколько **должен**, а сколько **потянет**, — а потянет много, готовый к самопожертвованию, своеобразный, но, во всяком случае, искренний народолюбец. Его донкихотская

стрельба по второстепенным целям — жилинским и артамоновым — исторически, психологически и морально оправдана. Но, отважно сражаясь с **живыми трупами**, полковник Воротынцев в то же время отчетливо сознает, что не в его возможностях «толкать свое непричесанное отечество куда ему лучше».

А куда ему лучше?

Воротынцев считает, что это-то он знает твердо. Заменить глупого царя умным, бездарных генералов — талантливыми, изменить систему выдвижения и продвижения в армии, реформировать интендантство, заботиться о солдатах, обеспечить независимость России от ее союзников, дать свободу рук в армии «младотуркам», в тылу — русским деловым людям.

Легко сказать! Программа пусть не радикальная, но, несомненно, прогрессивная, только — вполне утопическая. И весьма естественная для Воротынцева в августе 1914 года. Ему еще предстоит (может быть, в следующих «узлах») убедиться в том, что дело не в исполнителях, а в **системе**. Убедиться, что даже эту «мини-программу» ни русский царизм, ни русская буржуазия выполнить уже были не способны — потому и оказались обречены, потому и сгинули.

Но чего не знает герой, не может не знать автор. Хорош или плох ход истории, рационален или иррационален, но он уже совершился. Давно, «жизнь тому назад». Однако автор как бы выключает эту свою осведомленность, полностью сливаясь со своим героем. Примеров можно привести много; укажу только на один. Потрясенный мазурской трагедией, возмущенный тем, что в жертву интересам союзников принесены жизни тысяч русских солдат, Воротынцев в своей драматической речи в ставке бросает Жилинскому обвинение в том, что он «подписал самоубийство России». Жилинский резонно возражает: наступление решено не им, Жилинским, а правительством и монархом. На это возражение ответа у Воротынцева, собственно говоря, нет, и для него очень удачно, что главнокомандующий перебил его. Ибо, не выходя из рамок той системы, частью которой он был, Воротынцев ответить Жилинскому **не может**. Он не может сказать (он может даже и не знать!), что судьба армии Самсонова и тысяч благодаревых была решена еще тогда, когда правительство Николая II выпросило у французских банкиров золотой заем на подавление революции, — и, бросая армию в

наступление, царизм жизнями русских солдат просто выплачивал проценты по займу.

Это — речи не для ставки. Это — речи для митингов. Эти речи вело то, выражаясь словами Воротынцева, «безумное русское общество», которое во всем винило царизм. То есть люди, уже тогда понимавшие, что дело не в плохом командующем, а в плохом государственном устройстве. Для Воротынцева же плохи, негодны, безнравственны не система в целом, а деталь ее, не бессмысленная война, а проигранное сражение.

А для автора? Что нравственно и что безнравственно для него?

Как и во всех произведениях Солженицына, нравственные проблемы занимают центральное место и в «Августе», они же, переплетаясь с профессиональными военными заботами, волнуют главного героя. Думаю, в эпиграф романа можно было бы безошибочно вынести одну из реплик Воротынцева в разговоре с Ленартовичем:

«... — Партийные разногласия, прапорщик, рябь на воде!

— Партийные — рябь? — поразился, споткнулся Саша... — А тогда что ж национальные? Не рябь? А мы из-за них воюем? А какие ж разногласия существенны тогда?

— **Между порядочностью и непорядочностью, прапорщик, — еще отрывистее отдал Воротынцев**<sup>1</sup>.

Можно не сомневаться, что подчеркнутые мною слова — символ веры не только героя, но и автора. Нельзя не согласиться с ним насчет **насущности, главности** этих разногласий для человеческой души. За тысячелетия

---

<sup>1</sup> Отметим, что на промежуточный вопрос — существенны ли национальные (на самом деле вовсе не национальные, а правительственные) разногласия, из-за которых идет война, Воротынцев не отвечает. И прежде всего, потому, что сам себе на этот вопрос ответить не может. Вспомним необыкновенно правдивую и психологически точную сцену, когда полковник, лихорадочно перебирая в уме, что бы такое сказать солдатам Эстляндского полка, чтобы заставить их стоять насмерть (бог? царь? отечество?), не находит никакой **идеи**, никакого морально оправданного лозунга. И вполне прагматически, не размышляя о добре и зле, прибегает к стародавнему «чувству плеча», к высокоморальной действительно солдатской **взаимовыручке**.

Но разве в самом прагматизме **использования добра** не заключена некая безнравственность, неизбежная для «реального политика», каким является Воротынцев? А ведь он — человек высокопорядочный.



своего существования человечество выработало множество важнейших противостоящих нравственных категорий: честь — подлость, мужество — трусость, доброта — злоба, сострадание — жестокость, искренность — лицемерие, и еще много. Только вот беда: на протяжении той же истории человечество никогда не вкладывало в эти понятия единое содержание, никогда не пользовалось единым критерием порядочности. И если в бытовой морали хотя бы христианская часть человечества худо-бедно выработала какие-то принципы (хотя отнюдь не всегда придерживалась их), то в области социальной и политической критерии порядочности и вовсе были (и остаются!) <sup>1</sup> диаметрально противоположными как раз в зависимости от политических разногласий. Это свидетельствует о несовершенстве человеческого общества? Да, конечно. Но это — так. И так было и в России начала XX века, у которой тоже не было единого нравственного критерия. Одинаковы ли были, скажем, критерии порядочности у губернатора, посылавшего конных, вооруженных, сытых людей усмирять людей голодных и безоружных, — и у этих самых безземельных мужиков, которых усмиряли? У казака, хлещущего нагайкой курсистку, требующую свободы слова, у курсистки, по спине которой гуляет нагайка <sup>2</sup>?

Разумеется, сами себя они — и губернатор, и действующие по его приказу казаки — считали людьми

---

<sup>1</sup> Много позже написания этой статьи, в Нобелевской лекции А. И. Солженицына, я прочла его размышления о разных шкалах ценностей. Все это — чистая правда. Но неужели он думает, что эта разность шкал — изобретение второй половины XX века?

<sup>2</sup> В романе несколько раз иронически упоминается о том, что русская интеллигенция ничего-де не знала о казаках, кроме того, что они хлещут нагайками. Ирония тут вряд ли уместна; как быть, если в тот период интеллигенция ближе всего соприкасалась с ремennым хвостом казачьей нагайки, уже в наши дни поэтически воспетой А. Софроновым. Историю интеллигенция знала, но она знала и современность. А в живой действительности начала XX века некогда вольное казачество существовало как привилегированное сословие, в обмен на привилегии исполнявшее — от этого никуда не денешься! — грязные функции опричников. Казаки были храбрыми людьми — кто спорит? Но разве даже храбрых людей не развращает систематическое, поощряемое и награждаемое убийство и избивание безоружных? Кому, казалось бы, знать это, как не Солженицыну? Я могла бы привести здесь более современные и более знакомые автору примеры расправы вооруженных сытых людей с безоружными голодными. Но разве наличие этих более близких примеров зачеркивает существование кнута и насилия в прошлом? Или делает этот старый кнут бархатным?

порядочными, и по-своему были правы: они исполняли свой долг, они оставались верны царю, которому присягали, Богу (с большой буквы) и, как они понимали, отечеству. Можно ли требовать от них, чтобы они выполняли заповедь, которую Достоевский занес в свои записные книжки: **мало быть верным своим убеждениям, надо еще непрерывно проверять, нравственны ли эти убеждения?** Нельзя от них этого требовать, да и от Воротынцева нельзя. У него нет для этого ни досуга, ни побуждения: как неоднократно подчеркивается, он создан, учился, рожден для войны, и его дело — добиваться победы, а не размышлять, справедлива ли, нравственна ли эта война. Для него, как для английского тори, «права или не права — это моя страна». Но в своем повседневном поведении он руководствуется обычной, естественночеловеческой нравственностью: не ударит женщину, не выстрелит в безоружного. И конечно, в выдуманном споре с выдуманным Ленартовичем прав он, а не Ленартович: нельзя бросать раненого, каковы бы ни были его политические убеждения.

Автор, поместивший своих героев в определенную историческую среду, лишен в данном случае возможности полностью следовать за своим героем. Сколько бы ни прокламировал он превосходство простой порядочности над политическими убеждениями, он не может не соотносить нравственный облик своих героев с их убеждениями. И соотносит, странным образом сопрягая высокие нравственные качества с политической реакционностью.

Вот, к примеру, монархист генерал Нечволодов. Прошу прощения за длинную цитату, но она необходима.

«...Он имел и досуг, и достаток, и личную свободу служить цели внешней, надличной. Такая цель у него была, от детского порыва в военную гимназию, от первой юнкерской присяги в год **низкого** (подчеркнуто везде мной. — *Р. Л.*) убийства царя-освободителя — служить русскому трону и России. И за сорок лет эта цель в его глазах не ослабла, не раздвоилась, не пошатнулась. Но ...он столкнулся с единым к себе недоброжелательством старших офицеров, генералов и гвардии. От всех от них Нечволодов ожидал ответственных жертв для укрепления русской армии и стало быть — русской монархии. Но оказалось, что даже среди них слова о монархии принято звучно произносить, а быть ей истинно

преданным — неприлично. Чем выше, тем сплошней они оказались не патриотическим пламенем охвачены, а жаром корысти, и служили царю не как ПОМАЗАННИКУ, а потому, что он РАЗДАВАЛ. И прежде, чем Нечволодов это понял, уже поняли его как человека чуждого их среде, опасного...

...В поиске, куда же приложить избывающий внутренний напор, Нечволодов и занялся своим безудачным курсом русской истории для простого народа... Для себя искал он — оживить и освежиться в других временах, когда иначе относились русские к своим монархам, для читателей — **обратить их в то прежнее состояние** и тем еще охватней и прочней добиться своей неизменной цели. Но хотя история сия была высочайше замечена и рекомендована для военных и народных библиотек, — повсеместно заглотоного чтения своей книги и перемены в умах автор не замечал. Монархическая преданность Нечволодова, своей чрезвычайностью испугавшая генералов, теперь попала под издевки людей **ОБРАЗОВАННОГО КРУГА**, уверенных, что русская история может вызывать только смех и отвращение, да и есть ли она вообще, была ли? И уж как вовсе дикое встретили убеждение Нечволодова, что **монархия есть не путь, а скрепа России, что она не сковывает Россию, а удерживает ее от бездны...**

...И через молчанье и через терпенье он снова мог остаться лишь на твердости. Да иметь пристрастие к своему Ладожскому полку за то, что тот был опорой трона при московском **бунте 1905 года...**

Приведенная выше цитата очень содержательна. Конечно, это не только и не столько авторская характеристика генерала Нечволодова, сколько его **самохарактеристика**, его внутренний монолог, излагающий его, генерала Нечволодова, взгляды (не могу не отметить любопытное, едва ли не текстуальное совпадение их со взглядами современных «неославянофилов» — Семанова, Солоухина, Чалмаева и др.). Но выше уже отмечалось искусство, с которым ведет внутренний монолог Солженицын. Благодаря **интонации**, в нем всегда кроме героя присутствует автор. Политические взгляды принадлежат герою, а не автору<sup>1</sup>. Но **нравственная оценка** героя выражена в интонации. И эта нравствен-

---

<sup>1</sup> Сейчас бы я этой оговорки не сделала.— Р. Л. (Примечание 1980 года.)

ная оценка высока, несмотря даже на легкий оттенок печальной иронии.

Нечволодов — не единственный рыцарь русской монархии в романе. Вот джентльмен до мозга костей великий князь Николай Николаевич... Вот неудачливый, несчастный, но честнейший и чистейший Самсонов...

Не в том вовсе дело, что не может монархист оказаться лично порядочным человеком. Может. Но ведь сам Солженицын в другом месте справедливо отзывается иронически о тех, кто готов простить историческим деятелям любые преступления за их «домашние добродетели». Характеризуя генерала Ключева, да и большинство тогдашнего русского генералитета, он пишет: **«Никакими добродетелями не загородится, не оправдается тот, кто взялся вести судьбы тысяч — и худо вел их.** Пожалеем солдата-новичка под пулями и разрывами в захвате злой войны, а генерала-новичка, как бы ни было ему муторно и тошно, — **не пожалеем, не оправдаем.**» (Подчеркнуто мною.—Р. Л.)

Подписываюсь под каждым словом — и добавлю еще, что это определение верно для любого исторического периода — и для политических вождей так же, как и для военных...

Но это — публицистика. А когда доходит дело до образного воплощения Самсонова, взявшегося вести армию и худо ведущего ее, — Самсонова, вкуче с командованием фронта, генштабом и ставкой погубившего в Мазурских болотах 80 000 русских солдат, — **художник**-Солженицын внезапно выступает против Солженицына-публициста. Художник-Солженицын **любит** генерала Самсонова, **жалует** его, морально его **оправдывает**. Весь свой немалый художнический арсенал он мобилизует, чтобы вызвать читательское сочувствие к Самсонову, сопереживание с ним.

Могу засвидетельствовать, что он достигает цели. Думаю, мое свидетельство тем ценнее, что я принадлежу к числу тех читателей, для которых люди типа Самсонова — чужие и чуждые, с которыми у меня нет ни одной соединяющей мысли, ни одной общей эмоции. И тем не менее, когда я читаю потрясающе написанные сцены — вещей сон Самсонова, прощание его с войском, срывание орденов и погонов (не отдал ли тут Солженицын — незаслуженно — генералу Самсонову свои собственные переживания?), самоубийство, — у меня сжимается сердце. И только потом, отложив роман

в сторону, я принимаюсь анализировать, почему же у меня есть сострадание к Самсонову и нет непосредственного сострадания хотя бы к одному из тех тысяч, кого он оставил умирать под чужим белесым небом?

В самом деле — почему? Ведь **изложение фактов** в романе неумолимо свидетельствует **против** Самсонова: командующий армией не только не может отстоять свой план, он даже не способен его доработать, обдумать: практически никто и ничто ему не подчиняется, он сам подчиняется обстоятельствам и находящимся рядом людям — то Воротынцеву, то Постовскому. Он, наконец, дезертирует, бросая армию (правда, сам себя потом казнит за это)...

А **освещение фактов** неуловимо, невидимо и мощно апеллирует к эмоциям. Палач оказывается жертвой. «Семипудовый агнец», называет его про себя Воротынцев, но в этих словах нет иронии и гнева, а есть пронзительная боль и жалость.

Почему же мне вместе с Воротынцевым так жаль Самсонова? Потому, что о его душевных муках, о его предсмертных мыслях написано подробно, глубоко, проникновенно... А что думал перед смертью какой-нибудь Качкин или Благодарев — этого я не знаю, не чувствую. Все поставлено на службу моральному оправданию Самсонова, все вытесняет трагедию брошенной армии его «личной трагедией».

Я не случайно ставлю слова «личная трагедия» в кавычки: мы еще помним попытку именно такими словами оправдать преступления Сталина. Не сравниваю ни размер, ни степень вины, хочу только напомнить, что в сталинских преступлениях участвовали и лично честные люди. Как отнесся бы Солженицын к попытке художественной амнистии их? Кстати сказать, А. Бек в своем «Новом назначении» сумел так показать нам Онисимова, что ни несомненная личная честность, ни муки совести не оправдывают его ни в глазах автора, ни в глазах читателей. А Самсонову стоит только открыть складень и помолиться богу — и ему прощаются все его грехи. Это, может быть, по-божески, но — не по-человечески!

Для характеристики конкретного содержания понятий **порядочности и беспорядочности** стоит проанализировать эпизод, обсуждающийся в предпоследней главе

романа, за обедом у инженера Ильи Исаковича Архангородского.

За несколько дней до этого обеда Илья Исакович, еврей, крупный инженер, ставящий современные мельницы для хлебного магната Парамонова, принял участие в «патриотической» еврейской манифестации, которая демонстрировала у памятника «царю-освободителю» свою преданность русской монархии пением гимна «Боже, царя храни». Дочь Архангородского Соня и ее приятель студент-эсер Наум возмущены этим. Поступок Архангородского, однако, ничуть не шокирует гостя, бывшего революционера-эмигранта, ныне тоже крупного инженера Ободовского. Он даже поддерживает Архангородского, пытающегося оправдаться заявлением: если это — моя родина, я должен ее во всем поддерживать. Соня очень точно парирует увертки отца: «Черной сотне ты ходил кланяться, а не родине».

Позиция Сони представляется мне нравственно неуязвимой, а поступок ее отца — отчетливо безнравственным (для пушей ясности напомним, что дело происходит на черносотенном казачьем Юге России, меньше чем через год после дела Бейлиса и сопровождавшей его погромной агитации). Но я не слышу авторской интонации, осуждающей непорядочность Архангородского; наоборот, позиция Сони заранее скомпрометирована иронической интонацией, с которой автор повествует об этом персонаже. Архангородский же и Ободовский, напротив, заранее оправданы уважительным тоном автора: они дело делают. И стоит ли прислушиваться к словам глупенькой барышни, пользующейся благами роскошной жизни, заработанной ее талантливым отцом, и болтающей модные революционные фразы без отрыва от пирожного?

Выведенному из себя этими фразами Илье Исаковичу принадлежит второе капитальное изречение, которое можно вынести в эпиграф романа. «С этой стороны — черная сотня! — говорит Илья Исакович. — С этой стороны — красная сотня! А посередине — десяток работников хотят пробиться — нельзя! Раздавят! Расплющат!»

Так выясняется, что живым прогрессивным силам России, ее работникам, ее «делателям» одинаково угрожают «черная сотня», на которую опирается всевластное правительство, и «красная сотня», то есть бесправные, преследуемые, находящиеся в подполье революционеры.

Это говорит Архангородский. В романе все акценты подчеркнуты еще резче: все порядочные, дельные и умные персонажи принадлежат к противникам революции, а все ее сторонники (и даже просто «критиканы», недовольные правительством) — нравственно ущербны и интеллектуально беспомощны. Так создается искусственный климат романа, далекий от подлинной атмосферы тогдашней России. Не была она счастливой сытой страной с веселым жизнерадостным народом, как пытается изображать Солоухин в «Письмах из Русского музея». Была она самодержавная, сословная, с голодом, нищетой и унижениями, со множеством социальных и национальных противоречий, с тюремным режимом, толкавшим именно **порядочных** людей — в революцию, а **непорядочных** — в ряды конформистов. Выбор первых вознаграждался пулей, виселицей, тюрьмой и дискриминацией. Выбор вторых — деньгами, чинами, «теплыми» местами, наконец — просто спокойной жизнью. Такой выбор и сейчас приходится делать людям везде, где они находятся под гнетом антидемократической власти; так они сортировались и тогда: лучшие боролись с властью, худшие служили ей — кто за страх, кто за совесть, кто за деньги. При этом было, разумеется, как всегда и везде, много оттенков, вариантов, переходных состояний — и была большая масса людей, которые и думать не думали о всех этих проблемах, а жили как живется.

### Как жили?

Я уже объяснила причины, по которым не хочу вдаваться в политическую полемику, а намереваюсь остаться на почве рассматриваемых в романе нравственных категорий. И, оставаясь на этой почве, я спрашиваю, нуждалась ли дореволюционная российская действительность в преобразовании? Справедлива ли, достойна ли, человечна ли была эта действительность для миллионов людей, для основной массы народа? Это основной вопрос, волновавший действительно лучших русских людей, стержень всей великой русской литературы, начиная от Радищева, и от ответа на этот вопрос не имеет права уклониться писатель, создающий историческую эпопею. Хорош или плох революционный путь, народ никогда не становится на него под влиянием кучки болтунов и бездельников, он избирает его тогда, когда не может больше терпеть страданий. Были или не были страдания в дореволюционной России?

В России их было сверх головы, и именно непрерывность, неизбытность их делала людей революционерами. В романе их нет, и таким образом у революции искусственно отстригаются ее социальные корни. Но эта искусственность мстит за себя. Отказываясь видеть историческую действительность во всей ее сложности, путаности, противоречивости, Солженицын выстраивает ее макет по строгому архитектурному плану, заранее деля при этом своих персонажей на «хороших» и «плохих», на «овец» и «козлиц», начисто отказываясь проникнуть в души тех, кого он осудил. Поэтому Ленартович, Варя, Харитоновы и некоторые другие герои написаны без всякой глубины и тонкости, грубыми фельетонными мазками. Это сюжетно облегчает положение «любимых» героев: Воротынцеву легко дается моральная победа над **таким** Ленартовичем, Андозерская без труда одерживает верх над дурочкой Варей, Архангородский — над своей полуистеричной дочкой. Но эта внешняя легкость художественно опасна. Оберегая своих любимых героев от достойных противников, отказываясь от анализа мировосприятия русских революционеров (которые тоже не были едины), Солженицын лишает свой роман подлинности, исторической глубины. Проигрывают, выпадают из исторического контекста даже те герои, которых автор любит, ибо они выигрывают в диспутах с безликими тенями. По существу, это признание в том, что диспута с живыми представителями русского революционного движения ни Воротынцев, ни Варсонофьев, ни Архангородский не выдержали бы. Вот почему беседа Варсонофьева с Саней и Котей есть, в сущности, идеологический монолог: два желторотых юнца послушно разевают клювы, в которые «звездочет» вкладывает цитаты из статей Бердяева и Розанова. Дать Варсонофьеву противника по плечу автор не решился.

Достоевский был смелее. Вспомним «Братьев Карамазовых»: Алеше и старцу Зосиме противостоит такой мощный оппонент, как Иван Карамазов.

Меньше всего склонна я принимать модную сейчас юбилейную схему. Согласно этой схеме, Достоевскому если и не вручается партийный билет (что Ермаков успел в свое время проделать едва ли не со всеми русскими классиками), то он, во всяком случае, зачисляется в «прогрессивные» — вплоть до того, что в «Бесах» оказывается даже единомышленник К. Марк-



са и I Интернационала. Глупейшая перекраска истории и литературы в модные цвета! Гениальный Достоевский был монархистом и шовинистом — и от этого никуда не денешься<sup>1</sup>. Не думаю, однако, что он остался бы гением, если бы полностью подчинил свое творчество исповедуемым им политическим и религиозным догмам. До конца дней своих не мог Достоевский перестать быть «чувствилищем» человеческого горя, страдания и унижения, не мог успокоиться на официальной православной доктрине, согласно которой все противоречия разрешаются ТАМ, у престола божия, где «несть ни печали, ни воздыхания». Недаром укорял его за неортодоксальность К. Леонтьев, недаром хмурился, читая «Братьев Карамазовых», Победоносцев. Ни на затравленного псами ребенка, ни на голодное «дите» на руках у матери, ни на замученного, униженного Снегирева, ни на сладострастного паука Карамазова не нашлось ни у Зосимы, ни у Алеши ответов, примиряющих с действительностью. Не мог с ней примириться Достоевский! И хотел бы — да не мог. Эта непримиренность выступает даже в таком, до революции хрестоматийном, тексте, как «Мальчик у Христа на елке». Когда читаешь в «Дневнике писателя», среди публицистических текстов, полемизирующих с Белинским и Добролюбовым, эту вставную новеллу, то ведь **вместе с писателем** не прощаешь этого синего замерзшего тельца в «халатике», этих обмороженных пальчиков, прилипших к стеклу, за которым веселятся вокруг богато украшенной елки здоровые, нарядные дети. Не прощаешь горя и боли на земле за обещанную в загробной жизни елку у Христа!<sup>2</sup>

Не может никуда деться Достоевский от социаль-

---

<sup>1</sup> Это верно, но слишком кратко и плоско. Достоевский — даже в идеологической и политической части своих произведений — заслуживает более глубокого анализа, которому здесь, конечно, не место. (Примечание 1980 года.— Р. Л.)

<sup>2</sup> Эту раздвоенность Достоевского, это противоборство в его творчестве собственно идеологических концепций и обступавшей его реальной действительности отмечает в своей прекрасной книге «Проблемы поэтики Достоевского» М. Бахтин: «Но в плане его развернута не полифония примиренных голосов, но полифония голосов борющихся и внутренне расколотых. Эти последние были даны уже не в плане его узкоидеологических чаяний, но в реальной действительности того времени. Социальная и религиозная утопия, свойственная его идеологическим воззрениям, не поглотила и не растворила в себе его объективно-художественного видения».

ных противоречий на земле. И ни один большой писатель не мог — особенно у нас в России, где земля пропиталась слезами и кровью. Ни Ф. Достоевский, ни Л. Толстой революционерами не были, оба они — каждый по-своему — революционный путь отвергали. Но глаз они не закрывали. Страдания угнетенных, униженных, замордованных народных масс, питавшие и взрастившие русскую революцию, они видели. И не прощали.

«Август» посвящен более позднему периоду русской истории. Может быть, к тому времени жизнь в России стала прекрасной и достойной? Но вот тончайший, лирический, самоуглубленный Александр Блок. Он тоже слышит, видит и — не прощает. И зовет: «На непроглядный ужас жизни открой скорей, открой глаза, пока неожиданная гроза все не смела в твоей отчизне». И спрашивает: «Доколе коршуну кружить, доколе матери тужить?» И совсем еще молодая, уж до чего нереволюционная Марина Цветаева не может не слышать «жалобный, жалостный вой» солдат из проносящихся воинских эшелонов. И Анна Ахматова, вспоминая тридцатилетие спустя «достоевский и бесноватый» Петербург последнего предвоенного года, пишет:

И всегда в духоте морозной,  
Предвоенной, блудной и грозной,  
Жил какой-то будущий гул.  
Но тогда он был слышен глуше,  
Он почти не тревожил души  
И в сугробах невских тонул.

Как видите, я не ссылаюсь здесь ни на М. Горького, ни на А. Серафимовича, ни на В. Маяковского. Речь идет не о политических взглядах писателя, а о его зрении и слухе, точнее, о том, что именно видит и слышит его сердце.

По «Ивану Денисовичу» и «Матренину двору», по «Раковому корпусу» и «Кругу» мы знаем, как умеет слышать и видеть Солженицын, как отзывчиво его сердце художника на каждую боль, на каждое страдание. Верно, что в этих произведениях он — продолжатель гуманистической традиции великой русской литературы.

Во всех названных выше произведениях, но — не в «Августе». Хотя и здесь есть места, ни с чем не сравнимые по зоркости, по тонкости и точности восприя-

тия — ну хотя бы Ростов глазами едущей на извозчицкой пролетке Ксении; душевное состояние прощающихся с Москвой Сани и Коти; внутренний монолог Тани; все, относящееся к Чернеге, — да мало ли еще. Но одно начисто отсутствует в романе — «та блудная и грозная духота», которая скопилась в России к 1914 году. Одного не видит и не слышит писатель — тоски и боли тогдашних Матрен и Иванов Денисовичей.

Эта непонятная, неестественная для Солженицына глухота поражает и в тыловых и в военных сценах романа. Описание десяти дней августа 1914 года — это ведь не только патриотические манифестации на улицах Петербурга и Москвы, не только «шапками закидаем» на страницах прессы, не только переживания «идеологически выдержанной» патриотки Ирины Томчак, обливающейся слезами, потому что муж ее уклоняется от воинской повинности. Были ведь еще и другие слезы — тех, кто шел на войну, и тех, кто провожал на нее. Август — на полях лежал неубранный урожай, а кормильцы уходили. Мне было восемь лет, а я до сих пор помню эти отчаянные вопли, которые назывались «проводы». Был еще и огонь догорающих антивоенных забастовок, вчерашние участники которых угрюмо натягивали на себя солдатскую форму...

Суть не в том, что этих сцен нет в романе. Да пусть не будут — дело писателя, какой использовать материал, на что наводить фокус. Суть в том, что в атмосфере, в подтексте, в дыхании «Августа» отсутствуют присущие описываемой эпохе смятение, тревога, расколотовость, сдвинутость, резкая неодинаковость реакций, точек зрения, эмоций, какими было встречено объявление войны в России. Я говорю не только и не столько об интеллигенции с ее идеологическими разногласиями, сколько о тех людях, которые составляли основную солдатскую массу. Солженицын сам очень точно объясняет, почему Саня не сказал дома, что идет на фронт добровольно: его посчитали бы свихнувшимся. Крестьяне воспринимали войну как стихийное бедствие — как град, ураган, засуху: куда денешься? Как же вяжется с таким отношением к войне идиллическая сцена, когда Ярослав Харитонов едет со своими солдатами в теплушке на фронт, и все они бодры и веселы, и все их восторженно встречают, и никто не только не тоскует, но даже и не задумывается ни о чем?

Это относится и к фронтовым сценам. Я дважды внимательно прочла роман. В нем подробно и выпукло дан не только ход событий, но и ход мыслей, боренье чувств Воротынцева, Самсонова, Нечволодова, Мартоса, Первушина, Ярослава Харитонов и других офицеров. Это читать интересно, через это мы, собственно, и ход событий, и смысл их постигаем — через мозг и душу участников этих событий.

Но есть еще другие участники событий — солдаты. Я не буду здесь вдаваться в спор А. Солженицына с Львом Толстым о роли личности в истории, но общеизвестно, что без солдат ни хорошо, ни плохо воевать нельзя. Поэтому солдаты в романе есть, и о них даже много говорится. Но как?

В одной из глав романа Солженицын выражает сожаление, что тогдашние газеты не печатали солдатских фото, а «отпустили всем чохом «серых героев», рисует безликую солдатскую массу. Его солдаты душевно немые. «Народ безмолвствует». **Изнутри** — как офицеров — мы их не видим, только глазами тех же офицеров, только через их восприятие — как объект воспитания или распеkania, сочувствия или восхищения. Солдаты в романе героически воюют или разудало грабят, добровольно идут на смертную операцию или ошалело бегут. Но что они при этом или после этого думают? Что чувствуют? О чем говорят между собой?

Неизвестно. Здесь внезапно выключается и слух и зрение автора, и его виртуозное владение внутренним монологом. И мы узнаем не что думает Крамчаткин, а что думают о Крамчаткине Харитонов или Воротынцев:

Видимо, и здесь Солженицын-идеолог помешал Солженицыну-художнику. Согласно идеологической концепции автора, в августе 1914 года единая, нерасколотая Россия, единая нация шла на войну — хотя и бессмысленную, хотя и плохо подготовленную, но шла уверенно, бодро, — и только «сверху все испортили». «Сверху»; конечно, испортили очень многое, но ни единой, нерасколотой нации, ни единой, не знающей социальных противоречий армии к 1914 году в России не было. Конечно, русские солдаты тех времен, как пишет автор, ничего не понимали в европейской политике. Конечно, были они в массе неграмотны и вовсе не были революционерами. Но, как всякие люди, — а среди них, как среди всех людей, были неглупые. — они

думали. И делились между собой мыслями, особенно когда не было поблизости офицеров. И все-таки это были уже не солдаты 1812 или 1854 года: исторический опыт народом не забывается, особенно если написан на его шкуре. В романе офицеры и генералы — Самсонов, Нечволодов, Воротынцев — неоднократно вспоминают о русско-японской войне, о событиях 1905 года, преимущественно характеризуя их как «бунт», «смуту». А может быть, и солдаты кое-что помнят об этих временах — ведь прошло всего восемь-девять лет, — и помнят не совсем в том ключе, что офицеры? Ведь если не отец, то дядька, сосед, сват, брат вернулся калекой с бесславных маньчжурских полей сражений. Ведь и расстрел 9 января 1905 года, и восстание на «Потемкине», и массовые порки и виселицы в 1906—1907 годах были еще на памяти тогдашних солдат — и, в отличие от нас, им не с чем было сравнивать масштабы репрессий. И пусть даже большинство из них ничего этого не знало и ни о чем этом не думало — все равно они каждый день на своем личном опыте познавали свое социальное бесправие.

Мне довелось прочитать две документальные книги о начальном периоде войны 1914 года — «Народ на войне», запись солдатских разговоров, которую вела сестра милосердия Софья Федорченко, и «По дорогам войны» — дневники военного врача и корреспондента «Киевской мысли» Л. Войтоловского. Судя по некоторым признакам, Солженицын их читал, но начисто отверг как источники (правда, они повествуют не о Западном, а о Южном, галицийском фронте, но я не думаю, чтобы поведение и психология солдат, тематика солдатских разговоров и отношений между офицерами и солдатами так уж резко разнились на этих фронтах). Лев Войтоловский, известный в Киеве общественный деятель — меньшевик-оборонец, добровольно пошедший на фронт. Софья Федорченко — тоже никакая не большевичка и не «пораженка», а просто русская женщина, тоже добровольно пошедшая в военно-полевой госпиталь; действительно, в их бесхитростных и почти не олитературенных записях (у С. Федорченко вообще нет ни слова от себя, а только записи солдатских разговоров) — все вперемежку: и доблесть и мародерство, и патриотизм и трусость, и взаимная выручка и зверская жестокость, и подлинная религиозность и возникающие сомнения...

Так вот, судя по этим книгам, солдаты думали и говорили между собой обо всем. О доме и хозяйстве. О женах и детях. О земле и о господах. О жизни и смерти, о боге, о противнике, о бабах — и больше всего об офицерах.

Нет, не вырисовывается из этих разговоров облик русского офицерства, каким рисует его Солженицын, воплотившего якобы в себе «энергию, мужество и силу нации» — рыцарски чистого, бескорыстно и любовно опекающего своих подчиненных. Не было единой, не знающей социальных и кастовых противоречий армии, объединенной общим патриотическим и религиозным порывом, символизированным в блестяще написанной сцене похорон полковника Кабанова. Была армия, объединенная, как всякая армия, железным обручем дисциплины и сознанием своего воинского долга, а внутри нее — полукрепостнические отношения между солдатами и офицерами, отражающие полукрепостнические отношения в тогдашней России. Недаром столько записей в упомянутых выше книгах посвящено **побоям**. Описывая, как прапорщик Растаковский хлещет солдата по щеке, как командир полка Кордыш-Горецкий стегает провинившегося стеком за то, что тот подал ему незажженную папиросу, Л. Войтоловский оговаривает, что описанные случаи — не исключение, а быт войны<sup>1</sup>, походная обыденщина и что исключение составляют как раз офицеры, которые **не бьют** солдат. Такие, конечно, есть — Войтоловский специально называет их по фамилиям.

Софья Федорченко не сговаривалась с Войтоловским, но в ее записях отражено то же самое: побои, издевательства, медленно зреющее сознание своего бесправия, тоска по дому, непонимание смысла войны... Все это, разумеется, наряду с обычными солдатскими шутками, удалью, походным бытом.

Так, может быть, в этих солдатских думах и разговорах, в этом почерпнутом на войне социальном опыте и коренится зародыш того, что «дружелюбные несебялюбивые» лица русских солдат обернулись вдруг совсем недружелюбными? Ведь многое накопилось в их душах — и горькое, и страшное, и справедливое (помните у Блока: «Прозренье назревает гневом, а зрелость гнева есть мятеж»?). Надо бы разобраться...

<sup>1</sup> Именно первого периода, начала войны. К концу войны этот обычай повывелся: легко было получить пулю в спину.

Но если разбираться, может нарушиться стройный, выверенный, точно задуманный чертеж. И автор сам себе запрещает проникать в души солдат и не дает им на страницах своего романа поговорить и подумать, и не дает слова Кордыш-Горецким и Растикавским, а полемически утверждает, что русская литература оболгала русское офицерство, сплошь состоявшее из Воротынцевых, Первушиных и Кабановых.

При всем моем уважении к таланту Солженицына я думаю, что прапорщик пехотного полка Куприн, военный врач Вересаев, минный баталер Новиков-Прибой, а также Чехов, Короленко и другие русские писатели, в правдивости которых сомневаться невозможно, лучше знали своих героев, чем пишущий о них спустя почти шестьдесят лет Солженицын. Да и невозможно представить себе русское офицерство тех времен единым организмом. И невозможно вообразить, чтобы система, с которой тщетно борется честный и умный Воротынцев, держалась на одном генералитете. Им обязательно сопутствуют в среднем звене кордыш-горецкие и растаковские: ни одна система не обходится без соответствующего среднего командного состава.

Полностью подчинившись своей концепции, автор лишает русскую армию 1914 года — как, впрочем, и тыл — социальных противоречий, а русское офицерство всех своих «родимых пятен» и заодно — жизненной достоверности.

Мы слишком часто сталкивались с косметикой в литературе на современную тему и слишком хорошо знаем, во что обходится она художнику. Я думаю, что историческая тема имеет не больше права на косметику, чем современная, и что не пристал этот метод художнику такого масштаба, как Солженицын. Да он и ему дорого обходится: все упростить не значит все объяснить.

Это особенно сказывается в образе Арсения Благодарова.

Арсений Благодаров — единственный в какой-то мере индивидуализированный солдат (если не считать фельдфебеля Чернеги) — несет в романе особую нагрузку: он уполномочен представлять русский народ. В начале статьи я писала, что отрицательному Ленартовичу противостоит положительный Воротынцев. Это, пожалуй, не совсем точно: Ленартовичу противопоставлены **вместе** Воротынцев и Благодаров, который для самого Воротынцева является как бы символом

«вечно народного», неким «субэкстрактом» русского солдата. Образ крестьянина Благодарева полемичен по отношению к интеллигенту Ленартовичу (примерно так, как сын крепостного Шатов противостоит в «Бесах» Петру Верховенскому и Ставрогину). Благодарев храбр и готов воевать, Ленартович — труслив и мечтает о плене. Благодарев доброжелателен и полон внутреннего достоинства, душа Ленартовича черна от злобы, зависти, мелкого самолюбия. Ленартович, разумеется, атеист, Благодарев, разумеется, глубоко религиозен. Кульминация этого противоречия — в сцене похорон, о которой я уже упоминала: вырастающий в центральную фигуру Арсений Благодарев служит полную заупокойную службу, офицеры и солдаты подпевают ему, заменяя церковный хор, а на заднем плане — с кривой усмешкой, чужой, лишней, от всех отъединенный прапорщик Ленартович.

Все выполнено по безукоризненному чертежу: объединенные единым патриотическим и религиозным порывом офицеры и солдаты — и жалкий отщепенец: интеллигент, антипатриот, атеист, революционер.

Беда только в том, что центральная фигура этой патриотической композиции так и остается фигурой условной. **Личностью** — как, скажем, Иван Денисович — она под виртуозным пером писателя не становится. Описана внешность Арсения (широкий нос, «развешенные губы», «достойноготовное» выражение лица), сообщены некоторые биографические данные (родом из деревни Каменки, женат по первому году, верхом умеет ездить только «охлюпкой» и т. п.). Но душа его остается для нас закрытой. Текста Благодареву отведено немало, но почти весь этот текст — от имени и по поручению Воротынцева. Очевидно, чутье художника подсказало Солженицыну, что сам Благодарев не может исповедовать те идеи, носителем которых он якобы является. Поэтому мы почти не видим его собственной внутренней душевной реакции на события, свидетелем и участником которых он является. Зато самые мельчайшие поступки его подробно прокомментированы Воротынцевым. Полковник беспрерывно восхищается Арсением — его сметливостью, храбростью, терпением, чувством собственного достоинства<sup>1</sup>, делает на этой

<sup>1</sup> Решусь заметить, что восторги эти кажутся мне несколько обидными для Арсения. Ну что уж так восхищаться тем, что он не унижается и соотносится «совсем как человек».



основе всяческие обобщения. Но что думает и чувствует сам объект восхищения — и для автора и для читателей остается загадкой. И здесь — не война глазами Благодарева, а Благодарев — глазами Воротынцева.

\* \* \*

Я не претендую на всесторонний анализ этого многонаселенного, многопланового, многопроблемного романа, ни даже на исчерпание темы, обозначенной в заголовке моей статьи. Перед нами — значительное художественное произведение (хотя, на мой взгляд, безусловно, слабее «Корпуса» и «Круга»), о котором еще немало будут спорить. Хотелось бы именно спорить, а не ругаться.

Я не литературовед, а читатель, и для меня, как читателя, есть бесспорный и бессомненный признак художественной силы произведения: автор заставляет читателя, не согласного с героем, сопереживать ему. В «Августе» эта авторская власть налицо. Однако она не безгранична: она кончается там, где писатель бросает столь послушный ему метод реалистического живописания и психологического анализа и переходит к карикатуре или апологии. Тут он бессилён: ни в Ленартовича, ни в Ирину Томчак не поверишь. О Ленартовиче я уже говорила, что до Ирины, то этот сусальный образ настолько ниже таланта писателя, что его появление на страницах романа трудно объяснить. Он кажется заимствованным из многочисленных дореволюционных «дамских романов», где были и «столовая лимонного дерева», и «гостиная карельской березы», и «отработанная в пансионе походка», и прочие аксессуары. Образ Ирины — проходной, второстепенный; какова ее роль в дальнейших «узлах», мы не знаем. Упоминаю о ней только потому, что неудача этого образа кажется мне не случайной: он целиком искусственно сконструирован из умерших невозстановимых ценностных норм. Там, где нет живой жизни, не может быть и добра.

Судить по «Августу» о будущей эпопее нельзя. Во всяком случае, облегчением и упрощением социального рисунка эпохи в «Августе» автор, по-моему, очень затруднил себе продолжение романа. Будем надеяться, что живая жизнь, живая история и чутье художника возьмут свое — и автор освободится из-под власти

своей догмы и ослабит свое деспотическое управление героями и событиями.

Должен когда-нибудь появиться в нашей литературе гений, которому окажется по плечу художественная эпопея, отражающая трагедию новейшей русской истории. Но создать такую эпопею невозможно, отказываясь понимать, что это одновременно — трагедия русской революции, отказываясь видеть эту революцию в целом, во всей ее сложности: ее взлеты и падения, ее справедливость и ее неоправданную жестокость, народность ее корней и антинародность многих ее плодов, чистоту и самоотверженность ее зачинателей и преступность ее переродившихся «наследников». Это — величайшая историческая трагедия, пока не осознанная до конца и не написанная ни историками, ни писателями.

Но ее не напишешь путем расстановки участникам исторических событий двоек и пятерок за поведение. И ее не напишешь с головой, повернутой назад, с сознанием, ищущим идеалов в мертвом прошлом. Преодолеть моральный кризис, обрести нравственную почву можно, только двигаясь вперед, а не назад. Оживлять исторический труп — безнадежное занятие. Поэтому «безудачными» будут любые — даже самые талантливые — попытки «обратить читателей в то, прежнее состояние».

## ПОДСТУПЫ К «ЗИЯЮЩИМ ВЕРШИНАМ»

*(Опыт ненаучного анализа)*

Книга эта гениальна по определению. Поэтому дочитать ее до конца вряд ли возможно. Впрочем, допустим вероятностный результат: читатель книгу дочитает. Тогда перед ним неизбежно возникает характерный для описываемой ситуации математически безупречный конфликт — между логическим выводом и практическим действием.

Логический вывод из прочитанного — самоубийство. Один из условных персонажей книги — Болтун — сравнительно легко преодолевает извечную коллизию между теорией и практикой: пройдя через соответствующие бюрократические процедуры, он получает талончик на официально разрешенное и официально ор-

ганизуемое самоубийство. Реальный фантастический читатель (причины фантастичности читателя очевидны) такой привилегии не имеет. Он вынужден обходиться кустарными средствами. Ему приходится в порядке личной инициативы самому добывать хороший крепкий гвоздь, прочную веревку, доброкачественную электродрель; самому посверливать дырку в железобетонной панели современной квартиры. Деревянную затычку в эту дырку ему тоже надо вбить самому — и так крепко, чтобы она не выскочила под тяжестью его тела. А раньше, чем все это добывать, надо сопоставить свой рост с высотой малогабаритной квартиры — иначе все хлопоты могут оказаться напрасными.

И наконец, когда все будет готово, может оказаться, что все его планы (и даже не осознанные им самим зародыши планов) давно уже хранятся в досье и папках Сотрудника. Ибо, как установлено новейшими социологическими исследованиями, стукачи человека — ближние его. Согласно засекреченным данным Социолога, стукачами являются 97,3% жен интеллектуалов (с разбросом 88,1—109,2%), 103,16% любовниц, 99,99% ближайших друзей и т. п. Поэтому подготовленное даже самым тщательным образом самоубийство скорее всего провалится, будет рассмотрено как диверсия против существующего строя и повлечет за собой заключение добровольного самоубийцы в психиатрическую тюрьму. А к этому не стоит стремиться добровольно и, самое главное, на это не стоит затрачивать столько усилий. Тем более что, не имея блага, вы наверняка не достанете ни хорошего гвоздя, ни хорошей веревки.

Поэтому приходится жить.

Прошу не рассматривать все написанное выше как чистую пародию или иронию. Конечно, какой-то элемент пародийного сгущения здесь присутствует, но ведь и сама книга насквозь пародийна, иронична, если слово «ирония» не слишком слабо для этой предельно горькой, перехватывающей горло сатиры. Может быть, ни Свифт, ни Салтыков-Щедрин, с которыми на суперобложке сравнивается автор, не достигали такой беспощадности взгляда, такой экспрессии отчаянья. Тут дело не в степени и характере таланта, тут дело не в том, чтобы «средствами художественной литературы заклеить...». Мне кажется, автор о художественной литературе даже и не думал, да и клей-

мать не собирался. Писала ли Анна Франк свой дневник с целью заклеить фашизм?

Как ни странно, эта почти лишенная эмоций (в их обычном восприятии), грубая, злая, местами непечатаемая книга воспринимается как лирический дневник. Вся книга есть не что иное, как страстное рыдание интеллигента, вопль удушаемого мозга, насилуемой и растлеваемой мысли. Все остальное в этом вымышленном обществе — отсюда. Вся античеловечность описываемого образа жизни, все гротескное изображение вымазанных красной икрой рыл, у которых «стало модно ходить с расстегнутой ширинкой», вся стабильность духовной Забегаловки и материальной Очереди, вся смесь слабого протеста и мощной трусости, честолюбия, лакейства, предательства и хищничества, вся нищета чувств и помыслов — все это результат запрета на мысль и слово. Насильственно культивируемое безмыслие, нарастающая духовная бедность насаждаются теми, чей интеллект обратно пропорционален их рангу. Аморальность здесь — следствие уклада, в котором господствует антимысль.

Бесмысленно спорить с фантастикой. Бесмысленно требовать, чтобы сатирический гротеск был написан по канонам учебника. Бесмысленно доказывать, что в реальной жизни причины и следствия можно поменять местами. Не хочется спорить с автором по поводу того, «изм» ли то общество, которое создали в Ибанске Потребители и Потребительницы Черной и Красной Икры, — и какой именно «изм». По-моему, Забегаловка — она и есть Забегаловка под вывеской любого «изма»: с пропусками на власть, икру и поездки в Париж, с платьями, расписанными по марле модной портнихой — и с талончиками на самоубийство. Что же до идеологической связи между основоположниками, с одной стороны, и Троглодитами и Сотрудниками — с другой, то такую связь от веку и при всех укладах провозглашали именно Троглодиты и Сотрудники. Причем тогда, когда косточки основоположников давно сгнили и возразить они не могут. Впрочем, я, кажется, оторвалась от фантастики и коснулась недопустимой реальности.

Не в том суть, «изм» это или не «изм». Да Зиновьев, собственно, и не занимается истоками и происхождением того страшного общества, которое он гипотетически рисует. Перефразируя выражение одного из его

персонажей, можно сказать, что его интересует не прошлое, а настоящее и — будущее в настоящем. Он не исторический труд пишет, а сатирическую оплеуху дает. Сатирическая же оплеуха несмываема и, несмотря на свою фантастичность, сама может войти в историю. Как, впрочем, и мрачное прогнозирование, до сих пор чаще бывшее уделом поэзии. Если обращаться не к щедро рассыпанным по «Зияющим высотам» образцам «безобразной поэзии», а к старой доброй классике, то эпиграфом к книге могло бы послужить особенно часто цитируемое в современных мемуарах блоковское:

О, если б знали, дети, вы  
Холод и мрак грядущих дней!

Читать эту книгу безмерно тяжело. Дышать нечем. Дух перехватывает от квинтэссенции подлости, зла, лжи, устрашающей безнравственности и тупости. Нет, читатель не смакует обработанный мастером «букет» коньяка, он, задыхаясь, с вылезавшими из орбит глазами, через силу глотает спирт-сырец невероятной крепости. Неужели никакого просвета нет в этом «темном царстве»? А оторваться все-таки не можешь. И когда прочтешь, становится почему-то легче. Почему бы? Может быть, потому, что отступать — некуда. Пусть зло преувеличено, пусть добро не берется в расчет, но, когда зло обозначено в такой откровенной, сгущенно-грубой, осязаемой форме, невозможно отвернуться, закрыть глаза и побрызгать вокруг одеколончиком.

Одна из мыслей, пришедших мне на ум (может быть, некстати) при чтении «Зияющих высот», это мысль, брезжившая еще тогда, когда я смотрела «Дон Кихот» в постановке Г. Козинцева. Нет, не когда читала Сервантеса, а именно тогда, десятка полтора лет назад, когда смотрела фильм. Теперь эта мысль вернулась и прорисовалась еще четче.

Что такое Дон Кихот, лишенный Санчо Пансы? И что есть Санчо Панса без Дон Кихота? В первом случае — дух, лишенный сострадательной человеческой любви, полет мысли без реальной плоти, без запаха очага, без житейских забот, свойственных большинству людей, — и потому чужой им. А что такое Санчо Панса без Дон Кихота? Превращение человека в Рыло, оскотинивание его, стремительное его падение — сначала до

морального уровня трезвого бакалавра Караско, а потом еще ниже — до животного независимо от наличия у него бакалаврского (или кандидатского) диплома.

Человечество не может оставаться человечеством без Дон Кихотов, то есть без свободной мысли, свободного полета фантазии, деятельной любви, деятельного благородства, без самоотверженности и чести. Но все это пропадет, сгинет, сгинет в грязи и насилии Рыл, если Дон Кихота не поддержит и не защитит Санчо — трезвый, от природы добрый, естественно честный, но хитроватый и обладающий неистощимым юмором Санчо. И уж навёрняка пропадет, если сам Санчо обратится в «рыло».

Может быть, это имеет какое-то касательство к проблеме взаимоотношений интеллектуалов с народом? Обычно этой темой мало интересуются и мало возлагают на нее надежд. Ну а все-таки?..

Автор, чей труд рассматривается здесь путем ненаучного анализа, не первый, кому предъявляется счет в грубости, безнадежности, беспросветности и так далее. И Джонатану Свифту, и нашему Михаилу Евграфовичу предъявлялись те же претензии: их произведения не переизобиловали «положительными типами». Чтобы не тревожить больше их великих теней, вспомним других писателей — рангом помене, а временем поближе. Социалиста Е. Замятина, например, с его антиутопией-предостережением «Мы». Антифашиста Дж. Оруэлла, которому принадлежит открытие феномена «двоемыслия» (ибанские «критиканы» сочли этот термин слишком почетным для себя), а также изобретение названий Министерств Правды и Любви. Плохо знакомого у нас Сашу Черного, чьи скорбные и пессимистические сатиры предварили песни А. Галича и кого вполне можно считать родоначальником «безобразной» поэзии. Правда, для научности ненаучного анализа одну оговорку придется сделать: все «злые» произведения упомянутых писателей были изданы и многократно переизданы у них на родине. Кроме Е. Замятина, А. Галича, ну и еще кой-кого. Ибанские «безобразные» поэты такой надежды не имели и в самый либеральный период истории, именуемый одними эпохой Реабилитанса, другими — эпохой Растерянса. Заметим при этом, что, скажем, двухтомник «Сатир» Саши Черного, с достаточной злостью изобразившего не только современных ему Мыслителей, Претендентов и

Супруг, но и некоторых Политических Деятелей и Сотрудников, все же вышел в Санкт-Петербурге в 1910 году, в самый разгар политической реакции. Уж подлинно, куда ихним Сотрудникам до ибанских! Мальчишки и щенки!

Я вспомнила все эти имена не для того, чтоб искать литературных предшественников или предтеч А. Зиновьева — наоборот, чтобы показать, что никаких литературных предшественников у него, по существу, и нет. Как по переполняющему книгу содержанию, так и по форме произведение А. Зиновьева абсолютно уникально. Все упоминавшиеся мной писатели были именно профессиональными писателями, художниками по преимуществу. Экстраполировали ли они во время или в пространство, погружали ли политику в быт, создавали ли сюжет или искали символические образы (вроде «чижика съел»<sup>1</sup>!), — они имели дело с искусством и с материалом жизни, переплавленным в искусство.

В случае А. Зиновьева мы имеем дело и с другим автором, и с другим произведением. Как я уже говорила, автор, по-моему, не претендует на художественность, на искусство. Он претендует на полуфантастический репортаж. Стараясь точно осмыслить факты, он издевательски интерпретирует их; научно (или якобы научно, кто его знает?) излагая события, он их безудержно пародирует.

А получается искусство. А получается социальная фантастика. А получается сатира. Как получается — тайна.

«Зияющие высоты» поначалу производят впечатление сумбура. Это ложное впечатление. (Напомню, что на некоторых читателей такое же впечатление произвел роман У. Фолкнера «Шум и ярость». Этим я вовсе не хочу поставить А. Зиновьева рядом с У. Фолкнером в «литературном прејскуранте» — просто отмечаю, как обманчиво бывает первое впечатление.) Книга напоминает не о беспорядке и сумбуре, который, как мы знаем из литературы, бывает в доме *после* обыска, а о целенаправленном отборе и упаковке материалов *перед* обыском. Конечно, торопятся. Конечно, в чемодан швыряют материалы, не очень заботясь о последовательности — потом разберутся. Но отбирают то, что считают нужным.

<sup>1</sup> Из сказки Шедрина «Топтыгин».

Автор точно (или почти точно) фиксирует некие факты, одновременно резкими и грубыми штрихами рисуя очень схожую карикатуру. Потом он наводит на изображение безжалостный и яркий свет мысли и показывает, как фантастично выглядит реальность в этом бескрасочном и слепящем свете. Он точно (или почти точно) показывает взаимоотношения групп и личностей в рисуемом им обществе и прочерчивает линию возможного развития этих возможных взаимоотношений. Все обнажено и высвечено под прожектором интеллекта. Это одновременно и логика, и социология, и пародия на них. Это одновременно и фотография, и сатира, и дневник, и мемуары, и фантазмагория. И псалом и анекдот. И философствование и насмешка над философией. И лирический плач сквозь зубы, и нарочито разнузданная, похабная «сортирность». И все это втекает друг в друга и вытекает одно из другого. Здесь разъятый, разобранный до последнего винтика и бесповоротно осужденный механизм запрещения мысли. Вот он — въяве, и въяве — спроецированное его следствие. Если правомерно такое определение, это логический гнев, гнев самой мысли против бессмыслицы. И тем сильнее очень редкие, очень короткие среди этой выверенной сатиры взрывы эмоций, проблески страстной горечи.

Я, по крайней мере, ничего подобного этой книге не читала, не знаю. Тут даже неуместно говорить о том, с чем ты в книге согласен и с чем не согласен. Все равно как спрашивать, согласен ли ты с протопопом Аввакумом или с Экклезиастом.

А к тому же с Зиновьевым одинаково опасно как соглашаться, так и не соглашаться. Нет, опасно не в ибанском смысле, а в чисто интеллектуальном. В отличие от Аввакума и Экклезиаста он написал не проповедь, а книгу *насмешливую*. Он обличает, издеваясь, и смеется, презирая. Для критика всегда есть опасность попасть впросак, приняв гипертрофистическую выдумку. Причем смех здесь, заметим, не щадит никого — не только Троглодитов и Рыл, но и друзей, возлюбленных, единомышленников и сотворцов. Что-то достоверное есть, например, в разговоре Болтуна с Мазилой, когда Болтун ставит ехидный «экспериментаторский» вопрос: что было бы, если бы нас с тобой приласкали? Это вовсе не личный вопрос, это нравственная, психологическая и социальная проблема целого слоя так называемых интеллектуалов.



Я записываю свои беспорядочные мысли об этой книге после того, как ее прочла, но уже не имея ее на руках. Мне и труднее и легче о ней писать, потому что я полностью отстранена от реальной среды, давшей автору толчок к творчеству, послужившей исходным материалом для сатирических этюдов и полуфантастических построений. Я не знаю никаких прототипов этих абстрактных, как неоднократно подчеркивает автор, персонажей. Ни с одним из них я не заседала на кафедре, не участвовала в совещаниях, не стояла в очереди за гонораром, не ходила ни к парикмахеру, ни к портнихе, не пила чай, ни кофе, ни коньяк. Если как читатель (то есть как отстраненный зритель социальной драмы) я кое-кого из них не угадываю, я могу в одном случае расхохотаться и заплодировать, в другом — возмутиться и освистать. Но суть самой социальной драмы я вижу ясно. Я, читатель, могу расхотиться (и вероятно, расхожусь) с автором по многим вопросам. Автор как человек может быть в иных случаях несправедлив, зол и пристрастен. Но как сатирик он *беспощадно прав*. И главная его правда в том, что я, читатель, чужой, посторонний, с другой точки глядящий, никого в лицо не знающий, — я их узнаю. Я узнаю не отдельных людей, а *социальный слой*. Я их *знаю*. Знаю, несмотря на абстрактность, на отсутствие психологии, на скудость бытовых реалий. А разве нам нужно знать психологию «органчика»? Или господ ташкентцев? Ну пусть я видела других, не этих, но вполне готовых или потенциальных Троглодитов, и Мыслителей, и Кисов, и Сотрудников, и Супруг. Из других, правда, областей деятельности. Какая разница?

Разумеется, за более чем семидесятилетнюю жизнь я видела не только их. Я видела честных, и героических, и самоотверженных, и добрых. Но...

Но почему-то темы эти  
У всех сатириков в тени  
И все сатирики на свете  
Лишь ловят минусы одни <sup>1</sup>.

Когда действительность в изобилии поставляет материал для гневной сатиры, она появляется. Когда честным затыкают глотку, самоотверженных поливают грязью, добрых ожесточают, а героических переводят на удобрение — она появляется. Появляется вопреки

---

<sup>1</sup> Саша Черный.

несбыточной голубой мечте всех Правителей на свете — иметь благоприличную, пристойную, ручную сатиру. Мало того — иметь гениев ручной сатиры.

Ручных сатириков сколько угодно, но гениев и талантов среди них почему-то нет. Ни Щедрины, ни Свифты, ни наши современники — Бертольты Брехты и Курты Воннегуты — среди них не родятся. Задача для учеников первого класса и Заместителей Второго ранга: почему?

Ах, как возмущенно и трогательно возмущаются Заместители и Заведующие всех рангов «беспросветным пессимизмом» сатириков, их грубостью и неприличием, отсутствием у них «светлых», «положительных» образцов!

Так поговорим о пессимизме и оптимизме.

«Беспощадный пессимизм», который ставят в вину сатирикам, ни для одного человека на свете никогда не был и не может быть целью и смыслом жизни. Человеку свойственно стремиться к счастью («Я в этот мир явился голый и шел за радостью, как все...»<sup>1</sup>). Между нами говоря, я подозреваю, что и самому Шопенгауэру иногда хотелось улыбаться. Конечно, и пессимизм и оптимизм, как все на свете, может быть модой. Но живое оптимистическое мироощущение и мировоззрение вырастают только на материале *живой* жизни. Люди радуются, когда им хорошо, и грустят, когда им плохо. Это так просто.

Однако существует еще такое понятие, как казенный оптимизм (о казенном пессимизме, кажется, никто никогда и не слыхивал). «Оптимизм» такого образца производится искусственно — как та синтетическая икра, о которой упоминает А. Зиновьев, но распространяется гораздо шире, хотя усваивается не лучше. Расфасованным и упакованным в стандартную идеологическую тару суррогатом оптимизма снабжаются обычно широкие массы — наряду с отштампованными пластмассовыми репродукциями некогда живых идеалов. Это — ширпотреб. Хозяева жизни не нуждаются для себя ни в том, ни в другом.

Но люди не могут постоянно питаться синтетическими продуктами, дышать искусственным воздухом и выдавливать из себя улыбку, когда им хочется плакать. Крушение идеалов — почва, на которой живой оптимизм не произрастает. Именно потребность в глотке естественного воздуха, в свободном движении мысли,

<sup>1</sup> Саша Черный.

в открытом излиянии чувств обращает мыслящих и чувствующих людей к пессимизму там, где оптимизм навязывают им силой. Ибо казенный оптимизм не имеет никакого отношения к реальным идеям, мыслям, страданиям и даже радостям людей.

Пессимизм — естественное органическое следствие крушения идеалов. На заре моей молодости люди бесстрашно отдавали за эти идеалы жизнь. Были ли они, те идеи и идеалы, живыми, героическими и прекрасными? Да, были. И рождали живой оптимизм. Но их больше нет. Они не изменились, как полагают одни, не родились неизменными и античеловечными, как утверждают другие, не остались святыми и непорочными, как думают третьи. Их просто нет, не существует вживе. «Умер Великий Пан». То, что не вдохновляет больше на героизм и самоотверженность, не внушает надежд, не рождает чувства счастья, — нельзя считать живым. Идеи и идеалы смелых, честных и человеческих людей, именовавшихся революционерами и восставших против грязи, злобы и подлости старого мира, погибли вместе с этими людьми (а может быть, и раньше их). Это не значит, что последующие поколения имеют моральное право устраивать свалку на их могилах. Старый мир был достаточно подл, уродлив и бесчеловечен (читай того же Салтыкова-Щедрина) — и его антагонисты были правы. Так допустимо ли теперь — и теоретически и морально — взваливать на противников этого мира ответственность за то, что узурпаторы их имени вырастили на его обломках еще более ядовитые грибы?

Но это опять же история...

Многие мыслители — в том числе и революционеры — предостерегали от *создания* «нового» деспотизма. Не послушали. Многие художники — в том числе и революционные — предупреждали об опасностях *укоренения* такого деспотического общества. Не послушали. Теперь художник — философ и математик — сигнализирует об угрозе *развития* такого общества. Он молод относительно. Во всяком случае, он пришел в этот мир как мыслящее существо уже после того, как мир стал тем, что он есть. Этот наличный мир и его тенденции он и исследует, оставляя за порогом исследования самую историю превращения. Понять его можно. Он — не историк. Теоретически автор сатиры знает, конечно, что под видимым «бурьяном зла» погребены не только трупы

миллионов людей, но и трупы великих идей. Но гласное зло для него — тот бурьян, что наступает ныне, что грозит затопить и задушить все живое в мире. Охрипнув, автор кричит и предупреждает. Тут его сатирический пессимизм более чем уместен. Он вливает глоток спирта-сырца в рот замерзающему.

Услышат ли? Те, кто слышит и мыслит, не так уж сильны. Те, кто обладает силой, не умеют ни слушать, ни мыслить. И они не замерзают — они предпочитают французский коньяк.

Человек — затоптанный и растоптанный, идеал — загаженный и окровавленный — достаточное основание для пессимизма. И потому я, с юности воспитанная «в духе оптимизма», сегодня понимаю А. Зиновьева. Не обязательно соглашаюсь, но — *понимаю*. Это много — понимать друг друга. Мне доступен его пессимизм, хотя мой — несколько иного склада. В чем-то безнадежнее: я не верю не только в мудрость выдающихся Заведующих, но и в гуманизм выдающихся Президентов — и в человечность милосердных Банкиров я не верю тоже. В чем-то светлее: я все же продолжаю верить в человеческое сердце, в человеческую солидарность, в благородных Дон Кихотов и их верных оруженосцев.

Их мало. Их очень мало. Но я надеюсь (надежда ведь неистребима), что их будет рождаться все больше и они помогут человечеству выбраться из той грязной ямы, откуда я пока не нахожу выхода.

Так, может быть, именно пессимисты оздоравливают и приуготовляют для Дон Кихотов нашу планету, на которой иначе можно было бы задохнуться от сладкой вони казенного оптимизма?

И потому я приветствую появление книги А. Зиновьева. Она, во всяком случае, учит полузабытому искусству: мыслить и — не соглашаться.

## «НА КРУГИ СВОЯ...»

Потянуло знакомым запахом. У нас, стариков, чутье к новому, естественно, слабее, чем у молодых. Зато спектр ассоциаций у нас гораздо богаче. На повтор, на подражание наше ухо, глаз, чутье отзываются немедленно: *это* — или похожее — мы уже видели, слышали, читали. Наблюдая некую последовательность явлений, мы можем вывести из нее некие закономерности.

Так, мы пережили 30-е и 40-е годы. Мы неоднократно наблюдали повторяющиеся периоды, когда печать и докладчики вдруг взмахивая начинали кричать о шпионах и диверсантах, призывать к бдительности и «давать отпор вражеским попыткам». Как выяснилось гораздо позже, это вовсе не значило, что шпионов вдруг становилось значительно больше или что раскрыт какой-то страшный заговор. Это просто значило, что читателей и слушателей психологически готовят к новым репрессиям.

Поэтому сегодня мы очень хорошо понимаем, откуда несутся знакомые запахи.

Я вовсе не отрицаю наличия в современном мире шпионажа: смешно было бы отрицать его в XX веке, при наличии мощных соперничающих сверхдержав. Все мы прекрасно понимаем значение аббревиатур: ЦРУ, КГБ, какие там еще? Но на основании того же исторического опыта легко установить, что, когда речь идет о подлинных или даже предполагаемых агентах иностранной разведки, такого шума не устраивают. Тем более что техника шпионажа усовершенствовалась — и в красочных услугах Мата Хари или Джеймса Бонда более не нуждается. Для подлинной охраны государства печатанье в газетах шпионских детективов бесполезно или даже вредно.

Кому же это нужно?

Многие бывшие узники сталинских лагерей и тюрем, вспоминая годы заточения, недоумевали: где же были действительные шпионы? Ответ прост: там, где охрана государства подчинена *охранке*, то есть внутренней тайной полиции, преследованию подвергаются не столько шпионы, сколько те, кого *шпионами надо изобразить*. Кого надо таковыми изобразить, зависит от эпохи и обстановки. Так, в 30-х годах шпионами объявляли всех почти троцкистов, бухаринцев и тех, кого провозглашали троцкистами и бухаринцами. А кто были тогда сторонники Троцкого, затем — сторонники Бухарина? Несогласные. *Несогласные* — в чем бы то ни было — с генеральной линией, с руководством, с властью. По забавному обратному переводу на старинный язык религиозных разногласий, несогласные сейчас именуется модным словом «диссиденты». Тогда были оппозиционеры, сейчас — диссиденты, но принципы традиции были установлены еще тогда: всякий, в чем бы то ни было не согласный с властью,

есть враг (по-нынешнему — «отщепенец»). А враг скорее всего — шпион. Логика при этом такова: всякий несогласный с властью есть ее враг; власть — народная, следовательно, враг власти — враг народа; внутренние враги ищут поддержки у внешних; к ним, прежде всего, относятся разведывательные органы некоторых иностранных государств; следовательно...

Так можно вывести все что угодно из чего угодно. Помнится, одна моя гимназическая подруга из чистого озорства написала однажды на вольную тему сочинение: «О влиянии Пинских болот на эмансипацию женщин». И очень последовательно, зацепляя один тезис за другой, обнаружила это «влияние» в Пинских болотах.

С помощью такой же логики, но уже без всяких шуток, нам сегодня внушают, что люди, добивающиеся свободы мысли и протестующие против нарушения гражданских и человеческих прав в нашей стране, есть пособники и наемники иностранных разведок. А кроме того — уголовники: валютчики, тунеядцы, спекулянты, пьяницы и развратники.

Доказывать при этом ничего не надо: стереотип изображения вымышленного врага создан еще лет сорок назад, как и схема «легенды». Что именно говорят, думают и делают эти неведомые диссиденты, никто не знает и знать не может, ибо их подлинные, неперетолкованные стремления, деяния и объяснения нигде не сообщаются. Зато задолго до начала судебных процессов средства массовой информации широко распространяют материалы, цель которых — заранее внушить отвращение к будущим подсудимым. Вина их не только не доказана в судебном заседании, но даже следствие по их делу не закончено (а то и не начато), а уж печать всюду, трубит об их «преступлениях».

И это мы помним, это тоже было. Ныне чуть модернизируется разработанный в сталинские времена *метод*. «Связь с иностранной разведкой» приписывалась всем обвиняемым на политических процессах 30-х годов и огромному количеству арестованных, осужденных заглазно так называемыми «тройками». Читая и слушая сегодняшние пропагандистские материалы, узнаешь знакомый почерк, но видишь и редакторскую руку эпохи. Так, и тогда и теперь сам факт ареста в глазах многих служит доказательством виновности (правда, появились уже люди, для которых разобла-

чение Сталина не прошло зря, и в их глазах тезис «у нас зря не сажают» потерял свою убедительность). Шпионаж, как тогда, так и теперь, служит главным, тяжелейшим обвинением, главным козырем властей в игре. Но сегодня к измышлениям о шпионаже в непропорционально большом количестве примешиваются обвинения в уголовщине<sup>1</sup>. И это понятно: тогда никто не утверждал, что у нас в стране нет политического разномыслия; наоборот, везде и всюду, в любой хозяйственной неудаче искали умысел политических преступников — вредителей, диверсантов и, конечно, шпионов. Сейчас задача другая: поскольку скрыть наличие инакомыслящих уже невозможно, требуется изобразить дело так, будто судят их не за их *убеждения*, а за уголовные деяния. Есть еще одно нововведение по сравнению с 30-ми годами — густой антисемитский запах, идущий от обвинений в сионизме. Что такое сионизм, тоже никто толком не знает, но зато все знают, что сионисты — евреи. А для антисемитского сознания этого достаточно: с евреями у антисемитов хорошо сочетаются все отрицательные явления.

Впрочем, если это ново, то только по сравнению с 30-ми годами. Уже в 40-х начало антисемитской травле, как известно, положил Сталин. Раньше, чем состряпать знаменитое «дело врачей» — с детективными политическими убийствами, с вымышленной шпионской сионистской организацией «Джойнт», — широко использовался метод массовой антисемитской пропаганды. С 1949 по 1953 год наша пресса была наводнена «разоблачительными» фельетонами, пестревшими еврейскими фамилиями. Та же психологическая подготовка!

\* \* \*

Разумеется, суда над членами Хельсинкской группы еще не было, и я не могу ни предрекать приговор, ни авансом опровергать его. Разумеется, ни для суда, ни для следствия не имеет ни малейшего значения, что я, автор данной статьи, ни на минуту не верю, что член-корреспондент Армянской Академии наук

---

<sup>1</sup> В сталинские времена уголовщина лишь иногда служила легким фоном для главного политического обвинения. Так, знаменитого московского врача профессора Плетнева обвиняли не только в участии в заговоре против Горького, но и в сексуальной нечистоплотности по отношению к пациентам.

Юрий Орлов — клеветник, а распорядитель фонда помощи жертвам репрессий Александр Гинзбург — спекулянт (или наоборот). Никак не может быть для меня убедительным и мгновенное, без суда и следствия, объявление шпионом Анатолия Щаранского. Не собираюсь я здесь заниматься юридической защитой арестованных, предвосхищая прения с будущим прокурором. Вероятно, это лучше меня сделал бы профессиональный адвокат — при условии, что его допустят ко всем документам и гарантируют ему самому отсутствие преследований (случаи репрессий адвокатов за добросовестную защиту у нас уже бывали)<sup>1</sup>. Да и недостаточно знаю я — или вовсе не знаю — тех людей, импровизированные обвинения которых вызывают у меня законное недоверие. Но в свете моего личного и исторического опыта меня интересует другое: как ухитряются все знать наперед «Известия» и «Литературная газета»?

Несколько лет назад — то ли в качестве аппендикса эпохи «оттепели», то ли в целях выпуска пара — в той же «Литературной газете» появились либеральные размышления двух-трех юристов. Они писали, что нельзя организовывать в печати общественное мнение против людей, чья вина не доказана в судебном заседании. О том, что адвоката следует допускать к подзащитному и к материалам следствия еще на стадии следствия. О недопустимости предвзятого отношения к свидетелям защиты. Ну и еще кой о чем.

Как же в свете этих либеральных размышлений выглядит подписавший их в печать редактор А. Чаковский, который ныне, глазом не моргнув, подписывает в печать подлую статью Петрова-Агатова, в то время как бывшему сокамернику автора А. Гинзбургу еще даже не предъявлено обвинение? Как насчет того, что нельзя заранее организовывать общественное мнение?

Понимаю: мои риторические вопросы даже в качестве риторических звучат наивно. Редактор любой газеты в своем кругу может вполне искренне сказать, что он не знает случая оправдания по суду обвиняемого по политическим мотивам (как бы официально ни формулировалось обвинение). Он скажет правду. Досрочное

---

<sup>1</sup> Как стало известно уже после того, как статья эта была написана, иностранным адвокатам, согласившимся защищать членов московской группы «Хельсинки», отказано в визах на въезд в СССР.



освобождение — бывает. Перевод из обвиняемых в свидетели (если подсудимый «сотрудничает» с обвинением) — бывает. Реабилитация — было. Посмертная реабилитация — ого, еще как было! Даже освобождение и признание невиновными помимо судебной процедуры — и то было, в том же «деле врачей». Но чтобы так, ни с того ни с сего, человека, судимого по политическому обвинению (или инакомыслящего, судимого по вымышленному уголовному обвинению), выпустили из зала суда оправданным (а он даже не давал «откровенных показаний») — такого я не припомню, во всяком случае, в тех процессах, которые освещались в печати. Поэтому редактор, выполняя свои прямые обязанности, начинает заранее готовить читателей к вынесению обвинительного приговора. И чем гуще грязь, которой он обливает человека, у коего заткнут рот и связаны руки, тем эффективнее его журналистская деятельность. Не то чтобы он был так уверен в безошибочности нашего правосудия, просто он уверен, что «на выпуск не сажают», как говорила одна простодушная узница 30-х годов.

К тому же некоторые «покаянные» письма появляются отнюдь не в результате журналистской инициативы. Иные из них могут послужить не только психологической подготовке читателей, но и так называемой «юридической» подготовке процесса. Ну зачем, скажем, Петров-Агатов в своей слезнице мельком упоминает, что в Тарусе, где жил Гинзбург, произошло несколько краж старинных икон? Ведь он, Петров-Агатов, не утверждает, что эти кражи совершил — или организовал — Гинзбург. Однако упоминание это сделано в контексте, вполне способном поощрить любого сидящего в калужской или другой тюрьме рецидивиста сделать соответствующее заявление и дать соответствующие показания. Что его может удержать? Совесть?

Особенно характерно письмо Липавского (Известия. 1977. 4 марта). Еще за неделю до опубликования этого письма автор его находился в самых близких, дружеских и теплых отношениях с Анатолием Щаранским, которого он теперь «разоблачает». В письме он пишет, что начал «более осмысленно и объективно разбираться в событиях». Когда именно начал разбираться? За неделю до написания письма? Немыслимо. Для сочинения, написания, отправки и комментирования этого детективного эссе и месяца мало. Следова-

тельно, Липавский *в течение длительного времени* действовал одновременно и как «диссидент», и как стукач, сочиняющий клеветнический донос на своих друзей. Такое совмещение не имеет другого имени, как *провокация*. Честный человек, убедившись, что ему не по пути с его бывшими друзьями, прямо объявляет им об этом и рвет с ними, а не продает их, служа и нашим и вашим. Поэтому веры провокатору в любом случае быть не может. Будет ли Липавский выступать свидетелем обвинения против Шаранского, включат ли его в состав подсудимых в качестве очередного Добровольского или Якира — он напишет, подпишет и скажет все что угодно...

Не помешает ли это вынести приговор? И кто объяснит сегодняшнему читателю газет, что такое провокация, ложный донос и так называемое «чистосердечное раскаяние»? Мы-то, старые люди, все помним: и показания Радека, и обвинительные речи Вышинского, и знаменитую Лидию Тимашук, задолго до суда над врачами возведенную в «героини», а после реабилитации врачей исчезнувшую из памяти людей — и из жизни тоже.

В том-то и беда нашей страны, что из сознания следующих поколений запретом на мысль, как резинкой, стирается историческая память. А она необходима для понимания сегодняшнего дня.

Кто и где расскажет нынешнему двадцатилетнему или тридцатилетнему то, что знаем мы, старики? Чтобы *забыть*, или *не знать*, или *не помнить*, даже оруэлловского переписывания прошлых газет не надо. Кто это роется в архивах, поднимает подшивки газет за десятки лет? Единицы, допущенные в архивы. А миллионы читают сегодняшнюю газету и смотрят сегодняшнюю телепередачу. И там ясно сказано, что шпионы, они же сионисты, уголовники и отщепенцы, — с одной стороны, совершенно бессильные, а с другой — чрезвычайно опасные — с помощью иностранных агентов пытаются подорвать нашу державу. И это вполне укладывается в воспитательный детектив.

Пусть это пишется по-газетному суконно, дешево, неубедительно, с фальшивым пафосом, с логическими неувязками. Но ведь ничего другого, противоположного, не пишется! Откуда же возникнуть сомнениям? Вот в связи с готовящимся 60-летием Октябрьской революции по телевидению передается многосерийный

фильм «Наша биография»: каждому году посвящена передача. Сейчас идут 30-е годы. Фильм «Год 32-й»: строительство новых заводов есть, первые тракторы — есть; голода на Украине — нет. Фильм «Год 37-й»: перелет Чкалова есть; фальсифицированных процессов и массовых расстрелов — нет. То, что может наводить на неудобные ассоциации, просто вычеркнуто — из истории, из литературы, из кино, вообще отовсюду.

Мы помним, как менялась страна, мир, идеология, культура, социальные и людские взаимоотношения. Но мы скоро умрем. А серия «Наша биография» — фальсификация подлинной биографии страны — останется.

Сейчас в студиях телевидения идет, вероятно, подготовка к последней передаче — «Год 77-й». Это нынешний год, мы в нем живем, история продолжает вершиться на наших глазах. И одновременно создается ее специфическое «освещение»: тут же, при нас, кипит похлебка, стряпается варево из показаний провокаторов, еврейских фамилий, какого-то таинственного К., каких-то инструкций, переданных Липавскому через «тайник» (зачем, если он чуть ли не ежедневно встречался со своими иностранными «приятелями?»), из старинных икон, сертификатов и еще, и еще...

Что горит во мгле?

Что кипит в котле?

*А. С. Пушкин.*

*Наброски к «Фаусту»*

Что сварится — посмотрим в обвинительном заключении. Но рецепт очень уж знакомый. По такому рецепту готовились и процессы 30-х годов, и дело Сланского, и дело врачей. Любителем таких острых блюд был, как известно, Сталин.

Выше уже говорилось, что сегодня, приготавливая дежурное блюдо, нельзя обойтись без такой специи, как уголовщина. Потому-то так щедро сыплются уголовные обвинения на тех, кто в чем-либо не согласен с властями.

Действительно ли они — уголовники или уголовниками их нужно *изобразить*, так же как нужно изобразить шпионами?

Опять же оговорюсь: я — не юрист, не собираюсь заниматься юридической квалификацией деяний подследственных. Я нормальный здравый человек —

пытаюсь сопоставить действительность с обвинениями, формулируемыми печатью.

Так, Владимира Буковского наша пресса именует не иначе, как «уголовником, выдворенным за пределы СССР». И в этих пяти словах дважды лжет. Во-первых, не уголовник, а политический заключенный. Во-вторых, не «выдворен», а обменен на политического заключенного Чили, Генерального секретаря Чилийской коммунистической партии Луиса Корвалана. Об этом обмене знает весь мир — и только советская пресса не сказала о нем ни слова. Почему? Если сам факт такого обмена компрометирует СССР, зачем его произвели? Если он закономерен, почему его скрывают от советского народа?

Владимир Буковский был приговорен к семи годам тюрьмы и пяти годам ссылки за то, что сообщил за границу факты о заключении в психиатрические тюрьмы людей, критиковавших действия правительственных органов. Отбывал он срок во владимирской тюрьме по статьям 70 и 190<sup>1</sup> — статьям, явно противоречащим Советской Конституции, но никаких уголовных деяний не предусматривающим. Ни шпионажа, ни валюты, ни насилия Буковскому даже не инкриминировали, а провокатор, пытавшийся всучить ему множительный аппарат, в этом деле не преуспел (впрочем, даже Николай II не считал печатание листовок уголовным преступлением). Однако статьи 70 и 190<sup>1</sup> искусственно включены в Уголовный кодекс (ибо политических заключенных у нас, как известно, нет) — и на этом основаны истошные крики об «уголовнике Буковском».

Можно включать что угодно, куда угодно. Но этим не пересиличишь нормальный здравый смысл. А этот нормальный здравый смысл, как и общенародная — даже наднациональная — мораль, диктует такое понимание: уголовник — это тот, кто жестокостью, обманом или насилием, в своих низменных интересах, отнимает у других людей имущество, свободу и даже жизнь. Короче, уголовник — это убийца, вор, грабитель, хулиган, насильник. Это понимают все. Любой честный человек, независимо от его взглядов, образования, национальности, поймет, что люди, подвергающие опасности только *свою* свободу, *свое* здоровье, *свою* жизнь, чтобы заступиться за других — беспомощных и беззащитных, никакие не уголовные преступники. И вообще не преступники.

Поймет-то каждый. Но чтобы понять, надо *знать правду*. А откуда узнают ее миллионы людей, если запрещена любая информация, кроме официальной? Ведь за то и преследуют членов Хельсинкской группы, за то и арестовывают их и обливают помоями клеветы, что они добиваются элементарных человеческих демократических прав, в том числе и права на свободу информации.

Действительно, страшные рецидивисты! Они хотят, чтобы в нашей стране каждый человек мог читать, писать, говорить и печатать то, что думает, ездить куда хочет, общаться с кем хочет и высказывать свое мнение — пусть и отрицательное — о тех или иных действиях своего правительства.

Так кто же совершает преступление? Те, кто мирными средствами добивается свободы, или те, кто за это сажает честных людей в тюрьму?

\* \* \*

Перебранка, которую затеяла с западной прессой советская печать по поводу нарушений прав человека, очень напоминает классическую базарную (когда-то ее называли «трамвайной») ругань типа: «Сам дурак!», «А еще шляпу надел!». Обвинения со стороны Запада наши газеты пытаются парировать рассказами о том, как нарушаются права человека в западных странах.

Да, конечно, нарушаются. Кто может это отрицать? Капитализм — достаточно жестокий строй, и не такая уж «сладкая жизнь», как думают некоторые наши наивные люди.

Ну и что же?

Все контробвинения советской прессы, даже самые справедливые, самоуничтожаются тем фактом, что приводимые ею примеры *взяты из американских, английских, французских, западногерманских и прочих газет*. Да, в странах буржуазной демократии нетрудно обнаружить насилия и беззакония, творимые и судами, и полицией, и правительствами этих стран. Но нельзя обнаружить запрет на разоблачение их. Граждане и пресса этих стран, обладая свободой разномыслия, могут открыто и публично протестовать против этих беззаконий, даже если инициатором их является правительство.

А у нас ни таких прав, ни таких возможностей нет.

Есть такая восточная поговорка: «От того, что будешь кричать «рахать, рахат», во рту сладко не станет». От того, что будешь кричать «социализм, социализм», — справедливости не прибавится. Чтобы социализм стал действительно социализмом, он должен не отменить буржуазные свободы, а превзойти их.

А что получается?

Недавно «Правда» напечатала интервью корреспондента ТАСС в США с негром-священником Беном Чейвисом, осужденным расистским судом по ложному обвинению.

Беседа происходила в камере тюрьмы, где содержится заключенный Бен Чейвис, и тот подробно рассказал советскому корреспонденту о махинациях суда и властей штата и о своем — пока безрезультатном — письме президенту Картеру, опубликованном в американских газетах.

Не знаю, будет ли, когда и как будет пересмотрено дело Бена Чейвиса и всей «уилмингтонской десятки» — борцов за гражданские права негров. Но знаю, что о *несправедливости приговора можно говорить вслух и в печати*. И знаю, что у нас в тюрьмах и лагерях сидят многие незаконно осужденные борцы за гражданские права. А где об этом можно сказать?

«Эрика» берет четыре копии...»<sup>1</sup> Для 250-миллионного народа этого, увы, недостаточно.

Ну давайте ответьте на буржуазную пропаганду контрпропагандой. Давайте попробуйте: допустите, скажем, к Сергею Ковалеву в лагерный барак корреспондента Ассошиэйтед пресс. Напечатайте в «Известиях» письмо Андрея Твердохлебова из якутской ссылки...

Как бы не так! Еще одиннадцать лет назад попытки говорить — не в печати, упаси боже! — о несправедливости приговора Синявскому и Даниэлю повлекли за собой новые увольнения, исключения, ссылки и аресты. А за эти одиннадцать лет мы далеко продвинулись к сталинскому идеалу.

И это тянется не годами, а десятилетиями.

2 апреля 1977 года «Правда» сообщила, что в Вашингтоне опубликован доклад специальной комиссии палаты представителей конгресса по расследованию убийств Джона Кеннеди и Мартина Лютера Kinga. В докладе устанавливается связь убийц Кеннеди с

<sup>1</sup> А. Галич.

ФБР и ЦРУ и убийц М.-Л. Кинга — с «ассоциацией бизнесменов».

Не торопится американская Фемида, явно не торопится! Со времени убийства Кеннеди прошло *четыре-надцать лет*, со времени убийства Мартина Лютера Кинга — немного меньше. Правда, американцы не перестают следить за этими делами — и вот им публично сообщают факты, компрометирующие такие секретные правительственные учреждения, как ФБР и ЦРУ.

Но со времени другого «убийства века» — убийства С. М. Кирова — прошло *сорок три года!* Со времени XX съезда КПСС, создавшего комиссию по расследованию обстоятельств этого убийства, — *двадцать один год*. Где эта комиссия? Что она расследовала? Что выяснила? Где можно прочесть об этом? Что известно советскому народу об этом убийстве, о его виновниках и инициаторе?

Нигде. Ничего.

Конечно, есть в нашей стране некоторое количество людей, которые *подозревают*, и еще меньшее количество людей, которые *знают*, что убийство Кирова, послужившее сигналом к массовым убийствам и провокациям, совершено органами НКВД (КГБ) по приказу Сталина. Но тех, кто знает, мало — и по законам возраста становится все меньше. Мало даже тех, кто помнит самый факт убийства (к примеру, автору данной статьи в 1934 году было *двадцать восемь лет*, сейчас — *семьдесят два*). А убийство Кирова было не единственным преступлением тех, на деяниях которых воспиталась историческая традиция, вскормившая сегодняшних «поваров острых блюд».

Подавляющее большинство советских граждан, даже инстинктивно остерегаясь самых поваров, понятия не имеют об этой исторической традиции. Потому что понятия не имеют о подлинной истории. И мы, пока мы живы, мы, знающие и помнящие, обязаны раскрывать им технологию лжи, технологию манипулирования общественным мнением. Ведь и нашим сознанием в свое время манипулировали — и мы обязаны рассказать *как*. Ведь и мы в свое время читали десятки таких обвинений, какие предъявляются сейчас... И все, что полагается, там присутствовало — свидетели, документы, вещественные доказательства... И только много лет спустя, когда многие и многие невинные уже погибли, все это признали ложью. Поэтому мы особенно

обязаны доказывать, что нельзя верить ни одному обвинению, которое запрещено публично опровергать.

\* \* \*

Лишенные возможности апеллировать к общественному мнению своей страны, советские, чешские, польские и другие борцы за гражданские права вынуждены обращаться к общественному мнению других стран. И нет ничего удивительного в том, что западные круги очень широкого спектра — от государственных деятелей до еврокоммунистических партий — их поддерживают.

При чем тут вмешательство во внутренние дела? О чем идет речь? Об интервенции? Об ультиматуме? О ловле рыбы в чужих водах?

Вмешательство в дела другой державы может быть *военным* (из множества исторических примеров назову только войну США во Вьетнаме и оккупацию Чехословакии в 1968 году войсками Варшавского Договора); *дипломатическим* (для примера — ультиматум лорда Керзона Советскому Союзу в 1923 году); *экономическим* (см. историю взаимоотношений США со многими латиноамериканскими странами). Но идейного «вмешательства» в дела другой страны не может быть по самому существу этого явления, *по определению*, как говорят ученые. Никакое международное право не запрещает гражданину одной страны выражать свое *мнение* по поводу дел в другой стране. Нас всегда учили, что в наших отношениях с капиталистическим миром обязательной и неотменимой является *идеологическая борьба*. Но всякая борьба предполагает как минимум две стороны. Так что же: когда мы пишем о «запрете на профессии» в ФРГ — это идеологическая борьба, а когда западногерманское радио сообщает об увольнении советских ученых за их разногласия с властями — это вмешательство в наши дела?

По какой логике?

А никакой логики и не нужно. Просто: наши критические высказывания о пороках и язвах капиталистического общества (которых достаточно и о которых свободно говорят и пишут противники капитализма на Западе) — это идеологическая борьба. А вот их критические высказывания о пороках и язвах нашего общества (которое нам запрещено называть иначе как



социалистическим) — это вмешательство в наши внутренние дела. И тот, кто с такой логикой не согласен, — отщепенец и внутренний враг.

Я давно уже верю в мораль обычных людей больше, чем в мораль высокопоставленных государственных деятелей — к какому бы политическому лагерю они ни принадлежали. Я давно знаю, что за хорошими, чистыми и высокими словами могут скрываться корыстные, низменные интересы власти, господства, наживы. Знаю и то, что моральные соображения и личная выгода могут иногда очень удачно переплетаться.

Но какое мне дело, по каким мотивам иные западные деятели поддерживают А. Сахарова, В. Буковского, Ю. Орлова, А. Гинзбурга и других? Налицо факт: они поддерживают честных, смелых и благородных людей, борющихся за демократические и человеческие права граждан нашей страны.

Среди членов Хельсинкской группы и среди деятелей, которые их поддерживают, есть люди, взглядов которых я не разделяю. Но единственная надежда нашей страны — надежда на достижение свободы высказывания различных, в том числе и противоположных, взглядов. Цели, которых добивались арестованные члены Хельсинкской группы и добиваются сейчас их друзья, включают в себя и свободу информации, и свободу совести, и свободу печати, и свободу выбирать себе место жительства, и всеобщую амнистию политзаключенных, и многое другое. Но среди этого многого другого нет ни наживы, ни насилия, ни личной выгоды. И поэтому — что бы ни написали в обвинительном заключении — судить членов Хельсинкской группы будут все-таки за защиту прав человека.

*Март — апрель 1977 г.*

Р. С. Все это было написано прошлой весной, одиннадцать месяцев назад. С тех пор отпраздновали 60-летие Октябрьской революции и 70-летие Л. И. Брежнева, опубликовали проект новой Конституции и превратили его в Закон, с большой помпой (в доказательство расширения культурных связей с Западом) провели в Москве Международную выставку-продажу книги, до хрипоты наговорились в Белграде...

А Юрий Орлов, Александр Гинзбург и Анатолий Щаранский продолжают сидеть в тюрьме, в строгой

изоляции (Орлов и Шаранский в Москве, в Лефортове, Гинзбург — в Калуге) — без адвокатов, без свиданий, без предъявления обвинений. Все сроки предварительного заключения давно прошли, но это как раз тот случай, о котором народная мудрость вещает: «Закон что дышло...» И поворачивают закон, куда хотят! А бдительная прокуратура слепыми глазами внимательно следит, чтобы закон добросовестно нарушался.

И невдомек стряпающим это «дело», что, чем больше они его затягивают, тем больше вылезает наружу, обнажается тенденциозность, предумышленность, недобросовестность обвинения.

В самом деле, возьмем «дело» Юрия Орлова. С самого начала было ясно, что ничего нельзя ему инкриминировать, кроме... Кроме рассылки главам правительств, подписавшим Заключительный акт (и в первую очередь — Советскому правительству), 19 документов, сообщающих о нарушении рядом советских государственных органов обязательств, подписанных в Хельсинки. Если судить его за эти документы, то ни года, ни девяти, ни даже трех месяцев не требуется. Разыскивать «вещественные доказательства» не надо: первые экземпляры всех документов аккуратно посылались в Верховный Совет СССР — и все в подшитом виде давно хранятся где надо. Никакой тайны из своей деятельности члены Хельсинкской группы не делали.

Но судить за это не хочется. (И понятно: суду штата Северная Каролина тоже вольготнее было судить «уилмингтонскую десятку» за поджог лавки, а не за борьбу против расовой дискриминации.) Во-первых, неудобно — особенно на фоне Белградского совещания — судить известного ученого за то, что он организовал содействие выполнению подписанных СССР международных обязательств. Во-вторых: объявить документы Хельсинкской группы клеветническими можно (все можно!), но *доказать* это при пристальном внимании международной общественности — доказать невозможно.

Стало быть, надо подыскать, найти, изобрести что-нибудь другое. Вот на что потребовался год (да, может, и его не хватит?). Вот уже год ищут, копают, вызывают на допросы десятки людей, в том числе и никогда не видевших Юрия Орлова, запугивают, запутывают... И к концу года объявляют родным: ага,

мы нашли... Будем судить Орлова не по 190<sup>1</sup> статье, а по 70-й — срок вдвое больший...

А в чем все-таки вы его обвиняете?

Молчание.

Александр Гинзбург тоже не делал секрета из того, что он возглавлял фонд помощи политзаключенным и их семьям. Об этом было объявлено всему миру, и в течение года с лишним в его адрес по легальным советским каналам шли деньги из-за границы.

Но опять же: перед лицом мирового общественного мнения трудно судить человека за то, что он организовал помощь голодным и преследуемым. Правда, в свое время Сталин вовсе не постеснялся преследовать и судить за это самого старого революционера Д. Б. Рязанова. Но времена были проще. Сколько бы сегодня ни кричала наша пресса о «вмешательстве», а что запросто делалось в 30-х годах, не звучит теперь. И значит, надо замарать стойкого и бескорыстного человека уголовными обвинениями. А это, хоть «дело» и сопряжено с деньгами, и имеет «на стреме» своих петровых-агатовых, не так просто, когда речь идет о человеке, известном своим бескорыстием и самоотверженностью. На все нужно время.

И Александр Гинзбург продолжает находиться в тюрьме более года. А обвинение ему все не предъявляют. Что-то с чем-то не komponуется.

Но больше всего хлопот доставляет нашей юстиции Анатолий Щаранский. Точнее, она сама себе доставила эти хлопоты. Чуть ли не сразу после ареста всему миру (кроме собственной страны) было объявлено, что Щаранскому инкриминируется сотрудничество с ЦРУ, то есть шпионаж. Тут на радостях было забыто все: и презумпция невиновности (то-то радовался бы А. Я. Вышинский!) — ведь подследственный еще не обвиняемый и тем более не осужденный; и то, что, прежде чем объявлять, надо бы хоть для приличия оставить минимальное время на расследование. Нет, все было объявлено заранее. Но если вы все знали уже в момент ареста — что ж вы его не судите? Зачем держите одиннадцать месяцев в тюрьме?

Тут, видимо, действуют какие-то другие — антиюридические, сказала бы я — факторы. И если есть тут «государственная тайна», то, мне думается, в действиях обвинителей ее куда больше, чем в действиях обвиняемого.

Однако нельзя сказать, чтобы за прошедший год повара острых блюд кое в чем не преуспели. Арестовано 11 членов Хельсинкских групп в различных республиках Советского Союза — двое из них, участник Отечественной войны писатель Руденко и учитель Тихий, уже осуждены на максимальные сроки заключения. А из членов московской группы по наблюдению за выполнением Хельсинкских соглашений — трое в тюрьме, двое в ссылке, трое вынуждены были уехать за рубеж.

Так что кое-чего «блустители порядка» добились. Только двух, самых главных своих целей они не в силах достичь: чтобы им поверило мировое общественное мнение и чтобы прекратилась в стране борьба за демократизацию, за права человека.

Не стоит пытаться предрешать вопрос о том, как будут проводиться процессы (или процесс?) Орлова, Гинзбурга, Щаранского. Но об одном обстоятельстве сказать надо.

Известно, что зарубежных адвокатов, которые берутся их защищать, к ним не допускают, а тех, кого им могут назначить, они, вероятно, сами не захотят. Напомним, кстати, что в 1922 году, в период ожесточенной классовой борьбы в Советской России, на процесс эсеров в качестве защитников приехали из-за границы ярые противники большевиков, деятели II Интернационала — Эмиль Вандервельде и другие. Если через шестьдесят лет после Октябрьской революции руководители советского правосудия боятся допустить на процесс Орлова, Гинзбурга и Щаранского иностранных адвокатов, то это нельзя рассматривать иначе, как убедительное доказательство шаткости позиции обвинения. Тем более что в отличие от подсудимых на процессе эсеров сегодняшние обвиняемые выступают не как политические противники данной власти, а как сторонники выполнения ею своих обязательств.

Почему бы участникам Белградской встречи не предложить Советскому Союзу и Соединенным Штатам Америки обменяться адвокатами? Почему бы не пересмотреть дело «уилмингтонской десятки» с участием советских адвокатов, а дело Гинзбурга, Орлова и Щаранского — слушать с участием американских, английских и других желающих адвокатов? И печатать в ведущих газетах стенографические отчеты судебных заседаний (как хотя бы при слушании дела Бейлиса)?

И пускать на эти заседания всякого, кто захочет?

Почему политическими заключенными обмениваться можно, а адвокатами — нельзя? Может быть, это послужило бы делу разрядки, делу гуманизма больше, чем заседания любых комиссий и подкомиссий.

Только вот те, от кого зависит ход событий, посчитают, вероятно, такое мероприятие «неконституционным». Ведь в их власти решать, что «соответствует» интересам строительства социализма, а что «не соответствует».

*Февраль 1978 г.*

## ВЫСКАЗАННОЕ И НЕДОСКАЗАННОЕ

*(Комментарий к дискуссии)*

В этой, казалось бы, сугубо теоретической и «литературной» дискуссии имеется подспудный, невысказанный или полусказанный подтекст. Даже несколько подтекстов: один — для «инстанций», второй — для одной части аудитории, третий — для другой. Поэтому действительные позиции выступающих маскируются декоративными, обоснованные обвинения рассчитанно направляются по ложному адресу — и подлинные мысли и эмоции ораторов лишь как бы случайно прорываются сквозь декор. Никто не говорит прямо то, что он думает, но *что* он думает — об этом догадаться нетрудно.

Одно становится безусловно ясным после ознакомления с записью дискуссии «Классика и мы»: классиков здесь не защищали, а эксплуатировали. Классика избрана была то ли в качестве защитного бастиона, то ли в качестве удобной стратегической позиции для того, чтобы свести современные счеты — и литературные, и, главным образом, нелитературные. Кому нужно это сведение счетов, становится более или менее понятным из встревоженной реплики секретаря Московского отделения Союза советских писателей Феликса Кузнецова:

— Дискуссия — ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ... Нам *позволили* (!!) ее провести, так как *хотят посмотреть* (!!) — способны ли мы на такую дискуссию, *зрелые ли мы...*

Видимо, не совсем по сценарию пошла дискуссия, ибо стенограмма ее сразу после окончания была изъята теми самыми инстанциями, которые «позволили»... Стоит ли еще раз подчеркивать степень «свободы» писателей, которым *позволяют* или *не позволяют* спорить даже о классическом наследии? Гораздо интереснее отметить, что принимавшие участие в дискуссии писатели и критики явно не выдержали экзамена на «зрелость». Не удержались в предписанных им рамках — и оказалось, что те, на кого рассчитывали, как на «зрелых», тоже не очень надежны.

\* \* \*

Трудно анализировать сокращенную запись, сделанную непрофессиональным стенографом и не проверенную оратором. Всегда может оказаться, что самодетельный стенограф что-то важное пропустил, что-то не так понял, что-то ненароком исказил. Но выбора нет: стенограмма — за семью печатями! Так же как нет у советского читателя возможности сравнить две точки зрения на сорванную «Правдой» постановку «Пиковой дамы» в парижской «Гранд-Опера». Безграмотное письмо Д. Жюрайтиса (написанное вполне в духе печально знаменитого «Сумбура вместо музыки») напечатано в центральном органе ЦК КПСС, а ответное письмо трех деятелей советского искусства — Ю. П. Любимова, Г. Н. Рождественского и А. Г. Шнитке — не напечатано нигде. Не напечатано, хотя, написанное в спокойных и корректных тонах, оно убедительно доказывает клеветнический характер утверждений Жюрайтиса.

В чем дело? Почему вопрос о том, как тот или иной режиссер ставит «Пиковую даму», или «Русалку», или «Три сестры», вызывает такой взрыв страстей, в которые вовлекаются (или которые вызывают) государственные деятели и идеологические органы? Театров у нас много, режиссеров — тоже, почему бы одному не ставить так, а другому эдак, а зрители будут выбирать? В чем опасность *такого* «инакомыслия» для идеологических органов и государства?

По мне, так ни для страны, ни для народа, ни даже для данного государства нет никакой опасности в свободном выражении различных взглядов его граждан на проект Конституции или на политику партии. Но в данном-то случае речь ведь идет не о Конституции.

Почему недопустимы различные взгляды даже на то, как ставить «Русалку»?

П. Палиевский в своем вступительном слове объясняет почему. Он бьет тревогу, кричит «SOS» по поводу опасности, грозящей якобы русской культуре со стороны «чужаков», «авангардистов», захвативших-де командные высоты в советской культуре. Попутно он высказывает ряд верных, хотя, в общем, известных истин (несоизмеримость масштабов между нашими писателями и классиками; образ человека, заключенный в Пушкине, далеко не осуществлен; классику в современности нельзя рассматривать вне борьбы современных литературных течений и проч.). Не могу утверждать, что ничего более глубокого Палиевский не сказал: возможно, тут повинна несовершенная запись. Но то, что он *сказал* и что отражено в записи его речи, требует возражений, тем более настойчивых, что выводы его: а) основаны на *прямой неправде*; б) представляют собой открытую *попытку реабилитировать сталинское наследие*; в) маскируют идеологическую позицию якобы литературными соображениями; и наконец, главное — *направлены на то, чтобы покончить с теми слабыми проявлениями разномыслия, которые появились в нашем обществе в конце 50-х годов.*

Итак — а) *прямая неправда.*

«В момент возникновения нового общества,— заявляет Палиевский,— произошло нечто, что классиками не предполагалось: у классиков появился могучий противник — искусство авангарда, предложившее свои *нормы и понятия. В образовавшемся пространстве авангард занял руководящую роль. Культура эта полна классической...*»

Что это за злокозненный «авангард» со своими «нормами и понятиями», противопоставленный классике, и можно ли всех деятелей культуры, которые не нравятся Палиевскому, вынести за одну скобку,— из выступления неясно. Если же понимать слово «авангард» так, как принято понимать это явление культуры в последние годы, то есть как течение или течения в искусстве, противопоставляющие себя в момент своего возникновения классическому наследию, то «искусство авангарда» в России появилось не в момент возникновения нового общества и с этим возникновением непосредственно не связано. Здесь не место анализировать истоки ряда течений и их взаимосвязи,

однако невозможно уклониться от того, что и проза Андрея Белого или, скажем, Ремизова, и поэзия Владимира Маяковского, и поэзия Марины Цветаевой, и творчество «левых» художников (Малевич, Кандинский, Шагал и др.) возникли не в 1917 году, а в конце XIX — начале XX века, названном, кстати сказать, «серебряным веком» русской поэзии. И не была эта культура «полярна классической», хотя задолго до П. Палиевского ее обвиняли в этом многочисленные критики старой России, включая остроумного фельетониста А. Аверченко.

Можно ли положить руку на сердце сказать, например, что русский символизм, возникший в самом конце XIX века, развивался целиком в русле классической традиции? Не только бойкие фельетонисты отрицали это, но и Л. Толстой и А. Чехов. Что не помешало, скажем, Александру Блоку (да и многим другим представителям тогдашнего «авангарда»), в свою очередь, войти в русскую классику. Да ведь если исключить из русской культуры символистов, акмеистов, футуристов и других, то из всего «серебряного века» останется, пожалуй, один только Иван Бунин. Прекрасный поэт, ничего не скажешь, но не мало ли для русской поэзии в годы, когда одновременно — или почти одновременно — творили Блок, Брюсов, Бальмонт, Белый, Гумилев, Ахматова, Вячеслав Иванов, Волошин, Цветаева, Маяковский, Мандельштам?

Я решительно отказываюсь в этом контексте от оценок: они неизбежно будут субъективны и бездоказательны. Да и никакого значения не имеет для читателя то, что я, скажем, не люблю (а другой любит!) Брюсова, Бальмонта, Вячеслава Иванова, Гумилева (за вычетом нескольких стихотворений). Суть в том, что сейчас, в последней четверти века, мы не можем не видеть, какими сложными и сложно опосредованными путями шло развитие русской поэзии в XX веке, как не просто и не прямо влияло классическое наследие на самых отчаянных «новаторов» и «ниспровергателей». Иначе и не бывает в живом самодвижении жизни и культуры, иначе и не начинается творческий путь, как с отталкивания от отрезка пути, кажущегося уже пройденным. Можно ли это творческое отталкивание от классики (с последующим возвращением к ней на новом витке) именовать «полярной враждебностью»? Без такого творческого



отталкивания культура должна умереть в копиях и переизданиях, ничего своего не внося в отечественную и мировую сокровищницу. Пастернаковское «нельзя не впасть к концу, как в ересь, в неслыханную простоту», тем ведь и дорого, что впадает он в «неслыханную простоту», пройдя свой собственный путь сложности и увидев то, чего ни Пушкин, ни Тютчев, ни Некрасов видеть не могли. Это ведь не та простота, которая хуже всякого воровства, не «морковный кофе»...

И куда вы, с вашей тенденцией противопоставлять «авангард» классике, денете, скажем, Марину Цветаеву, которая так и не впадала в «неслыханную простоту»? В интерпретаторы? Во враги Пушкина? В ряды тех, кто создавал «искусство потребителей»?

Теперь далее: б) *попытка реабилитировать сталинизм.*

«Авангардистами,— говорит Палиевский,— создана ложная легенда о расцвете культуры в 20-е годы. Это — ошибочная точка зрения. Настоящий расцвет культуры падает на 30—40-е годы, как ни странно это покажется присутствующим...»

Не странно. Ибо слышим мы это не впервые. Палиевский — не автор и не первооткрыватель концепции, согласно которой именно период массовых убийств и заточений в лагеря и тюрьмы является периодом расцвета русской культуры. Задолго до него эту светлую мысль высказал в журнале «Молодая гвардия» С. Семанов<sup>1</sup>, хотя ни он, ни следующий тем же курсом Палиевский не могут привести ни одного сколько-нибудь убедительного доказательства «расцвета русской культуры» в годы сталинского террора.

В самом деле, вот, например, утверждение Па-

---

<sup>1</sup> Как это ни нескромно, я вынуждена отослать читателей к своей статье «Трактат о прелестях кнута», являющейся ответом Семанову. Она не напечатана, разумеется, ни в одном советском журнале, но имела довольно широкое хождение в «самиздате». В ней приведен и ряд фактов, и ряд имен, подтверждающих, что массовое убийство людей было одновременно и планомерным истреблением культуры. Кстати, из приведенного там далеко не полного списка можно убедиться, что убивали, не справившись ни о национальности, ни о литературном направлении, ни об отношении к русскому фольклору: воспевателя русской избы Николая Клюева убили таким же точно образом, как и «авангардиста» Даниила Хармса.

лиевского, провозглашенное тоном, каким вещают аксиому:

«Как бы ни относиться к 30—40-м годам с политической точки зрения, но следует помнить об *историческом повороте к русской классике*, который произошел именно тогда» (?!).

(Отметим, что к сталинской политике 30—40-х годов можно, оказывается, относиться *по-разному*, то есть и положительно, как относится к ней, видимо, не только официальная пропаганда, но и Палиевский. Как вяжется это одобрение сталинской политики 30-х годов, когда было разгромлено русское крестьянство, с надеваемой на себя Палиевским и его соратниками личиной «почвенничества» и «защиты народности»? А никак не вяжется. Это просто один из моментов негласного соглашения сталинистов с легальными «русистами», о котором я еще буду говорить.)

Откуда же взял все-таки Палиевский, что в 30-х годах произошел «исторический поворот к русской классике»?

Примеров у него негусто: «Иван Сусанин», «Музыкальная комедия», какие-то балеты, исполнение в концертах арий из классических опер (всегда исполнялись!), ни одного поэтического имени, а из прозы — только Шолохов и Булгаков. Да и эти примеры — насколько обоснованы?

«Был написан, по-видимому, самый великий роман XX века «Тихий Дон». Писал Булгаков, да, да, я подчеркиваю — писал и написал, это гораздо важнее, чем напечататься...»

«Тихий Дон» действительно великий роман. Самый ли великий, об этом пусть судят в XXI веке. Но зачем же передергивать? Первая книга «Тихого Дона» впервые напечатана в 1928 году, следовательно, писал ее автор (кто бы он ни был) в середине тех самых проклинаемых 20-х годов. Последняя, четвертая книга была напечатана перед войной. А дальше? А дальше писатель Шолохов уже кончился. Где же «расцвет»?

Что же до «несущественности» того, когда написан, а когда издан роман «Мастер и Маргарита» (и другие произведения М. Булгакова, но прежде всего, конечно, «Мастер и Маргарита»), то это уже цинизм, который, даже при всей нашей привычности к нему, трудно себе представить. В течение всего сталинского «расцвета культуры» не была напечатана ни одна строчка Булга-

кова, а Палиевский говорит: «Неважно. Важно, что писал и написал...» Так ведь и о Мандельштаме можно сказать: «Неважно, что не давали куска хлеба. Неважно, что посадили. Неважно, что убили. Важно, что писал и написал...»

Для характеристики личности писавшего и написавшего, конечно, в первую очередь важно это. Но для характеристики эпохи периода? Периода, когда писателей убивали, как периода «расцвета культуры»?!

Да, но ведь Булгакова не посадили и не убили...

«До чего ж мы гордимся, сволочи, что он умер в своей постели...»<sup>1</sup>

И тут, мне кажется, уместно напомнить, что писатель *Михаил Булгаков* возник в 20-х годах и что в эти годы он не только писал, но и печатался. Были напечатаны «Белая гвардия» (1923 г.) и сборник повестей, куда входили «Дьяволиада», «Роковые яйца» и другие (1925 г.). На сцене Театра Вахтангова с огромным успехом шла «Зойкина квартира». Пресса, особенно рапповская, на все лады ругала Булгакова, но в те годы ругань в печати еще не означала, как при Сталине, физического или духовного (запрещения печататься) умерщвления писателя. Начиная же с 30-х годов, с «исторического поворота к русской классике», как именует их Палиевский, запрещались все постановки пьес Булгакова, кроме «Дней Турбиных» (этого каприза тирана пока еще никто не разгадал).

Но может быть, Палиевский прав в отношении собственно классики в узком смысле слова? Может быть, титанов и гениев русской культуры в 20-х годах только и делали, что «сбрасывали с корабля современности», а в 30-х годах, при Сталине, вернулись к любовному и уважительному отношению к ним?

Нет, и тут — *прямая неправда*.

Единственное полное (без купюр) собрание сочинений Л. Н. Толстого было задумано и начато в начале 20-х годов. Единственный раз до смерти Сталина собрание произведений Достоевского было издано в СССР именно в 20-х годах — и тогда же издавался ряд исследований его творчества, вовсе исчезнувших в 30-е годы. При Сталине запретили переиздание тех самых сатирических поэм А. К. Толстого, которые не допускались к печати царской цензурой вплоть до 1905 года

---

<sup>1</sup> Галич о Пастернаке.

(«Сон Попова», «История государства Российского...» и др.).

А разве в 30-х годах в СССР издавался И. Бунин? Разве не в тех же 30-х годах был фактически запрещен у нас Есенин — и даже самое упоминание его имени считалось крамольным? В 30-х, а не в 20-х, когда поднимая ныне «почвенниками», как знамя, поэзия Есенина впервые получила широкую известность и популярность.

И «Китеж», об отсутствии которого на сцене Большого театра скорбит Палиевский, не ставился ни в 30-е, ни в 40-е годы. И именно в 30-х годах началось уничтожение архитектурного ансамбля Кремля, в том числе уникальных древних соборов.

Что касается 40-х — военных и послевоенных — годов, то эти годы действительно отмечены поворотом сталинской политики к русской великодержавности, к имперским традициям, но отнюдь не к русской культурной традиции. Если, конечно, не включать в эту традицию кастовое разделение солдат и офицеров, генеральские звания, погоны, разнообразные мундиры для чиновников различных ведомств, институт «денщиков», раздельное обучение мальчиков и девочек и, наконец, антисемитизм. «Поворот к русской классической традиции» ознаменовался в эти годы позорным преследованием Анны Ахматовой и Михаила Зощенко. Или, может быть, простить это Жданову за то, что он одновременно поносил «авангардистов» Шостаковича и Прокофьева?

В свете всего перечисленного (а это — очень малая часть злодеяний, совершенных сталинским аппаратом в области культуры) заявление Палиевского, что «именно в 30—40-е годы произошло слияние классической традиции с народной культурой», подтверждает лишь абсолютную аморальность людей, с одинаковым циническим прагматизмом относящихся как к своей культуре, так и к своему народу.

(Об этом циническом прагматизме свидетельствуют даже некоторые их и их учеников обмолвки. Замечу, что изъявляющим столь пылкую любовь к русской классике для начала не худо бы ее просто знать. Так, Жюрайтису прежде, чем защищать от Любимова «Пиковую даму», не худо бы узнать, что так озаглавлена не поэма, а повесть Пушкина. Так, рецензентке «Нашего современника» (1978. № 1) Ирине Стрелковой полез-

но было бы предварительно выяснить, что цитируемое ею стихотворение «Я не люблю иронии твоей...» принадлежит *не Пушкину, а Некрасову*. И одновременно уяснить себе, как беспомощна попытка использовать этот шедевр русской любовной лирики в качестве оружия против иронической струи в современной литературе. Да еще приплетать к этому имя Пушкина, которого, помимо всего прочего, можно было узнать «по когтям»...)

Теперь — третье: *что имеют в виду участники дискуссии, говоря якобы о литературных разногласиях?* Зачем понадобилась вся эта темпераментная возня вокруг «традиций» и «авангарда»? И что подразумевается под традициями, а что и кто — под авангардом?

В какой-то мере ответ на эти вопросы дает выступление Ст. Куняева. Еще раз подчеркну: никто из выступавших, даже наиболее откровенный Куняев, не говорил открытым текстом, но все прекрасно понимали, что имеется в виду. Как, скажем, читатели советских газет досконально знали, кто подразумевался в 1964—1965 годах при употреблении терминов «субъективизм» и «волютаризм». Советская интеллигенция в этом смысле прошла хорошую школу: что пишется, а что «в уме», она понимает с полуслова. Западные интеллектуалы эти ребусы иногда разгадать не в силах.

Если бы Палиевский, Куняев, Кожин, Куприянов и прочие говорили вполне открытым текстом, они могли бы возразить мне примерно так:

«Вы говорите о стилях, литературных направлениях и т. п. А мы говорим об идеях, о моральных нормах, о гуманизме, о народности, всегда бывших традиционными для русской классики. Вот эта традиция и прервалась в 1917 году — и прервала ее *революция*. И вся русская поэзия и проза послеоктябрьского периода, и весь театр, и все искусство 20-х годов полярно враждебны русской классике и русскому народу, ибо полярно враждебна им революция и влившиеся с ней в русскую культуру инородцы».

Такое заявление было бы, по крайней мере, честно. Но я не виню «почвенников» в том, что они его не делают. Открытым текстом всего этого им говорить пока не позволяют — и только потому, что «инстанции» все еще нужен фиговый листок марксизма и Октябрьской революции. Но «инстанции» и «почвенники» очень хорошо друг друга понимают, и поэтому полуоткрытым

текстом Куняеву, Куприянову и другим дозволяется говорить все что угодно — лишь бы они укрепляли «русскую национальную идею». Ибо в глубине души «инстанции», как и Сталин в 1941 году, возлагают на нее больше надежд, чем на свою формальную пропаганду «зрелого социализма» и «развитой советской демократии».

И они по-своему правы. Залитый кровью и со всех сторон оплеванный идеал социализма не светит сквозь сегодняшнюю реальную действительность. Пусть казенные барабанщики без конца дуют в уши, что он, социализм, уже построен, уже осуществлен, уже зрелый, реальный, развитой. Но реальность — видна. И история — пройдена. И кровавая цена — заплачена.

А — за что?

И не случайно «из гушины кровей» возникает столь популярная в современном мире идея национализма, и не случайно оказывается, что именно она сегодня в нашей стране способна создать эмоциональный накал, найти отклик, породить талантливую литературу. Потому что ведь невооруженным глазом видно: проза, группирующаяся вокруг «Нашего современника», — самая содержательная современная русская проза (к поэзии это, правда, не относится). Пользующиеся наибольшей популярностью талантливые прозаики вдохновляются сегодня национальной идеей — русской идеей, идентифицирующейся в их сознании и памяти с идеей крестьянской. Любовно, по крупичкам, собирают и восстанавливают они в памяти и в эмоциях невозстановимые в реальности приметы доколхозного крестьянского быта, нравов, морали, развеянных кровавым ураганом сталинской коллективизации. И как всегда в таких случаях, когда прошлое не изжито естественно, а погублено насильственно, появляется идеализация этого прошлого. Прекрасная дымка идеализации скрадывает все плохое и страшное, что было в этом быту и этих нравах, и из нее выступают только выпуклые образцы уцелевших от прошлого чудесных стариков и старух («Последний поклон» Астафьева, «Прощание с Матёрой» Распутина и др.), морально намного превосходящих своих жестоких и бездуховных потомков.

Неоправданно идеализируя прошлое, талантливые художники говорят правду о настоящем.

Сейчас, через шестьдесят с лишним лет после Октябрьской революции, сам факт появления такого мощ-

ного художественного течения должен заставить задуматься любого мыслящего человека, независимо от его взглядов и убеждений. Такое явление не может быть случайным. Глубокая рана, нанесенная русскому народу в лице его многомиллионного крестьянства в годы насильственной коллективизации, принадлежит к числу тех долго не заживающих исторических ран, которые есть у поляков (многократные разделы Польши), у чехословаков (от покорения Чехии немцами до вступления советских танков в Чехословакию в 1968 году), у ирландцев и у многих других народов. И есть немалый соблазн в том, чтобы отвести подспудно накопившийся гнев в русло национализма, объявив по аналогии это явление — сталинский погром в деревне — делом рук «инородцев», чужих, чуждых и ненавидящих русский народ.

Этот идеологический заказ и выполняют полуофициозные барды национализма. Для этого и нужны им евреи.

Никто не подсчитал и не может подсчитать, сколько евреев было среди «уполномоченных», раскулачивавших и вывозивших со своей земли русских крестьян в начале 30-х годов, — но наверняка их было меньше, чем русских. Однако никто не подсчитал и тех шрамов, которые остались в сердцах и умах детей и внуков раскулаченных и вывезенных. И этим детям и внукам с их незаживающими шрамами вот уже в течение почти сорока лет на все лады подсовывается идея, что во всех их несчастьях виноваты евреи.

И вот здесь — точка пересечения интересов наших официальных кругов с интересами полуофициальных «почвенников». Здесь заключается союз и объявляется взаимная амнистия: «инстанции» пропускают мимо ушей выпады «почвенников» против Октябрьской революции, а почвенники амнистируют Сталина и 30-е годы, перенося огонь со Сталина на Ленина и с 30-х годов (когда, собственно, и начался поход и против крестьянства, и против русской культуры) — на 20-е. Обоим этот союз нужен: идеологам «неославянофильства» — чтобы беспрепятственно насаждать идею воинствующего национализма; «инстанциям» — чтобы опереться хоть на какую-то идею, сплывающую «своих» против «чужих», чтобы протянуть хоть какую-то эмоциональную связь между собой и «массами», которым давно обрыдли их циркуляры и указы. Да и им самим, «ин-

станциям» то бишь, идея великодержавной государственности, в которой они воспитаны Сталиным, эмоционально неизмеримо ближе, чем пробарматываемые ими «по долгу службы» заученные фразы об интернационализме и братстве народов, давно потерявшие всякое содержание в реальной жизни. Дело даже не только в антисемитизме. Нарращивается, укрепляется, пропагандируется подозрительность ко всему «чужому», «не нашему» — к желтым, «черножопым», «носытым», иноязычным, наращивается и укрепляется идея национальной сплоченности против враждебного мира.

\* \* \*

Дискуссия в ЦДЛ была своего рода «разведкой боем», пробой сил заключенного союза, черновым смотром жизнеспособности симбиоза официальной и неофициальной идеологий. Потому и понадобился такой псевдоним, как «защита классики». Некоторые из выступавших — то ли очень уж наивные, то ли, наоборот, весьма предусмотрительные — всерьез говорили о проблемах трактовки классического наследия, о соотношении традиций и новаторства, о праве на собственное прочтение пьес Гоголя и Чехова. Но не в этом был *смысл* дискуссии. «Не очень много шили там, и не в шитье была там сила...»

Зададимся вопросом: почему, выступая на защиту русской классики от «полярно враждебного» ей «искусства авангарда», появившегося, по утверждению Палиевского, «в момент возникновения нового общества и предложившего свои «нормы и понятия», ораторы основной свой удар направили на Багрицкого и Мейерхольда? Мейерхольд как режиссер существовал задолго до появления «нового общества», а убит был Сталиным уже в конце 30-х годов. Против кого Мейерхольд «подъял меч», от которого погиб, не ясно, но ни против русского народа, ни против русской культуры он его не поднимал. У него есть только две «вины» с точки зрения «почвенников»: во-первых, в его жилах текла нерусская кровь (Мейерхольд — из давно обрусевших немцев; Кожинов же публично оконфузился, объявив его евреем); во-вторых, он с первых дней приветствовал революцию. Но что касается первого, то расовой чистоты мы не обнаружим и в биографиях Жуковского, Пушкина, Герцена, Фета... Надо ли продолжать список? В положительном же отношении к Октябрь-



ской революции повинны и многие другие деятели русской культуры, скажем, Александр Блок, Андрей Белый, Вахтангов и прочие. Не все, разумеется. И если наши казенные пропагандисты на протяжении десятилетий пытались выбросить из русской культуры всех, кто не сочувствовал Октябрю, то «почвенники», придерживаясь того же метода, хотят просто сменить «выбрасываемых»: отлучить от русской культуры всех, кто Октябрю сочувствовал.

С точки зрения Куняева, очень подходящей для отлучения фигурой является Багрицкий.

Почему именно Багрицкий — поэт, получивший широкую известность лишь во второй половине 20-х годов и умерший, не дожив до второй половины 30-х? Почему не, скажем, вышедший из той же «одесской школы» и ныне благополучно здравствующий Валентин Катаев? Вот уж кто с его «мовизмом» цинически разрушает не столько жанровые, сколько этические принципы русской классики, вот уж кто абсолютно равнодушен к гуманизму и куда как склонен к комфорту — не только «романтическому»!

Почему не Николай Тихонов, наследовавший, конечно, не Пушкину и Лермонтову, а более Киплингу и Гумилеву? Ведь, право же, его строки: «Он расскажет своей невесте о *забавной* (!) живой игре, как громил он дома предместий с бронепоездных батарей...» — по своим «нормам и понятиям» куда ближе знаменитому «...Или, бунт на борту обнаружив, из-за пояса рвет пистолет», чем лермонтовским строкам из «Валерика» (написанного, кстати, в форме послания любимой женщине):

...Жалкий человек!  
Чего он хочет? Небо ясно,  
Под небом места много всем,  
Но непрестанно и напрасно  
Один враждует он.  
Зачем?

А ведь мы в молодости с восторгом читали и Гумилева и Тихонова, романтизовавших жестокость. Только во имя разных целей.

Значит ли это, что их обоих надо отлучить от русской поэзии?

Нет, не значит. А вот Багрицкого Куняев отлучает.

Ответ на вопрос «Почему именно Багрицкий?» не прост и не однозначен. Когда я читаю сейчас «ТБЦ» и

дохожу до строк: «И если он скажет: «Солги!» — солги, и если он скажет: «Убей!» — убей!» — мне становится страшно и стыдно. Нет, не за Багрицкого. За себя. За свое поколение, обуравемое самыми благородными стремлениями к освобождению и братству всего человечества. Как писал гораздо позже другой поэт, Наум Коржавин, мы были уверены в том, что

Еще бы немного напора такого —  
И снято проклятие с рода людского!  
Последняя битва, последняя свалка,  
И в ней ни врага и ни друга не жалко!

Наши мечты и стремления остались неосуществленными. Но идеал всеобщего освобождения и братства не становится от этого менее прекрасным и благородным. И прямую неправду говорит Палиевский, утверждая что революционная литература 20-х годов (которую он именует «авангардом») не имела положительного идеала. Она имела этот идеал, высокий идеал, не только не враждебный ни классике, ни народности, но, наоборот, наследующий ей. Разумеется, этот идеал был полярно противоположен идеям современных «неославянофилов». Это был идеал интернационализма, международного братства всех людей, уничтожения всяческого угнетения — и социального и национального. Это был идеал всеобщей открытости, свободного общения свободных, равных и гордых людей, их протянутых друг другу рук, их взаимоуважения и взаимоподдержки. Об этом мечтал еще Мицкевич и писал Пушкин: «Когда народы, распри позабыв, в единую семью соединятся...»

Я и сейчас считаю, что этот идеал благороднее и выше, чем идеал своего кутка, своего угла, своего личного и национального благополучия (хотя и это благополучие, и любовь к своей земле, истории, культуре входят непременно составными частями в международное братство). Я и сейчас считаю мечту Маяковского — «чтобы вся на первый крик «Товарищ!» обращивалась земля» — более высокой и прекрасной, чем все ограниченные национальные идеалы, чем противопоставление «своего» — «чужому».

Но эта высокая цель, этот нравственный идеализм обернулись в реальной жизни нравственным релятивизмом («...если он скажет: «Солги!» — солги...», «...ни врага и ни друга не жалко»). А это, как мы убедились, процесс, далеко идущий и приводящий к страшным по-

следствиям. Только убедились мы в этом спустя много десятилетий, а тогда были заморожены фанатической верой.

Думаю, что замена революционного фанатизма, революционной узости и нетерпимости узостью и фанатизмом националистическими может привести в нашей многонациональной стране — да и на всем тесном земном шарике! — к последствиям не менее, если не более, страшным. Поэтому систематическое — открытое и подспудное — отравление людских душ шовинистическим ядом — занятие вовсе не безобидное. Тяжело думать о том, что ждет наших потомков, если они убедаются в этом только через десятилетия...

\* \* \*

Исторический факт, что русская советская поэзия 20-х годов вдохновлялась не идеей национализма, а идеями социализма и международного братства. То, что это не по душе Палиевскому, Куняеву, Кожинуву, не может служить основанием для отлучения поэзии 20-х годов от русской поэзии в целом, для противопоставления ее классике. Не только Багрицкий, но и Александр Блок, и Владимир Маяковский, и Асеев, и Сельвинский, и Луговской, и даже глубоко национальный Есенин (из которого «почвенники» ныне выхватывают, как правило, одну цитату 1914 года), — в те времена воспевали мировую революцию и героизировали, романтизировали революционное насилие, с помощью которого, казалось: переступи — и будет рай на земле.

Здесь не место обсуждать вопрос о роли насилия в истории, тем более что жизнь показала: эта «повивальная бабка» не только способствует появлению на свет нового общества, но нередко и душит его во младенчестве. Однако возлагать на поэтов и художников прошлого моральную ответственность за нереализованность или извращенность воспетого ими идеала не только несправедливо, но и антиисторично. Крепость задним умом никогда еще не способствовала глубокому пониманию ни литературы, ни жизни. Романтизация *жестокости борьбы* и в русской и в мировой литературе родилась не в 1917 году, и если на этом основании противопоставлять современных поэтов классике, то придется «почвенникам» отлучать от русской поэтической традиции не только Блока, написавшего: «Пальнем-ка

пулей в Святую Русь, в кондовую, в избяную, в толсто-задую!», но даже Пушкина, который не только ведь «милость к падшим призывал», но и писал:

Самовластительный злодей,  
Тебя, твой трон я ненавижу,  
Твою погибель, *смерть детей*  
С жестокой радостью вижу.

Да и Гоголь написал не только «Шинель», но и «Тараса Бульбу» — отнюдь не образец гуманизма.

Но Куняев инкриминирует Багрицкому не только жестокость, а упоение жестокостью, даже некоторый садизм. «Странно,— говорит он,— что человек, приводящий приговор в исполнение, испытывает при этом радость (!)».

Внимательно перечитываю то же «ТБЦ», в котором содержатся приводящие меня сегодня в содрогание строки. Но нет в стихотворении радости. Ни у автора, импровизирующего услышанный в полубреду монолог Дзержинского, ни у самого Дзержинского, трактующего жестокость революции как *вынужденную*, как *тяжесть*, а не как *радость* («О, мать-революция, не легка трехгранная откровенность штыка»). Жестокость при этом остается жестокостью, но она воспринимается как *тяжкий долг*. Справедливо, нет ли такое восприятие с точки зрения современников, но именно таково было поэтическое восприятие Багрицкого, как и Гоголь, скажем, воспринимал убийство Тарасом Бульбой Андрия как *тяжкий долг*, а не как удовольствие, испытываемое от убийства сына.

Попытка оклеветать Багрицкого откровенно предумышленна и откровенно тенденциозна. Почему именно Багрицкого?

Позволю себе ответить вопросом на вопрос: если бы комиссар продотряда в «Думе про Опанаса» звался не Иосиф Коган, а Иван Петров (что было бы вполне реалистично: Иванов среди комиссаров гражданской войны было, во всяком случае, не меньше, чем Иосифов), если бы соответствующая цитата звучала так:

В хате ужинает Ваня,  
Молоко хлебает...—

что, в этом случае Куняев тоже задал бы свой сакраментальный вопрос: «А продукты откуда?» Не задал бы!

Достаточно этого вопроса, чтобы не отмыться Куняеву от обвинения в антисемитизме, сколько бы ни при-

крывался он Мандельштамом. Слишком прозрачен этот вопрос и слишком понятно, зачем из всех бытующих в советской литературе комиссаров Куняеву понадобился именно Иосиф Коган, а из всех поэтов именно Багрицкий. Да и опыт у нас есть: во времена светлой памяти «космополитизма» мы достаточно часто слышали вопрос «Чей хлеб едите?» от процветающих тогда и процветающих поныне шолоховых, михалковых, лапных. И ни разу они, сами не вырастившие ни одного хлебного колоска, не задали его себе (кстати, Шолохов сам в молодости был в продотряде, что ж вы ему не инкриминируете «Донских рассказов»? ). А ведь в ресторане ЦДЛ и в закрытых распределителях не житняком и не молоком довольствуются. Чей хлеб ели Сталин и его сподвижники, разорившие крестьянство, чей хлеб и сейчас едят его воспеватели и наследники — этого вы не спрашиваете. Ни у С. В. Смирнова, ни у Сергея Васильева, ни у тех деятелей из «инстанций», которые покровительствуют вашему направлению.

А продукты все оттуда же. Впрочем, не совсем оттуда. В результате выдающихся успехов нашего сельского хозяйства упомянутые патриоты, вероятно, едят французских цыплят, болгарские помидоры и пирожные из канадской муки.

\* \* \*

Я не признаю круговой поруки, коллективной национальной ответственности за каждого человека (особо стоит вопрос об ответственности великих наций за подавление малых, но мы его здесь обсуждать не будем), весьма напоминающей систему заложничества. Но я признаю политическую и моральную ответственность каждого человека за свои действия — и за свое бездействие тоже. И разумеется, за действия или бездействие той организации, в которую он добровольно и сознательно вступил. Младенец, выходящий из чрева матери, не выбирает, кем ему родиться — русским или евреем, немцем или французом. Человек, вступающий в коммунистическую, или социалистическую, или консервативную, или фашистскую партию, этот выбор делает — и должен за него отвечать.

В гражданской войне, длившейся четыре года, принимали участие все народы, населявшие Россию, — и по обе стороны фронта было совершено немало жестокостей: разница только в том, во имя чего они совер-

шались. Сталинскую коллективизацию проводили тоже люди самых разнообразных национальностей, но не как представители данной национальности, а как члены определенной политической организации. Поэтому *как народы, как нации* ни русские, ни украинцы, ни евреи, ни другие не несут никакой ответственности ни за зверства Слещева или Шкуро, ни за погромы Махно, ни за ужасы коллективизации — и покаянный пафос Коржавина или Хейфеца мне непонятен. Сталинскую коллективизацию в числе прочих и такими же методами проводили и евреи — однако *как еврейка* я так же не могу взять на себя ответственности за это, как любой порядочный русский человек не мог отвечать за кишиневский погром или за дело Бейлиса, хотя организовывали и проводили их русские люди.

Но как член правящей партии этой страны я должна нести полную моральную и политическую ответственность за все прошлые и нынешние злодеяния, хотя бы я лично ни одного человека не обездолила. И за то, с чем я солидаризировалась, что одобряла, за что голосовала, и за то, что молчала тогда, когда молчать было нельзя.

Попытка подменить политическую ответственность национальной, попытка найти национального «мальчика для битья» и тем избавить от исторической ответственности подлинных виновников трагедии (независимо от их национальности, но в полной зависимости от их политического положения в обществе) чревата тяжелыми (а быть может, и кровавыми) потрясениями. Чревата она и дальнейшей моральной деградацией и вольных и невольных участников этой очередной фальсификации истории.

Примерами такой моральной деградации изобиловала дискуссия в ЦДЛ — увы, с обеих сторон.

Поносить, скажем, убитого Сталиным Мейерхольда и раздавленный сталинским сапогом театр считается «нравственным» актом в защиту русской классики. И делают это люди (Кожин, например), которые не видели и по возрасту и видеть не могли ни одного спектакля Мейерхольда. Но почему же не заклеить задним числом великого режиссера, чей прах давно истлел в безымянной могиле, если в нравственный обиход общества давно уже вошло обыкновение клеймить позором писателей, чьих романов мы не читали, художников, чьих картин не видели, и подсудимых, чьих показаний не слышали?

И это делается именем русской гуманной классики, русской народной традиции!

Вернемся ненадолго к Куняеву. Ненависть, которую испытывает он к Багрицкому (да полно, к Багрицкому ли лично?), побудила его прибегнуть к фальсификации открытой, которую легко заметить невооруженным глазом, побудила его даже забыть о том, что он сам как-никак поэт, а это, казалось бы, предполагает способность к поэтическому видению.

Вот он утверждает, что в поэме «Человек предместья» «маленький человек изображается в полном противоречии, в разрыве с традицией русской классики, с традицией Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Некрасова...». Но нет в поэме «Человек предместья» маленького человека». Это все равно что упрекать Гоголя в том, что «маленький человек» — Коробочка, скажем, или Собакевич — изображен им, Гоголем, в полном противоречии с «Шинелью». Ибо ни Собакевич — не Акакий Акакиевич, ни «человек предместья» — не Макарь Девушкин, а обобщенный поэтический образ жадного и хищного собственника. Порывает ли такой образ с русской классикой? Нисколько. Вспомним «Деревню» Бунина, «Власть тьмы» Л. Толстого, «Мужиков» Чехова, «Леди Макбет...» Лескова, вспомним Салтыкова-Щедрина и Глеба Успенского — это что, не русская классика? И ненависть к «матерому *желудочному* быту» вовсе не означает ненависти к *крестьянскому* быту, к *крестьянину*. Разве Опанас в «Думе» написан с ненавистью, а не со скорбью?

Кровь — постылая обуза  
Крестьянскому сыну...  
Опанасе, наша доля  
Туманом повита...

Ума не приложу, как можно (если не руководствоваться злобой и предвзятостью) не разглядеть в Опанасе трагической фигуры, как не разглядеть мужика, который «убивать не хочет», который, как Григорий Мелехов, хочет «подержаться за чапиги» («не хочу махать винтовкой, хочу на работу»), а волей истории и борющихся в ней сил брошен в жернова гражданской войны и вынужден убивать и умирать.

Но Куняев не хочет видеть и не видит. Он поглощен великой целью — разоблачить «чужака», пролезшего в русскую литературу, и делает это тем же методом, каким когда-то разоблачали «врагов народа», а ныне ра-

зоблачают «отщепенцев». Никакой вымысел при этом не возбраняется. Можно, например, приписать поэту «ненависть к живой плоти жизни» и чуть ли не стремление обезлесить Россию. Это поэту, писавшему: «И пред ним, зеленый сверху, голубой и синий снизу, мир встает огромной птицей, свищет, щелкает, звенит...» Поэту, который, воплощаясь в своего лирического героя, сбегает из лоснящегося жиром трактира в «мир, деревьями поросший и травой обрызганный». Поэту, живописующему, как

...над травой, над речными узлами  
Весна развернула зеленое знамя,—  
И вот из коряг, из камней, из расселин  
Пошла в наступленье свирепая зелень...

Первым дроздом закликают леса,  
Первою шукой стреляют плеса;  
И звезды над первобытной тишью  
Распороты первой летучею мышью...

Призыв «рубить деревья вместо того, чтобы сажать их» Куняев вычитал не в циркулярах Минлеспрома, а в стихотворении Багрицкого «Папиросный коробок». В этом стихотворении поэту в сумеречном видении чудятся ожившие портреты пяти казненных декабристов и сосны за окном предстают виселицами, а кусты смородины — шпицрутенами. И, зажигая свет, поэт обращается к маленькому сыну с заветом: «Ты начисто вырubi сосны в саду, ты выкорчуй куст смородины».

Нужно ли быть поэтом, чтобы понять столь прозрачный символ: выкорчуй, уничтожь корни насилия, рабства (кстати, Куняев не может не знать, что сын Багрицкого, Всеволод, погиб в бою с фашистами). Внезапная политическая глухота Куняева либо смешна, либо нарочита. Неужели и восклицание Есенина в «Пантократоре» («О какими, какими метлами это солнце с небес стряхнуть!») Куняев тоже толкует буквально — как стремление лишить человечество солнечного света и тепла?

\* \* \*

В этом комментарии отведено так много места выступлению Куняева и анализу поэзии Багрицкого не потому, что не было в ЦДЛ других заслуживающих внимания выступлений. И не потому, чтобы я считала Багрицкого — крупного советского поэта 20-х годов — не подлежащим критике (в том числе и с точки зрения



моральной, о чем сказано выше), а его талантливую и человечную «Думу про Опанаса» — равной «Слову о полку Игореве». Нет, я так не считаю. Просто Куныев наиболее откровенно отбросил литературные «тонкости», которыми драпировались другие, — и в его выступлении наиболее «грубо, зримо» проявилась тенденция воинствующего национализма, национальной обособленности — в противовес неосуществившемуся интернационалистскому идеалу 20-х годов. При этом я все не исключаю, что некоторые выступавшие (и главным образом некоторые сочувствующие им) испытывают искреннюю боль — как от ран, нанесенных русскому национальному чувству в годы коллективизации, так и от сегодняшнего отсутствия внимательного и любовного отношения к культурному наследию.

Но эти чувства используются, эксплуатируются в своих целях как определенной группой деятелей культуры, исповедующих воспитанные у них еще Сталиным шовинистические великодержавные взгляды, так и официальными инстанциями. Группа эта независимо от субъективных различий внутри ее отлично знает, что опирается на поддержку сверху и что *власть в ней нуждается*. Нуждается на новом историческом этапе не в бездарных психопатах типа Шевцова, не в вульгарных черносотенцах типа Сергея Васильева, а вот в таких — образованных, интеллигентных, способных выработать новую национальную идеологию и использовать для этого определенный комплекс национальных эмоций. Выработывают они свою идеологию под прикрытием государственной оболочки, внутри казенного «марксизма», в который, в общем, не верят уже и сами его пропагандисты. И надо сказать, делают это гораздо успешнее, чем их примитивные предшественники, избравшие все захваты России «добровольным присоединением» и переименовывавшие французские булки в городские.

То, что происходит сейчас, гораздо серьезнее. Феликс Кузнецов проболтался: дискуссия в ЦДЛ действительно представляла собой *эксперимент*, эдакое осторожное опробование: можно ли более или менее безболезненно перевести русскую национальную идею из русла оппозиционного (Солженицын, «Вече» и др.) в русло государственное, но без государственного ярлыка? По существу, решили в какой-то мере учесть «Письмо вождям» Солженицына, не реализуя, конечно, его

программы в целом: сохранить авторитарный образ правления, дав некоторый выход национальным русским чувствам. По всей вероятности, это представляется определенным кругам соблазнительной возможностью оттянуть зреющую справа оппозицию от диссидентства к официозу и оставить в оппозиции только «инородцев», на которых потом «всем миром» и навалиться.

Судя по пробной дискуссии в ЦДЛ, план этот не очень реалистичен. Правда, легальные неославянофилы не запрашивают так много, как Солженицын: они не требуют публичного отказа правительства от марксизма, тем более что пропаганда подлинного марксизма в нашей стране карается еще строже, чем пропаганда религии. Бубните себе насчет марксизма, а нам дайте свободу рук! И они эту свободу получают, отвыкая шаг за шагом, сплоченно и энергично наступая на робких и запутанных сторонников марксизма и интернационализма.

И здесь хочется сказать о том, как вели себя в ЦДЛ оппоненты Палиевского и компании.

Если «почвенники» не стеснялись в средствах, если они без всякого смущения открыто клеветали на мертвых поэтов и убитых режиссеров, то их оппоненты держались, прямо скажем, очень уж застенчиво. Они, по удачному выражению Розы Люксембург, употребленному ею по другому адресу более полувека назад, не стояли на позициях марксизма, а сидели, даже лежали на них. Они все время расписывались в верности «инстанциям», оправдывались и уговаривали своих противников помириться. Они не произнесли ни одного критического слова в адрес власть имущих. И осталось от их выступлений в общем жалкое впечатление, хотя и возражали они «почвенникам» по отдельным вопросам умно и верно, и мысли интересные высказывали — но все это с таким видом, как будто существуют действительно две равно спорящие стороны, а тех, кто производит ЭКСПЕРИМЕНТ, вовсе и нет...

Их противники вели себя иначе.

Кто выступил против цензуры? Против подавления «попыток сомневаться»? Против снятия негодных спектаклей и статей? Против «могущественных звонков в редакции»?

Представьте себе, Палиевский! Правда, он изобразил дело так, будто эти «чужаки» авангардисты пользуются покровительством, а бедных «почвенников» за-

жимают. Но это — старый прием, им при реакционных режимах всегда пользуются критики справа, им еще Суворин пользовался. Правда, не следует и преувеличивать смелость Палиевского: он выступал, уверенный в своей безнаказанности, да и «свободы» требовал только для своего направления, что одновременно означает требование полностью покончить с возможностью творческой реализации других направлений. Комические противоречия между «критицизмом» Палиевского и его же стремлениями «тащить и не пущать» проявлялись в его речи неоднократно. Вот только один, уж очень показательный пример.

В многотиражке (!) Большого театра напечатана заметка некоего народного артиста, профессора (фамилию Палиевский не назвал), размышляющего о задуманной им «нетрадиционной» постановке «Русалки». И Палиевский, только что возмущавшийся «могущественными звонками в редакции», мгновенно загорается благородным гневом: «До каких пор мы будем слушать этих народных артистов, профессоров?»

А почему, собственно, и не послушать? И как запретить этому народному артисту и профессору высказываться (даже в многотиражке!), если не с помощью «могущественных звонков»? Палиевский, по существу, требует только одного: чтобы «звонки» были точно определенного содержания, даже чтобы они вообще не требовались, чтобы раз навсегда было решено, что поощряется, а что запрещается. Как в благословенные сталинские времена!

Итак, критический пыл Палиевского в конце концов сводится к упомянутому мной в начале статьи требованию, которое он предъявляет властям: *покончить даже с остатками слабых ростков разномыслия, проявившегося в нашем обществе в 50-х годах*. Вот почему он так смело критикует: он выполняет «социальный заказ». Определенные круги только этого и хотят: покончить с любой самостоятельностью мысли. И палиевские выдвигают для этого благовидный предлог: защита русской классики, защита национальных, народных традиций...

Конечно, в такой ситуации положение их оппонентов — будем условно называть их «либералами» — было сложнее: им-то уж всякое лыко ставилось в строку. И все-таки стыдно за трусливое и беспринципное поведение на дискуссии людей, считающих — или, по

крайней мере, называющих — себя социалистами, коммунистами, интернационалистами...

Так, стыдно читать в записи речи Эфроса такой пассаж: *«Я молюсь на наше время за то, что оно перестало играть такими вещами...»* (антисемитизмом?) А также мольбу, обращенную к тем, кто называет его работу изменой русской классике: *«Давайте относиться друг к другу с большим доверием...»*

Кого он молит о доверии? Министерство культуры? Откуда он взял, что наше время «перестало играть такими вещами»? Ведь он только что выслушал речи, о которых хорошо знает, кем они поощрены и инспирированы.

Ну, если он «молится» на такое время, то так ему и надо. Отсутствие собственного достоинства нельзя возместить никаким талантом.

Вот Евтушенко с призывом «давайте не ссориться!», уж очень похожим на известную статью «Правды», призывавшую в свое время «Новый мир» не ссориться с «Октябрем», а Твардовского — облобызаться с Кочетовым. Твардовский, как известно, лобызаться отказался и продолжал свою линию, за что впоследствии и лишился журнала. Евтушенко, давно уже облобызавшийся с Софроновым, продолжая свою извилистую линию «примирителя», с одной стороны, выступает против «квасного патриотизма», а с другой — лезет с поцелуями к «почвенникам», которые его авансов не принимают. И в самом деле, зачем им Евтушенко, уже скомпрометировавший себя своим полуофициозным положением?

Сравните сегодняшнее поведение Евтушенко с его стихами и выступлениями 50—60-х годов.

Вот Борщаговский, которого я уважительно помню по его выступлениям тех же 50—60-х годов. Если бы он тогда произнес такие слова: *«Я пришел сюда с ощущением великолепно меняющегося времени...»* — его можно было бы понять. Но — сегодня? Сегодня, через десять лет после оккупации Чехословакии, во время разгула цензуры и судебных приговоров защитникам демократических свобод, сегодня, когда русская культура по произволу властей предержавших потеряла уже многих своих выдающихся деятелей, высланных или вынужденных уехать из страны? Как можно сегодня сказать, что «повернуло на «ясно», что «все хорошо»? Отказываюсь понимать.

Уж скорее можно понять тех ораторов (например, А. Битова и И. Роднянскую), которые в той, главной, не названной, подспудной теме дискуссии участия не приняли (Роднянская даже прямо заявила, что она «двух станом не боец...»). Это нельзя сказать, чтоб очень уж героически, но все же честнее.

Неназванной темой было требование узаконить национальную вражду как основу существования общества. Такое требование не только не является актом защиты русской классики, русского народа, русской культурной традиции — оно враждебно этой традиции и враждебно народу, оно нуждается в усилении государственного нажима, в еще более свирепой цензуре, в закрытых судах, в административном произволе — и над русскими и над нерусскими, населяющими нашу страну.

И у сторонников социализма не нашлось мужества сказать, что государство, нуждающееся на 61-м году после Октябрьской революции в таком «усилении», не имеет права называть себя социалистическим.

Я даже не осуждаю «либералов» за то, что они не сказали этого теми словами, которые употребляю я: может быть, они так не думают, а может быть, и не решаются (легко мне, пенсионеру!). Но тогда уж лучше молчать, чем заискивать.

И не может быть, чтобы они не думали о красном карандаше цензуры, который калечит их собственные произведения и произведения их коллег по перу. О тех своих товарищах, которым вообще не дают выхода к читателю (Г. Владимов — «Верный Руслан», Ю. Домбровский — «Факультет ненужных вещей», В. Корнилов, В. Войнович и многие другие). О до сих пор не напечатанной последней поэме А. Твардовского «По праву памяти». О «Реквиеме» Ахматовой и купюрах из ее «Поэмы без героя». О стихах, поэмах и романах, лежащих в столах. О запрещенных спектаклях (например, «Федор Кузькин» в Театре на Таганке). И так далее — список велик.

Впрочем, все это — не классика. Не имеет отношения к официальной теме дискуссии, символически назначенной на 21 декабря — день рождения Сталина.

\* \* \*

При всем многовековом опыте манипуляции человеческими мозгами, особенно усовершенствованном

в XX веке, насильственное возвращение к прошлым верованиям, традициям, ценностям, как показала история, невозможно. Можно вспомнить попытку римского императора Юлиана Отступника, можно упомянуть период реставрации Бурбонов во Франции XIX века, усилия русских славянофилов повернуть общество к допетровской старине, и прочее, и прочее. Не получается. Не получается — невзирая на то, что в каждом отринutom прошлом есть непреходящие ценности, которые, хоть оно и отринуто, входят в сокровищницу человеческого духовного, нравственного, житейского, материального опыта. Входят сами — в память, в душу, в национальный характер, в социальные обычаи. Или умирают — тоже сами. Можно *заставить*, укоренить в душе и навыках — нельзя.

По этой причине невозможен искусственный поворот современного советского общества (в духовном смысле) ни к дореволюционным традициям Русской империи, ни к советским традициям 20-х годов, ни к сталинскому конгломерату идей. Возможен только один путь духовного развития общества — к никогда не изведанной нашей страной социалистической *демократии*, необходимыми составными которой явятся терпимость, широта, национальная свобода, подлинное равноправие народов и равноправие взглядов. Такое развитие было бы развитием и всего лучшего, подлинно прекрасного, что есть во всемирно великом наследии русской классики. Любить свой народ, свою страну, знать свою историю, бережно относиться к своим культурным ценностям и традициям при уважении, бережности и интересе к новому, чужому и незнакомому — разве это противоречит друг другу? Если человечество не пойдет по этому пути, оно духовно погибнет. А именно на этот путь толкают его националисты всех мастей.

Тоталитаризм дает такие возможности для манипуляции мозгами, каких не давал ни один строй. Можно заставить молиться на «Краткий курс», а можно — на Николу Мирликийского. Но и в том и в другом случае в душах людей будет пустота, будут отсутствовать рожденные собственными умственными и нравственными усилиями мысли и чувства. А из пустоты не родятся ни произведения искусства, ни моральные добродетели, ни гражданские доблести. Поэтому любой идейный союз с тоталитаризмом, пусть движимый самими искренними стремлениями — спасти ли национа-

льную самобытность или выторговать «улучшения» и «реформы», — приводит к усугублению пустоты и бездуховности.

*Июль 1978 г.*

## «ДВОЕПЕРСТИЕ» ИЛИ ДВОЕМЫСЛИЕ?

Собственно, о чем спорить? Револют Пименов потрясен произведениями Ильи Глазунова, а я — нет, не потрясена. Револют Пименов считает его «искренним и великим художником», а мне думается, что ни о величии, ни тем более об искренности и заикаться нельзя. Хотя у Глазунова талант, несомненно, есть. Но ведь и у художника Чарткова (из гоголевского «Портрета») тоже был талант...

Ну и что? Каждый из нас останется, как говорится, «при своих», и мы друг друга не убедим. Пименов честно говорит: я — не искусствовед, не знаток и даже не любитель. И я тоже — не искусствовед, не знаток и даже не любитель. Мы оба — рядовые зрители, и **что** читателю до того, что у одного из нас картины Глазунова вызывают такие-то эмоции, а у другой — противоположные? Или — вовсе не вызывают никаких? Дело, слава богу, естественное — люди мыслят и чувствуют по-разному.

И я бы не стала спорить с Пименовым, если бы его эссе ограничивалось зрительскими эмоциями. Я бы просто с интересом прочла описание тех картин, которых не видела<sup>1</sup> (особенно впечатляющее описание «Детства» и «Возвращения блудного сына»), оставшись, впрочем, при сложившемся у меня мнении о творчестве Глазунова.

Потребность возражать возникла даже не по поводу оценки той или иной картины (что же возражать, если я их не видела?). И вообще не по поводу Глазунова, а по поводу «кое-чего еще», то есть по поводу философско-этических размышлений автора эссе.

Пименов верно говорит: в поисках решения человек всегда группирует явления, относя одни к добру, дру-

---

<sup>1</sup> Р. Пименов познакомился с творчеством Ильи Глазунова только на последней его выставке. Я же, наоборот, видела две предыдущие, но не была на последней.

гие — к злу. И вот пименовский «расклад» добра и зла, его «группировка явлений» и вызывают у меня возражения.

## I

Невозможно, однако, перейти к анализу взглядов Пименова, обойдя молчанием творчество Глазунова, его, глазуновский, огляд жизни. Ибо в своих размышлениях Пименов идет не столько от жизни, сколько от картин Глазунова. Их он выдвигает как аргумент, с ними солидаризируется, их творца провозглашает носителем правды и добра. И, поскольку последней выставки Глазунова я, повторяю, не видела, придется идти по ней, так сказать, мысленно, по следам Пименова.

Начнем со второй страницы эссе.

«Поднявшегося на второй этаж... Илья Глазунов ударяет без предупреждения и сразу в поддых — крестом. Крест, вызывающе болтающийся на шее космонавта, грозит сорваться и стукнуть вошедшего по голове. Это не спокойный, уверенный в себе крест. Это — крест мятежника, бунтаря против нашей атеистической страны. Этот крест — ПОСТУПОК. Почти как двоепрестие пресловутой боярыни...»

Пышно сказано! Но — попробуем сохранить спокойствие, которого явно не хватает Пименову.

Картину «Русский Икар» я как раз видела: она демонстрировалась и на предыдущей выставке. Сколько помню, изображала она не современного космонавта, а символизированного русского юношу в красной рубашке<sup>1</sup>, поднявшегося, согласно легенде, ввысь, в небо. На основе этой легенды еще в 20-х годах был снят по книге К. Шильдкредта популярный тогда антирелигиозный фильм «Крылья холопа». И в фильме этом не шее холопа Ивашки, поднявшегося в небо на сконструированных им крыльях, тоже болтался крест. Для

---

<sup>1</sup> Не исключаю и такой вариант: мы с Пименовым видели разные картины под одним и тем же названием. То есть Глазунов в промежутке между двумя выставками успел переодеть своего «Икара». Такое уже бывало в нашем искусстве: Сергей Коненков, например, переделал своего «Прометея» в «Пролетариат, разрывающий цепи». Но если это так (я не утверждаю, а допускаю), то это лишь свидетельствует об умении модного художника раскланиваться: в одну сторону — крестом, в другую — шлемом космонавта.



исторического правдоподобия хотя бы: какой же русский мужик XVI (или XVII) века без креста?

Не вижу Поступка. Разве Глазунов первый ввел в советское искусство крест? Да ничего подобного! Оставим в стороне антирелигиозные «Крылья холопа». Но еще при Сталине — и в довоенном «Александре Невском», и в послевоенном «Иване Грозном», и в других фильмах — крестов и крестных знамений с вполне положительным акцентом было достаточно. И никто при этом никаких «поступков» не совершал: свыше было дозволено и даже поощрялось. А уж теперь, во имя единения русского православного народа против жидов и китайцев...

Впрочем, стоит ли доказывать, что сравнение Глазунова с боярыней Морозовой кощунственно? Боярыню Морозову сторонники канонического православия лишили свободы и везут в ссылку, а она, сидя в санях, продолжает упрямо складывать пальцы в двоеперстие. Таков ее ПОСТУПОК. А Глазунов за свои картины задарен и заласкан, пишет направо и налево портреты — то В. Шульгина, то Л. Брежнева, то Джини Лоллобриджида, то сварщика с БАМа (я не случайно вспомнила художника Чарткова), имеет в своем распоряжении выставочные залы, кино, радио и телевидение...

Еще раз спрашиваю: в чем ПОСТУПОК?

За два или три дня до того, как в Ленинграде помпезно открылась выставка «крестоносца» Глазунова, в Москве были осуждены на 3,5 и 4 года лагерей **усиленного режима** двое молодых людей — 19 и 25 лет. Не «крестоносцы», не «Икары», не витязи — отнюдь нет. И то, за что они осуждены, тоже не ПОСТУПОК: были они, кажется, выпивши, и в вагоне метро один из них громко, вслух, неодобрительно — и, надо полагать, не в парламентской форме — высказался по адресу правящей партии Советского Союза. Не знаю точно, что ими было сказано, и не собираюсь обсуждать это. Но знаю, что достаточно им было, переночевав в милиции, выразить сожаление по поводу сказанного — и они получили бы свои пятнадцать суток и были бы отпущены.

Вместо этого они просидели в предварительном заключении девять месяцев и на суде, в своих последних словах, заявили: то, что было сказано в метро, есть действительно их **УБЕЖДЕНИЕ**. И тот, кото-

рый не сказал в метро ни слова, не пожелал отмежеваться от товарища. И оба пошли отбывать трехлетний и четырехлетний лагерь усиленного режима — а это не лучше ссылки боярыни Морозовой.

Здесь не о жестокости приговора, не о том, как легко за пять или шесть слов сломали две молодые жизни. Я о том, что такое ПОСТУПОК. И убеждения этих мальчиков (для меня они — мальчики) расходятся с моими: они верующие, а я атеистка, и поведение их в метро не вызывает моего одобрения, да и что они там сказали, я толком не знаю. Но **поведение их на суде** вызывает уважение к их нравственной стойкости. Они не пожелали облегчить свою участь отказом от своих убеждений.

Как и боярыня Морозова, убеждения которой меня вообще не волнуют, — да я думаю, что проблема «двоеперстие или троеперстие?» сегодня не волнует даже ревнителей православия. Как и те русские революционеры, которые за свои убеждения шли на виселицу, на каторгу и в ссылку. Как девочки и мальчики из Краснодона, пошедшие даже не в лагерь — на мучительную смерть.

Я вовсе не требую такого самопожертвования от каждого, в частности — от художника Глазунова, убеждения которого мне вообще не очень ясны. Я просто предлагаю называть вещи своими именами, не злоупотребляя словом ПОСТУПОК: слово-то уж слишком большое. Я просто спорю с пименовской классификацией добра и зла.

Картины Глазунова, с моей точки зрения, не ПОСТУПОК, а РАСЧЕТ, не двоеперстие, а двоемыслие. Да, да, то самое оруэлловское двоемыслие, которое позволяет толковать его картины как кому удобно. Можно ли представить себе двоякое толкование «Герники» Пикассо — и против фашизма, и за него?

А вот «Возвращение блудного сына» двояко толковать, оказывается, возможно. Пименов восторгается и прозревает в ней некий тайный философский бунтарский смысл, некое религиозное озарение — и под ним еще другой, противоречащий первому, «второй смысл». Автор эссе относит это противоречие за счет глубины замысла. Я отношу его за счет предусмотрительности художника: ведь что-то должен был «прозреть» в ней тот, кто разрешил ее демонстрацию.

(Зря, кстати, Пименов иронизирует над чьим-то

предположением, что Глазунов в хороших отношениях с секретарем такого-то энского обкома. Думаю, что он в хороших отношениях с любым секретарем любого обкома — и каждый из них с удовольствием разрешит его выставку. Похоже, в частности, что никаких идейных разногласий с секретарем Ленинградского обкома Романовым у него нет. Как нет, впрочем, идейных разногласий и с другим Романовым, помещенным Глазуновым в его «Мистерии XX века» в «силы добра».)

Могут сказать: да какое нам дело? Вот картина — плод мыслей и страстей художника, смотрите и попытайтесь понять и почувствовать. А цензура — что ж цензура... Ведь создал в свое время Паоло Трубецкой скульптурную карикатуру на «всероссийского городского» Александра III, а тупоумный наследник престола и его консультанты — не поняли. И водрузили карикатуру в качестве памятника у Московского вокзала в Петербурге. Вот и наши не очень интеллектуальные консультанты не поняли — тем лучше!

Да нет, не так просто. Трубецкой не пытался угодить русскому императору, как Гойя не пытался угодить испанскому Карлу IV, создав семейный портрет его вырождающейся династии. (Думаю, впрочем, что ни Гойя, ни Трубецкой не задумывали и сатиру, хотя истории создания обоих произведений не знаю: может быть, и ошибаюсь.) Просто они творили, **как видели**, без расчетливых модных подмалевок, и получилось **однозначно**, а не **двузначно**, не **двоемысленно**.

Что же получилось у Глазунова? И — во имя чего?

Но прежде чем говорить о «Возвращении блудного сына» — картине, так сказать, программной, занимающей, видимо, центральное место в экспозиции выставки, остановимся вместе с Пименовым у «Детства»<sup>1</sup>. Рассказано об этой картине настолько эмоционально и, я бы сказала, талантливо, что ее видишь не видя, и, наверное, она действительно сильно действует на душу. А это невозможно без таланта, без личной душевной боли, корни которой — в пережитом, в самой биографии художника — тут Пименов прав. Только вот туманные намеки и торжественная многозначительность его обобщений («всегдашнее и само собой

---

<sup>1</sup> Пропускаю общий обзор иллюстраций к Достоевскому, ряда портретов, поп-артовского варианта «Бориса Годунова» и проч.— все это на предыдущих выставках было.

разумеющееся страдание», «ключ ко всему его творчеству») лишь снижают впечатление от непосредственного и искреннего описания Пименовым переживаний, внушаемых картиной.

Автор эссе оговаривается, что реальной биографии художника не знает. Но вот теперь мы ее знаем: в связи с открытием выставки в Ленинграде телевидение и радио сообщили, что Глазунов родился в Ленинграде, потерял во время блокады обоих родителей и одиннадцатилетним мальчиком был вывезен из блокадного Ленинграда в северную деревню военных лет. Туман рассеивается — и никакого «второго смысла» не остается: «непосредственная причина страданий» и «виновник, отнявший счастливое детство», видны не менее ясно, чем на картинах, изображающих «изможденные скелеты детей в гетто». И хотя в действительной жизни мы знаем многих, слишком многих людей, чье детство сожрано и жизнь написана «черным по черному» не войной и не оккупацией, а сталинской коллективизацией, арестами или расстрелами родителей, — тут явно не тот случай. Не надо делать из Глазунова мученика, не надо насильственно превращать его в символ всероссийского страдания. Отдадим ему должное за талантливую и глубокую картину (если она такова, как ее описал Пименов), но ключом к его творчеству она быть не может. Скорее — исключением.

...Пропускаю «Ивана Грозного», «Былины», напряженные размышления Пименова о Радуге (уж если ему непонятно, кому, о чем и с кем дан Завет, то мне, не знающей даже азов богословия, об этом рассуждать неприлично).

Вот теперь мы — у «Возвращения блудного сына». Как воспринял картину своим зрительским оком Пименов, читатель знает, он об этом только что прочитал. Попробуем представить себе, как восприняли ее те, кто разрешил ее демонстрацию.

Значит, по Пименову судя, «блудного сына», парнишку в джинсах, благостно прижимает к себе Спаситель? Спасителя Пименов не описывает, но, если можно одеть в джинсы блудного сына, можно переосмыслить и Спасителя. Кто он — Спаситель? Из чего, собственно, следует, что это — традиционный образ Христа? Почему бы не секретарь обкома (или — подымай выше) в облике Спасителя или в каком-то другом обличье? «Амбивалентность звучания»? Ну и что же?

Есть и не дураки среди «боровов» — амбивалентность их тут как раз очень устраивает. Можно ведь толковать и так: Хозяин Пиршества — это международный сионизм (тем более что лицо его напоминает Азефа) или вообще разлагающийся Запад, а «боровы» — его еврейские агенты. А на пиршественном столе — остатки «шабаша», от которого, ужаснувшись, оторвался кинувшийся назад в отчее лоно паренек. (Думаю, что сходство с Лениным в распростертом на столе туловище Пименову только померещилось: это уж вряд ли допустили бы, тем более что тут можно бы усмотреть и намек на уничтожение ленинизма.)

При таком прочтении картины понятно, почему, несмотря на радость, испытываемую праведниками (к которым причислена и коронованная блудница Екатерина II), эта картина — не о радости в небесах. Эта картина — предостережение. Она действительно вызывает непосредственно к чувствам — только к каким? Не к христианской радости о спасшемся, а к отвращению и ненависти к «чужакам». «Боровы» и Хозяин Пиршества — это вовсе не родная, «нашенская», расейская действительность — с чего вы взяли? Это — жида, китайцы, космополиты, джинсы, соблазнительный разврат, засасывающий всякого, кто оторвется от родной почвы<sup>1</sup>.

В таком толковании — весьма даже полезная картина, и почему бы ее не пропустить? Толковать ее так — в отличие от «Герники» — можно, и может быть, это и есть правильное толкование. Вот то-то и оно — можно так, а можно и эдак! «Амбивалентность»! И в этой амбивалентности, думается мне, как раз и обретается ключ к «разностороннему» творчеству модного художника. «Широк человек», как говорил Митя Камазов.

Впрочем, так ли уж широк? Ведь художник и цензор добровольно идут друг другу навстречу. Они едины в главном — в пестуемой и лелеемой обоими идее национальной исключительности, национального превосходства, принимая за символ этого превосходства в равной мере и православный крест, и шишак древне-

---

<sup>1</sup> Тут пригодится и «явная олеография» — картина, где Чингисхан примеряет маску. Независимо от ее художественных качеств, она вносит свою незатейливую, но необходимую нотку в современное звучание глазуновского оркестра.

русского князя, и Звезду Героя Советского Союза. Они и играют на одном и том же: на естественной любви к своей речи, своей истории и культуре. Только неотъемлемым свойством патриотизма они полагают ксенофобию: любовь к **своим** всегда означает для них недоверие, презрение или даже ненависть к **чужим** с их особой, отличной от Руси историей и культурой.

Альянсу художника и цензора не мешает даже религиозность первого и атеизм второго. Обилие в картинах Глазунова крестов, рушащихся церковей и всяческой религиозной символики отнюдь не отпугивает официоз. Может быть, это хороший признак, начало терпимости: давно пора атеистам и верующим в нашей стране, как и в других, вступить в доброжелательный диалог?

Нет, совсем не в этом дело. Не религиозность сама по себе пугает начальство: пугает его любое стремление к свободе мыслей и чувств. К религиозной свободе — в том числе. Ничуть не больше, чем такое же стремление в области политики, философии, литературы, искусства. Будучи единомышленниками с современными «неославянофилами» в главном — в имперской идее великодержавности, «инстанции» не прочь принять и их идейно-психологическую помощь (религиозное толкование русской истории, религиозные традиции и прочее). Сторонники же «православия, самодержавия и народности» получают столь нужную им административную поддержку, в свою очередь не смущаясь (и в этом они правы) официальной партийно-советской терминологией.

Поэтому с Глазуновым власти в дружбе, а мальчиков из «Христианского семинара» посадили в лагерь. Поэтому у Глазунова третья (или четвертая?) персональная выставка, а авторам «Метрополя» «выкручивают руки», добиваясь от них покаяния.

Все логично. Нелогична только позиция Пименова.

## II

Один вопрос возникает неизбежно, и я не хочу уклоняться от ответа. Имею ли я право писать о картинах, которых не видела? Не уподобляюсь ли я тем справедливо высмеянным Пименовым читателям и зри-

телям, которые заявляют: «не читал и читать не хочу», «не видел и видеть не хочу»?

Нет, не уподобляюсь. Хочу и читать и видеть. Но, во-первых, многие картины Глазунова я видела на предыдущих выставках. А во-вторых, напоминаю: я спору не столько с Глазуновым, сколько с Пименовым, с его, пименовскими, рассуждениями **по поводу** этих картин — «о жизни и еще кой о чем», как обозначает он в заголовке своего эссе. Причем не со всеми рассуждениями, а с теми, которые относятся к центральной, по-моему, идее Глазунова — идее национальной замкнутости и национальной нетерпимости. И, в связи с этим, с пименовской «группировкой явлений», относимых им к добру или ко злу.

Я уже упоминала об этом в связи с боярыней Морозовой и «Русским Икаром». Сейчас я хочу продолжить разговор несколько в другой плоскости. Я хочу спросить Пименова: к какой категории явлений — к добру или к злу — относит он национальную ненависть? Добро это или зло — не только для тех, **кого** ненавидят, но и для тех, **кто** ненавидит?

Оказывается, ответ у Пименова уже есть: он — нейтрален. Ненависть или презрение к какому-то народу (или взаимная национальная ненависть) его не волнуют, не тревожат. Ни в добродетелях, ни в пороках он их не числит. Правда, бывают ситуации, когда нейтралитет неуместен, а терпимость ко злу оборачивается злом, но в **данном случае** Пименов от «группировки явлений» отказывается.

«Антисемитизм, — несколько вызывающе заявляет он, — нисколько не порочит в моих глазах художника Глазунова, как не порочит в моих глазах ни Достоевского, ни Куприна...»

Вызывающий тон здесь явно неуместен: для того чтобы сегодня в нашей стране защищать антисемитов, не нужно никакого мужества — ни физического, ни морального. И требовать для Глазунова **права** быть антисемитом тоже ни к чему: э т и м правом ни он, ни Шевцов, ни Емельянов, ни Евсеев, ни иные прочие у нас, слава богу, не обделены. Они не обороняются, а нападают — и в такой ситуации объявленный Пименовым нейтралитет оборачивается союзом с агрессором.

Антисемитизм и — шире — проповедь национальной ненависти и национальной исключительности есть реа-

льное (уж куда реальней!) явление нашей жизни<sup>1</sup>, и «в поисках решения» никто из живущих в нашей стране не может не относить его либо к злу, либо к добру. Делает это, конечно, и Пименов, но почему-то объявлять свою позицию не хочет. Хотя тем самым ее обнаруживает.

И в самом деле — Пименов вовсе не нейтрален. Возможно, он искренне хочет соблюсти нейтралитет, проявить декларируемые им терпимость и объективность. Но — уже не может. Слишком захвачен он сочувствием, сопереживанием Глазунову, чья позиция, при всей двоемысленности художника, проглядывает сквозь все подмалевки — как чернота ведьмы в «Майской ночи» Гоголя просвечивает сквозь воздушный облик русалки. И, эмоционально сопереживая художнику, принимая его идеоэстетические концепции, Пименов постепенно целиком переходит на его позиции, начинает тенденциозно подбирать аргументы в его пользу и, как истый адвокат, ссылается на прецеденты (а вот Достоевский, а вот Куприн...).

Но ссылки эти несостоятельны. Пытаясь укрыться за верным в общем тезисом («творчество художника нельзя рассматривать, исходя из его моральных качеств»), Пименов забывает, что в своем эссе он обещал говорить не только о художнике Глазунове. Утверждая, что антисемитизм не порочит в его глазах **художника** Глазунова, он не отвечает на вопрос: а **человека** Глазунова это в его глазах порочит? Как он, Пименов, относится к этому «явлению жизни»?

Да и не в состоянии Пименов — и никто другой — обнаружить разрыв, зазор, противоречие между мировоззрением Глазунова и его творчеством. Невозможно доказать, что правомерно отбросить взгляды Глазунова-человека, ибо в творчестве своем он — **иной**, он поднимается над собой в другие сферы.

У Достоевского так и есть. Но мерить Глазунова мерками Достоевского странно. Не потому только, что

<sup>1</sup> Годы два назад в одном из московских магазинов произошла такая сцена. Какой-то распоясавшийся тип всюю обругал стоявшую в очереди пожилую татарку, пуская в ход соответствующие оскорбления по адресу татарского народа вообще. Женщина молчала. Молчали и все остальные. Наконец, какой-то молодой человек не выдержал и обратился с **упреком к этой женщине**: «Почему вы молчите? Позовите милицию — мы вас поддержим». Женщина печально и с достоинством возразила: «Милиция мне не поможет. Я ведь не просто татарка: я — **крымская татарка**».



Достоевский — гений, а Глазунов всего лишь модный художник, а потому, что двоемысленный, вечно примеривающийся к спросу художник этот как раз завидно един в своих высказываниях и в своем творчестве. О шовинизме Достоевского мы знаем преимущественно из его публицистики — Глазунов же откровенно высказался в своих полотнах (не считая его речей в дружеских застольях). Никакой трагедии, ни какой диалогичности у него не просматривается, и отличать в нем в этом плане художника неправомерно. Сравнить его с Достоевским можно, пожалуй, только в антисемитизме, и в этом единственном аспекте современник классика, пожалуй, превосходит. Только это душеустройство (способность к национальной ненависти) еще никому — даже Достоевскому — не прибавляло ни таланта, ни любви к родине...

В книге И.-П. Эккермана «Разговоры с Гете» (М.; Л., 1934) есть такая запись:

«Вообще, — продолжал Гете, — национальная ненависть своеобразная вещь; она всегда наиболее сильна и непримирима на низшей ступени культуры. Но имеется и такая ступень, на которой она совершенно исчезает, так что человек стоит некоторым образом над нациями и воспринимает удачи и огорчения соседнего народа так, как если бы они случились с его собственным. Эта степень культуры отвечает моей натуре, и я крепко стоял на ней еще раньше, чем достиг шестидесятилетнего возраста».

Процитированная запись сделана сто пятьдесят лет назад, 14 марта 1830 года, и произнес эти слова восьмидесятилетний Гете за два года до смерти. Ни девятнадцатилетний Белинский, ни восемнадцатилетний Герцен знать их, конечно, не могли, а все последующие участники русских споров о душе, нации, народе, почве и др. ходили еще в коротких штанишках (Константину Аксакову было тринадцать лет, а Достоевскому — девять). Даже злокозненный Маркс, основоположник идеи международного братства трудящихся, которого нынешние «почвенники» почитают «врагом номер один», только что поступил в трирскую гимназию и развращающего влияния на Гете оказать никак не мог.

Это шутка, конечно. Но не с улыбкой, а с горечью думаю я о том, как давно сказаны Гете эти мудрые слова и как мало повлияли они на человечество. Да и

что докажешь цитатой? То, что сказал Гете, прекрасно, но так же недоказуемо, как пушкинско-моцартианский тезис о несовместимости гения и злодейства. Поди докажи! Ведь тут же, сразу, можно опровергнуть: разве Достоевский стоял на низшей, а не на высшей ступени культуры?

Зачем я привела эту цитату?

Потому, что мне очень дорога главная ее мысль: связь морали с культурой, определение высшей и низшей ступеней культуры как неких категорий добра и зла. И сделанное мимоходом замечание о том, как нелегко по этим ступеням взбираться: ведь сам Гете говорит, что высшей ступени он достиг не сразу (хотя и раньше, чем шестидесяти лет).

Важно, однако, направление: по ступеням вверх или по ступеням вниз? Чем объяснить столь пристальное разглядывание именно нижних ступеней лестницы культуры, по которой идем все мы — и малые и великие? У Достоевского есть ведь не только строки, пропитанные национальной ненавистью. У него есть и проникновенные слова о всемирной отзывчивости русского народа, о его склонности и способности к межнациональному братству. Эту сторону творчества Достоевского Пименов в данном контексте не вспоминает — она ему просто ни к чему. Ибо Достоевский здесь упоминается только для того, чтобы морально реабилитировать идею примата национального над человеческим.

Еще явственнее обнаруживается нравственная несостоятельность позиции Пименова в его попытке использовать неопубликованное письмо Куприна.

Антисемитизм А. И. Куприна, выраженный в цитируемом Пименовым отрывке, признаюсь, оказался для меня — думаю, и для всякого читателя — полной неожиданностью. С творчеством Куприна — и по дореволюционным, и по советским, и по зарубежным изданиям — я хорошо знакома. Ни в одном своем рассказе, ни в одной повести или фельетоне автор «Гамбринуса» и «Суламифи» не выразил ненависти или пренебрежения ни к евреям, ни какому-либо другому народу; противоположные же эмоции — человечность, сердечность, широту понимания — выразил очень ярко.

Чем объяснить этот феномен — противоречие между личным письмом писателя и его творчеством — не знаю. Биография А. И. Куприна мало изучена, архив его не опубликован. Ни подтвердить подлинность цитируемого

документа, ни опровергнуть его как апокриф я не могу. Не могу и поймать кого-то за руку, если этот «кто-то» что-то изменил в неопубликованном письме. Да и никому это — при закрытости наших архивов — не под силу. Если можно «исправлять» отрывки из дневника Марины Цветаевой, **идушие в печать** (см. заметки Виктории Швейцер в № 4 «Синтаксиса»), почему не подчистить бродящее по рукам письмо Куприна?

Но это, повторяю, недоказуемо. Примем, однако, упомянутое письмо за подлинный документ. Все равно: заслонить и реабилитировать Куприным Глазунова и его, глазуновский, комплекс идей не удастся. Все равно остается непроясненным и нестыкующимся противоречие между **писателем** Куприным и **человеком** Куприным (если он таков, каким обнаруживается в этом письме) — противоречие, которого у Глазунова **нет**.

И главное, остается вопрос: зачем в данном контексте в данное время понадобилось Пименову обильно цитировать именно это, одно-единственное, к тому же неидентифицированное письмо? Почему оно перевешивает в его глазах все многолетнее творчество писателя? Почему он так страстно и пылко возмущается тем, что именно это письмо «вот уже семьдесят лет не опубликовано на родине Куприна»?

Спокойствие! Во-первых, не семьдесят лет, а сорок один год: Куприн умер в 1938-м, а печатать личные письма при жизни автора как-то не принято. Во-вторых, как сказано выше, переписка Куприна вообще не опубликована. Надо ли понимать так, что Пименов настаивает на срочной публикации именно этого письма? Где же — на первой странице «Правды» или на девятой — «Литературной газеты»?

Возможно, такая публикация состоялась бы еще четверть века назад, если бы не некоторое событие, происшедшее в марте 1953 года. Что поделаешь — не успели! Но не надо отчаиваться: не все потеряно. Сегодня Револют Пименов процитировал, завтра, глядишь, еще какой-нибудь прогрессист процитирует, потом третий... Так оно потихоньку и в печать дорогу пробьет, ну хоть в тот же «Наш современник». Или вмонтируют приведенную Пименовым ароматную цитатку в радио- или телепередачу в связи с какой-нибудь купринской датой — вместе с отрывками из «Гранатового браслета» или «Олеси». А пока, до лучших времен, пусть бродит по рукам, пусть «воспиты-

вает» молодежь, приуговляя ее к дальнейшему спуску на низшие ступени культуры...

Вот и еще одна примета духовного союза ревнителей «православия, самодержавия и народности» с официозной «элитой». Ведь выйти в «самиздат» это письмо могло только из ЦГАЛИ — респектабельнейшего официального учреждения<sup>1</sup>.

Меня не ЦГАЛИ интересует и не Глазунов. Меня интересует сторонник свободы мысли, терпимости и взаимопонимания Револьт Пименов, призывающий в конце своего эссе разобраться в истории последних ста лет, в причинах возникновения зла — и для этого терпеливо выслушать все мнения.

Нельзя не присоединиться к этому его призыву. Но нельзя и ставить знак равенства между терпеливым выслушиванием чужих **мнений** и терпеливым выслушиванием **оскорблений**. «Мнения», доказываемые не анализом исторических фактов, а такими пассажами, как «еврейский галдеж, еврейская истеричность, ...еврейская страсть господствовать...» (Куприн) или «...страна (Россия)... без веры, без традиций, без культуры и умения делать дело» (Амальрик), ничего не доказывают и не проясняют. Это лишь всплеск низкопробных эмоций, искусственно сведенных Пименовым вместе, несмотря на шестидесятилетний временной разрыв между ними. И аргумент, почерпнутый из арсенала коммунальной кухни («Так можно говорить о русских? Так я же покажу, как можно говорить о евреях!»), Пименова не оправдывает.

Нельзя так говорить — ни о русских, ни о евреях, ни о каком народе. Амальрика, как и Глазунова, не оправдаешь Куприным, а Куприна — Амальриком. И вообще, если мы действительно хотим всерьез разобраться в причинах **социального** зла, надо отказаться от попыток искать эти причины в **национальности** участников исторического процесса. Национальные характеры существуют, но национальной иерархии **нет**, кроме как в воспаленных национализмом мозгах. Именно этой воспаленностью объясняется популярность у современных интеллектуалов (в том числе и диссидентского толка) двух хотя и противоположных, но одинаково, по-моему, античеловечных идей — идеи бого-

<sup>1</sup> Могло оно, впрочем, выйти и из-за рубежа. Это, однако, не опровергает наличия духовного альянса. Идеология, как известно, не знает границ — черносотенная идеология в том числе.

избранности еврейского народа и идеи превосходства русской души. С той только разницей (мы ведь живем не в мире абстракций, а в реальных исторических условиях), что первая идея не находит поддержки у тех, кому ведать надлежит, а вторая ими усиленно рекламируется. И не замечать этой разницы Пименову — негоже.

\* \* \*

...Было время, когда русская интеллигенция считала антисемитизм постыдным (может быть, на эту «тиранию» общественного мнения и жаловался Куприн?). Но это время давно прошло. За последние четыре десятилетия сначала Сталин, а затем «реальный социализм» почти окончательно излечили последующие поколения от этой неуместной застенчивости (выросла она из атавистического предрассудка, что плевать человеку в лицо вообще нехорошо, а тому, у кого связаны руки, и подавно). От таких моральных предрассудков — как и от понятия «общественное мнение» — многие наши современники давно освободились. Иллюстрировать это можно разными примерами — в том числе и некоторыми картинами любимого Пименовым художника. Об одной из них, не упомянутой в пименовском обзоре, мне хочется сказать несколько слов (не знаю, экспонируется ли она на нынешней выставке, но на предыдущей представлена была).

...Небольшой поясной портрет. Изображены на нем двое. Старший — жгучий брюнет с резкими, типично еврейскими чертами лица, младший — русоволосый, голубоглазый, прелестный юноша есенинского типа.

И подпись: «Каин и Авель»...

Комментарии — требуются?

«Ради вот такого прямого обращения к чувствам и пишутся картины...» (Пименов). Верно. Так вот, я спрашиваю Пименова: добром или злом считает он возбуждаемые этой картиной чувства?

Нет, я не предлагаю изъять из обращения ни картину «Каин и Авель», ни письмо Куприна. Я предлагаю вообще ничего из обращения не изымать. Пусть письмо Куприна публикуется **в ряду других скрываемых и не публикуемых ныне документов** нашей общественной жизни. Пусть демонстрируются — **в ряду других** — и картины Глазунова. Но отдать себе отчет в том, **что** мы читаем и **что** видим, что, кем и во имя чего превозносится, — к этому я призываю.

Возбуждение и культивирование национальной ненависти (не только антисемитизма: антисемитизм лишь наиболее легко, по ряду причин, усваиваемая форма такой ненависти) — зло, способное разрастись (и постепенно разрастается) в грибовидное облако. И в этом опасность не только для евреев, татар, узбеков или китайцев (хотя и это — вспомним Гете! — не должно оставлять нас равнодушными), но в первую очередь для самого русского народа. Евреев можно выселить (и это будет трагедией и для многих евреев, и для многих русских), китайцев можно победить (и это будет стоить большой крови и китайцам и русским). Но русскому народу некуда деваться от своей земли, своей культуры, которую он, переплетаясь с этими народами, создал.

### III

Что значит любить свой народ? Да то же, что любить человека. Любить — значит любить. Ты неразрывен с любимым, тебе больно, когда больно ему, радостно, когда он счастлив. Ты гордишься его достоинствами и стыдишься его пороков (хотя не перестаешь из-за них его любить), ты защищаешь его и помогаешь ему, когда он нуждается в защите и помощи... И есть еще десятки, может, сотни примет и оттенков любви, которые ни в какой перечень не уложишь — и никакой классификации они не поддаются.

Но ненависть к чуждому не есть признак любви к своему. И принципиальное равнодушие к чужой беде и боли тоже нельзя рассматривать как такой признак, даже если его декларируют некоторые поэты (например, В. Солоухин в стихотворении «Люблю своих детей...»). Презрение к чужой душе не обедняет ли собственную? А применительно к своему народу не есть ли призыв замкнуться на себе самом, отгородиться колючей проволокой от «чужаков» — не единокровных, не единоверцев, не единомышленников, — не есть ли это, по существу, призыв спустить национальную культуру на низшую ступень, лишить ее мирового дыхания и общечеловеческого значения?

Духовная самоизоляция не способствует, а противодействует самосохранению, жизненной силе и здоровью нации и национальной культуры: в результате такой самоизоляции культура хиреет, становится хрупкой и ломкой. Мы все (и Пименов в том числе) хорошо

знаем, что такое цензура и «железный занавес», как ограничивают они возможности культуры, как затрудняют духовное общение и взаимопонимание людей. Но вот, по Пименову, оказывается, что эта затрудненность общения — не столько результат внешних условий, специфики общественных отношений, сколько ВЕЧНЫЕ СВОЙСТВА, изначально присущие РУССКОЙ ДУШЕ. Неспособность к со-обществу Пименов объявляет чертой русского национального характера.

Это похуже, чем то, что сказал о русском народе Амальрик, и я думаю, что для такой характеристики у Пименова нет оснований. Впрочем, он и не пытается доказать свое утверждение ничем, кроме ссылок на того же Глазунова и на приемы древней русской иконописи. Это я обсуждать не буду (не специалист). Мне гораздо интереснее, как Пименов определяет эту самую РУССКУЮ ДУШУ, о которой так много писали в XIX веке и еще больше пишут сейчас.

Заявив, что Глазунов «превосходно передал русскую душу» (не всю, конечно, добавляет он, это была бы неисполнимая задача). Пименов уточняет: под «русской душой» он, Пименов, здесь понимает «строй мыслей и чувств деревенского населения околосмоленских областей, ну хотя бы бывшего Владимиро-Суздальского княжества».

Мне, честно говоря, непонятно, как можно так делить душу народа. Мне непонятно само словосочетание: русская душа Нечерноземья, русская душа Урала... А если еще выделить специально «деревенское» и «городское» население, то и вовсе запутаешься. То есть я понимаю, конечно, что в ряде научных дисциплин (социологии, экономике, статистике, фольклористике и др.) такое расщепление на области и ареалы обитания вполне обоснованно. Только при чем тут «душа»?

И я так и не поняла бы, наверное, что значит «русская душа деревенского населения бывшего Владимиро-Суздальского княжества», если бы мне не разъяснил этого Пименов. Все же я успела испытать легкое недоумение: обладал ли бессмертной (и национальной) душой обитатель русского Севера Михайло Ломоносов и обладают ли ею его земляки, наши современники, — скажем, Ф. Абрамов или В. Белов? А Василий Шукшин? А Павел Бажов? А Валентин Распутин?

Но недоумение тут же рассеялось.

«Этнически,— продолжает Пименов сразу же после упоминания Владимиро-Суздальского княжества,— **это, конечно, сплав славянской и финно-угорской крови (меря, весь, чудь), но столь древний** (подчеркнуто мной.— *Р. Л.*), что законно говорить о РУССКОЙ ДУШЕ».

Вот тут уже что-то похожее на искренность! Душа народа, по Пименову, определяется расой, кровью (знакомые слова, не правда ли?). Добиваться в конце XX века полной расовой чистоты трудновато (это Пименов понимает). Но он все же настаивает на том, что говорить о РУССКОЙ душе ЗАКОННО лишь в том случае, если эта душа обитает в теле, обладающем достаточно древним «сплавом крови». Надо бы справиться у специалистов по расовому вопросу (не завелись ли у нас уже свои, отечественные?): сколько для этого должно пройти поколений?

Вот только как быть с Пушкиным, с Александром Сергеевичем? Ведь его «сплав крови» не столь древний, как у «деревенского населения бывшего Владимиро-Суздальского княжества»: всего-то четвертое поколение! Прадед Александра Сергеевича был, как известно, чистокровным эфиопом, о чем ему в свое время напомнил Фаддей Булгарин.

А другие? Зачислять ли в русские поэты Жуковского, Фета, Блока, Ахматову? Или признать их русскими поэтами, лишенными русской души? Мать Жуковского была турчанка, отец Блока — немец, дед и бабушка Ахматовой — татары, родители Бориса Пастернака — евреи. Да и тончайший русский лирик А. Фет, несмотря на дарованные ему потомственное дворянство и фамилию Шеншин, был — о ужас! — чистокровный еврей. Как и русский художник Исаак Левитан — кстати, певец природы «околомосковских областей».

И еще много можно найти великих русских людей, чья кровь не выдержала бы расового анализа, а биография — современной анкеты.

Вот мы и пришли к «крови» и «расе» — низшей ступени культуры и начальной ступени фашистской «теории».

К чести ранних славянофилов, нужно сказать, что они, в отличие от тех, кто сегодня претендует на их наследие, сортировки по расовому признаку не произ-



водили. Они понимали, что душу нации образует не кровь, а **культура** — ценность, не упоминаемая Пименовым в его «списке добра».

Я не хочу спорить о терминах. Религиозное понимание души мне чуждо, в философии я не очень разбираюсь, поэтому примем термин «душа народа» как условное обозначение его духовной жизни. Содержание этой жизни и есть **культура**, и в нее входят все созданные народом на протяжении его истории духовные ценности. И творят их люди без предъявления справок о национальной, религиозной или партийной принадлежности. Признает же их ценностями или отбрасывает как отходы сама ИСТОРИЯ — и никто больше. При этом можно установить определенную закономерность: чем бдительнее ограждают национальную культуру от «чуждых влияний», чем суровее запирают ее на замок, подобно пушкинскому скупому рыцарю, тем быстрее обесцениваются ее сокровища, тем неотвратимее бледнеет ее своеобразие. Как реке, чтобы не застояться и не обмелеть, необходимо течь и орошать берега — все равно, свои или чужие, — так и национальной культуре необходимо не только сохранять свои ценности **для себя**, но и щедро вносить их как свой особый, своеобразный вклад в мировую культуру. И, в свою очередь, не стесняясь, черпать из чужого источника, делая «чужое» своим, не боясь никаких «влияний» и никакого «смешения крови». Только так и создается великая культура, только так сохраняет она свое национальное лицо, избегая вырождения, неизбежного в духоте замкнутости, в искусственной атмосфере непрветриваемого помещения.

Потому-то так опасны нынешние объединенные усилия «инстанций» и «неославянофилов» под предлогом «охранения» русской души от растленных влияний запереть ее в терем — государственно ли идеологический или древнерелигиозный. Всякий запретительный отбор — по признаку ли идеологии, по пятому ли пункту или по тому, был ты или не был у причастия — пагубен для национальной культуры. И в конечном историческом счете безрезультатен: история с ним не считается и производит отбор духовных ценностей по другим признакам. Русская монархия закрыла Герцену (тоже «нечистокровному») путь на родину, но великим русским писателем и мыслителем он от этого быть не перестал. Православ-

ный синод смог отлучить Льва Толстого от церкви, но не в его силах было отлучить гений Толстого от русской и мировой литературы и философии и помешать ему влиться в мировое ЧЕЛОВЕЧЕСТВО. Ни травля Булгакова (русского), ни убийство Мандельштама (еврея) не смогли помешать им обоим стать **явлениями** русской и мировой культуры. И никто — ни власти, ни разнообразные «идеологии» — не в состоянии отлучить от русского народа и его культуры ни Солженицына, ни Горького. Как бы кто к каждому из них ни относился, какие бы грехи за каждым из них ни числились и какие бы роковые просчеты или ошибки кто из них ни совершал. И независимо от того, как они входили в литературу — под красным знаменем или под крестным знаменем.

\* \* \*

Мы живем сегодня в мире, который одни называют «прекрасным и яростным», другие — «безумным, безумным, безумным». Кажется, в нем есть и то и другое. Не странно ли, что в этом безумном мире, где всякому мыслящему и любящему свой народ человеку следовало бы бережно хранить и укреплять чувство общечеловеческой близости, все грознее и грознее пылают костры национальной ненависти? И мне представляется, что некоторые современники, подбрасывающие горючее в эти костры, так же не понимают, что они делают, как та старушка, что принесла вязанку хвороста к костру Яна Гуса.

Но старушка-то была «святая простота» — а они? ...Здесь я хочу вернуться к эссе Пименова в той его части, где он описывает картину Глазунова «Мистерия XX века». Картина эта на выставку не допущена, Пименов видел только ее репродукцию, я и вовсе не видела. Но, если судить по описанию Пименова, это вообще не картина, а своего рода фотомонтаж, пропагандистский плакат, в котором не следует искать ни «ума холодных наблюдений», ни «сердца горестных замет». Это — публицистическая декларация о Добре и Зле, как их понимает художник.

Как же он их понимает?

До крайности просто. Не выходя за пределы политической географии (Запад — Восток) и пресловутого «пятого пункта». С одной стороны колючей проволоки — «силы добра», куда художник вместе с

Христом и Львом Толстым поместил Николая II и Столыпина. С другой стороны — «силы зла», где собрано множество евреев, большевиков и иностранцев. По какому принципу подобраны евреи и большевики — понятно, что же касается иностранцев, подбор их вызывает некоторое недоумение (так и хочется спросить, как в анекдоте: «А велосипедистов за что?»).

Уклоняясь (и на этот раз, как с письмом Куприна) от собственной оценки, Пименов воспроизводит недоуменные вопросы некоторых знакомых. Но делает это он так снобистски-надменно, в таком элитарно-презрительном тоне, что иной робкий читатель, пожалуй, постережется прямо задать автору вопрос: а вы-то сами как относитесь к такому «раскладу»?

Не боясь надменной иронии Пименова, рискну все же спросить: а действительно, при чем тут Ганди? Почему попал в «силы зла» он — сторонник ненасильственных действий, зверски убитый насильниками? А чем провинился Хемингуэй? Или Чарли Чаплин (впрочем, Чаплин — еврей, какие же могут быть вопросы: зло — изначально)? Но почему, например, Григорий Распутин — только на грани добра и зла, а Пикассо (даже не еврей!) — зло несомненное?

Пименову «расклад ясен», мне не вполне, хотя я признаю, что своя логика в нем есть. Это та же античеловеческая логика деления людей не на правых и виноватых или, допустим, добрых и злых, а на «своих» и «чужих».

К оценке этой логики Пименов обещает перейти в следующей рубрике. Но — не переходит. Он снова занимает позицию двусмысленного «нейтралитета», именуемую им «терпимость», хотя на поверку она подчас оборачивается простой недобросовестностью.

Вот пример. Иронически отзываясь о тех, кто подсчитывает процент не чисто русской крови у функционеров Октября, Пименов делает следующую сноску:

«Может быть, полезно **при серьезном обсуждении этой концепции** (подчеркнуто мной.— *Р. Л.*) вспомнить также и тот **исторический факт** (?), что Рыков, Бухарин, Томский, Киров, Куйбышев, **поддержавшие Сталина отчасти по мотивам «мы русские, а они — евреи (?!) ...»**

Обратите внимание, как все просто делается. Объяснение истоков русской революции процентом нерус-

ской крови ее участников объявляется **концепцией**, которую надо **серьезно обсуждать**. А версию о национальной розни между большевиками первого призыва даже обсуждать не надо: она сразу возводится в ранг «исторического факта»<sup>1</sup>.

Еще пример. Говоря о «Мистерии», автор эссе замечает: «Вообще-то все лица даны с фотографии, находок здесь нет, но вот Маяковский дан гениально».

В чем гениальность? Оказывается, в том, что общеизвестной фотографии Маяковского художник пририсовал «кулак с маузером по величине больше фигуры Маяковского», и этот маузер «нацелен прямо в лицо зрителю».

Полноте, какая тут гениальность? Старый-престарый прием карикатуры, тысячекратно использованный карикатуристами всех стран и всех газет мира... Просто Пименов очень уж рад, что Маяковского поместили в «силы зла», — и потому даже дешевый стереотип выдает за гениальность.

Стереотипы бывают не только конформистские, но и нонконформистские — и они тоже отучают думать. Поносить Маяковского — расхожая нонконформистская мода. Казенный стереотип («лучший, талантливейший поэт эпохи») легко заменяется противоположными стереотипами («Маяковский? «Ваше слово, товарищ маузер!» Поэтизация насилия? Не буду читать!»).

А что поймете вы в русской душе, русской истории и русской поэзии пред- и послеоктябрьских лет, пропустив Маяковского, который «в каждой капле слезовой течи распял себя на кресте»? И которого в 20-х годах взхлеб читали ищущие «немедленной справедливости» мальчики и девочки со «спрашивающими» глазами.

История есть история. Из нее, как из песни, слова не выкинешь.

Не придерживается Пименов элементарного такта, упоминая об изображенном в «Мистерии» изувеченном

<sup>1</sup> Историческим фактом принято называть то, что доказано документально. Таких доказательств Пименов не приводит и на них не ссылается. Документально доказано противоположное: что Сталин во внутрипартийной борьбе в числе других средств пытался пустить в ход антисемитизм. Это не дает никаких оснований приписывать такие методы (или такие мотивы) политическим противникам Сталина. У этих людей достаточно собственных грехов — и приписывать им, мертвым, пороки тех, кто их убил (а заодно и свои собственные), по-моему, безнравственно.

Троцком. «На мой вкус (?!), — пишет гуманный и объективный автор, — живой Троцкий был куда отвратительнее».

Живого Троцкого я, в отличие от Пименова, видела, а с его направлением в молодости отчаянно боролась. Могу засвидетельствовать: ни уродлив, ни отвратителен он не был (не прибавляю «на мой вкус», ибо слово «вкус» представляется мне в данном контексте неуместным). Но, может быть, это метафора и Пименов имеет в виду не внешность Троцкого, а его идеологию? Тогда почему он не предъявляет таких требований (требований символизации) к другим персонажам «Мистерии»? Или это просто очередной всплеск эмоций в духе известного изречения «труп врага всегда хорошо пахнет»?

Говорят, Сталин очень любил это изречение? Похоже.

Не берусь сказать, где погибло больше людей на фронтах первой мировой войны, когда во главе России и русской армии стоял Николай II. Не берусь также сказать, что легче: быть расстрелянным или умереть от удара ледорубом по черепу. Но берусь утверждать: на совести Николая Романова — смерть не одного ребенка, как у комиссара Юровского, а **многих** детей. Чтобы далеко не ходить за примерами — хотя бы смерть тех мальцов, которые в январе 1905 года были срезаны пулями на Дворцовой площади перед Зимним. Я не оправдываю убийство ребенка, я лишь предлагаю придерживаться «универсальной морали», к которой взывает Пименов. Да и какое такое добро принес Николай Романов России и русскому народу, чтобы прощать ему грехи?

Глазунов такими вопросами не задается: он помещает последнего царя в «силы добра» для того, чтобы реабилитировать идею русской монархии. Пименов, одобрительно комментируя карикатуры на Маяковского и Троцкого, мимо фигуры Николая II проходит молча.

...Так, легкими штрихами, расстановкой акцентов автор эссе практически соглашается с «раскладом» художника, по которому с одной стороны добро — Крест и Русская Держава, с другой зло — весь остальной мир. И прежде всего Троцкий, жида и китайцы. А также Ганди, Пикассо и Хемингуэй.

Трудно признать такой «расклад» способствующим терпимости и взаимопониманию, к которым призывает

Пименов в конце своего эссе. Разве только взаимопониманию Евсеева и Шиманова, Шиманова и Пикуля, Пикуля и Глазунова, Глазунова — и покровительствующих ему чиновников. Но об этом что ж заботиться — они и так друг друга понимают. И их мировоззрение (в иных случаях здесь уместнее говорить о миро- и человеконенавистничестве) все более сближается.

#### IV

А у каждой из этих сближающихся мировоззренческих точек есть своя периферия. И в эту идеологическую периферию все больше втягиваются новые слои. Социально они разнообразны: от шоферов, прилепляющих на ветровые стекла своих машин портреты Сталина как символа великодержавности, до кандидатов гуманитарных и негуманитарных наук, сдавших все экзамены по марксизму. Часть этих последних хорошо понимает переориентацию верхов с былых коммунистических идей на шовинистические, но понимает также «интимный» характер этой переориентации: анекдот про «Абрамчика» или про «косоглазых» они охотно расскажут в своей «номенклатурной» среде, но поостерегутся произносить его на приеме делегаций западных компартий или на общем собрании. Эти заранее запасаются и широко пользуются двойной фразеологией. Другие, более образованные и менее циничные, пытаются теоретически обосновать привитый им еще во младенчестве шовинизм и примирить таким образом «душу» с «карьерой».

Третьи... третьи совсем другие. Среди них действительно есть много мальчиков со «спрашивающими» глазами. Они бросаются в национализм и в «неославянофильство» как в воду, спасаясь от мертвой засухи догматического «марксизма». А среди неофициальных и полуофициальных великодержавников и черносотенцев есть люди последовательные и даже в каком-то смысле искренние — и их неправда в глазах молодежи начинает выглядеть по-своему привлекательной по сравнению с неправдой их официальных коллег. «Пусть национализм, — не столько размышляют, сколько ощущают иные «спрашивающие» мальчики, — пусть монархия, пусть черносотенство, пусть национальная ненависть, пусть бог или дьявол — только бы что-нибудь от

души, «из глубин», а не надоевшее талдыченье неосуществленных, несбывшихся, не подтвержденных жизнью лозунгов».

Я не намереваюсь приравнять Пименова к этим мальчикам — он человек взрослый. Но, мне думается, в его апологетическом эссе многое навеяно аналогичными эмоциями, может быть пережитыми гораздо раньше, чем он встретился с творчеством Глазунова.

И похоже, отсюда же желчь Прыжова (см. печатающиеся в следующем номере (8-м) «Поисков» заметки «Стальной щетиною сверкая...»), направленная им против «либералов», но старательно отведенная от «почвенников», хотя последние куда больше повинны в содружестве с идеологией «стальных штыков», чем первые. Тоже эмоциональный взрыв: надоел «эзопов язык», надоели бесконечные уступки позиций, уклончивость и осторожность, боязнь оторваться от идеологической пуповины, которая хочешь не хочешь незримо связывает вчерашних яростных антисталинистов со Сталиным. Пусть «хоч гірше, та інше»!

Понять — можно, согласиться с выводами — нельзя. Справедливо негодование против тех современных «либералов», которые трусливо стремятся поскорее вписаться в официоз и получить прощение за свое свободомыслие начала 60-х годов. Но недопустимо сваливать в одну кучу с ними Твардовского, Ромма, Тарковского и многих других пионеров свободы и раскованности мысли. То, что они потерпели поражение, их не преуменьшает и не отменяет. Все мы, перефразируя известное изречение, вышли из «Нового мира» Твардовского, все продолжали двигаться, но отнюдь не все, уйдя дальше Твардовского, избрали верное направление. Шапку, по-моему, следует снять перед Тарковским за «Зеркало», а перед Роммом — за «Обыкновенный фашизм», где резко отграничено добро от зла, человеческое — от античеловеческого, а не устанавливается, как у Пименова, моральная «вселенская смазь», признающая «терпимо» и «с уважением» относиться к отечественному неофашизму. Да, Глазунову и его единомышленникам, в отличие от «либералов», союз с властью удался. Но значит ли это, что «победителей не судят»?

Я — не «славянофил» и не «западник», и мне такое разделение людей в сегодняшней России, в конце XX века кажется столь же неестественным и неоправданным, как глазуновская попытка разделить колючей проволокой Льва Толстого и Чарли Чаплина. Но нельзя не видеть, что в каждой из этих двух позиций, если покопаться, можно найти свою частичку, свою крупичку правды — и нет большего соблазна, чем выдать эту крохотную крупичку за всю правду, сполна. Национализм так и делает, подменяя в понятии добра общечеловеческое национальным (в котором есть свое добро), а все инациональное переводя в категорию зла.

По мне, так ни Древняя Русь, ни современный Запад, ни уже тем более наше современное общество тоталитарного «социализма» не являются эталоном, образцом, к которому следует стремиться. А вот стремиться к освобождению умов и душ от все более овладевающей ими идеологии, обосновывающей национальную ненависть и национальное обособление, — следует. Помня при этом, что эта идеология часто выступает в двоемысленной, уклончивой, ускользающей форме полуправды, которая хуже прямой лжи.

Проблема современного националистического поветрия заслуживает, конечно, гораздо более глубокого рассмотрения, чем содержат эти заметки, сделанные по конкретному поводу (выставка картин Глазунова и эссе Пименова). Но и эта выставка, и пименовская апология ее, и катаевский «Алмазный мой венец», и роман Пикуля о Григории Распутине — все это приметы времени, признаки наступления националистической идеологии, входящей в моду. А то, что входит в моду, укореняется в сознании большого круга людей. С этой точки зрения небезынтересен даже такой забавный пустяк, как стиль информации о погоде, напечатанной в «Правде» 1 октября 1979 года. Она начинается так: «**Издавна на Руси** (подчеркнуто мной.— *Р.Л.*) октябрь называют листопадом...» А дальше в метеорологической сводке речь идет не только о **Руси**, но и о Прибалтике, Украине, Молдавии, Средней Азии, то есть о ряде национальных республик, в которых и листья-то падают в разное время...

Мелочь? Мелочь. Но — «довлает дневи злоба его».



## ВОТ КАК ЭТО БЫЛО

(Отрывки из воспоминаний)

Все-таки я напишу об этом. Потому что это правда: все так и было. Понимаю, что и сама я при этом буду выглядеть не так чтоб уж очень приглядно, не так чтоб уж очень умно. Что поделаешь: «мы все глупели, хоть умными были» — это Коржавин сказал точно.

В августе 1949 года (числа не помню), придя на работу в Радиокомитет, я обнаружила на своем столе узенькую бумажку типа повестки, на которой под копирку, с вписанной от руки фамилией, было напечатано примерно следующее:

*«Тов. Лерт Р. Б. В связи с реорганизацией Радиокомитета с ..... числа августа 1949 г. освобождаетесь от работы с выплатой двухнедельного пособия.*

*Зав. отделом Б. Горшин».*

Не могу сказать, что я удивилась: я этого ждала. Удивила только форма — мне впервые пришлось столкнуться с такой странной манерой извещать работников, что в нем больше не нуждаются.

Горшина в кабинете не было. Я повернулась и ушла. Я торопилась в милицию: незадолго до того сдала на обмен паспорт, и первая мысль у меня мелькнула такая: «Надо получить паспорт, пока в милиции не знают, что я без работы». Мысль, скажу в скобках, не такая уж глупая. Правда, слово «тунеядец» тогда еще в моде не было, и о проекте перевоспитывать некую мелкобуржуазную нацию в бараках, строящихся «далеко от Москвы», я ничего не знала. Но, видно, сработало какое-то чутье, подсознание или еще черт-те что. Во всяком случае, я поняла, что безработица будет нелегкой и долгой.

На лестнице мне встретились трое юношей, по виду студенты. Один из них спросил:

— Не скажете ли, как нам найти товарища Лерт?

Я назвала себя. Мальчики обрадовались и сообщили: они — студенты Института международных отношений, их прислали в наш отдел на практику, они слышали от прежних практикантов, что я много вожусь с молодежью, и им хочется сразу установить со мной контакт.

Не вдаваясь в подробности, я сообщила, что в

Радиокомитете больше не работаю и контакт со мной им ни к чему. Мальчики пошли по лестнице вверх, а я вниз — и это было символично, чего я, впрочем, еще не понимала.

То, что я пишу, нескромно. Мне придется и дальше быть нескромной. Чтобы все стало понятно, мне придется хоть бегло рассказать о своей работе во время войны. А этой работой я горжусь.

В 1949 году, когда меня за ненадобностью уволили из Радиокомитета, где я работала обозревателем-комментатором по международным вопросам, мне исполнилось 44 года. Журналистский стаж мой, в который входила работа в разнообразных редакциях — от многотиражки и районной газеты до «Правды», — равнялся 23 годам. «Международником» я стала 22 июня 1941 года — с той минуты, когда, выслушав речь Молотова, прибежала на работу в ТАСС, узнала, что зачислена в новый отдел контрпропаганды, взяла сунутые мне в руки листы «белого ТАССа» — и села писать первую передачу.

Люди, собранные в новый отдел, были профессиональными журналистами, но международниками почти все стали «по ходу дела». Когда-нибудь я подробно опишу, как мы работали и жили во время войны, а здесь скажу только, что и по количеству и по качеству написанного, и по творческой самоотдаче, по счастливой уверенности в том, что делаешь правое и нужное дело, — эти четыре года были необыкновенными.

Мы работали в нетопленых комнатах, голодные и обтрепанные. Мы курили немислимый «филичевый табак», а если попадались нормальные сигареты или папиросы, то остатки табака из окурков аккуратно ссыпались в жестяную коробочку, стоявшую на столе у каждого курящего. Мы писали по два-три материала в день, выжимая свои мозги, как творог, и отказавшись на время войны от гонораров. Мы проводили на работе семнадцать-восемнадцать часов, и, когда семьи наши вернулись из эвакуации, мне, у которой были ребенок и больная мать, почти не оставалось времени для сна. Потому что ночью надо было стирать, без конца чинить расползавшуюся одежду и, главное, готовить какую-то еду, приобретая попутно с профессией международника фантастические кулинарные навыки. Помню, например, изобретенные мной невероятные оладьи из провернутой картофельной шелухи

с добавлением гущи суррогатного кофе и малой толики яичного порошка.

Но какое все это имело значение по сравнению с тем, что переживала страна, с тем, что происходило на фронте, на захваченных врагом территориях, в блокированном Ленинграде! Все мы рвались на фронт, но нас не пускали. Когда я, договорившись с редактором фронтовой газеты, подала заявление об уходе, руководитель ТАСС сначала наорал на меня за «романтизм», а потом, смягчившись, добавил, что мои фельетоны, передаваемые по радио, более «дальнобойны», чем были бы мои корреспонденции во фронтовой газете. Не знаю, так ли это было на самом деле. Но воспитанное годами пребывания в партии чувство дисциплины не позволило мне последовать совету редактора фронтовой газеты и попросту «драпануть» в армию («ведь не с фронта бежишь, а на фронт»). Позже я узнала, что Э. Казакевич, например, так именно и сделал — и поступил, видимо, правильно.

Так или иначе, я осталась — и всю войну писала по два-три фельетона ежедневно и каждый вторник полемизировала с главным политическим обозревателем фашистской Германии Дитмаром, а каждую пятницу — с самим Геббельсом, еженедельно печатавшим статью в «Дас Райх» (наши материалы немедленно переводились и по радио передавались на Германию и другие страны — враждебные, нейтральные и союзные). Каков был коэффициент полезного действия нашей работы? Откуда мне знать! Думаю, что в те времена, когда фашисты наступали, он был незначителен, но по мере того, как Советская Армия все успешнее билась и гнала врага, эффективность пропаганды возрастала. Во всяком случае, мы чувствовали, что делаем нужное народу дело. **Как** мы его делали — судить не нам. Впрочем, в конце войны тогдашний руководитель ТАСС Н. Пальгунов, оценивая на одном из партийных собраний работу отдела пропаганды, заявил, что за эти годы у нас выросли «обозреватели мирового класса», и назвал несколько фамилий, весьма лестно поставив их рядом с именами Женестьева Табуи и Дороти Томпсон.

В ЦК партии, куда нас, пятерых сотрудников отдела, вызвали в первых числах мая 1945 года, за несколько дней до Победы, нам тоже сказали много лестных слов по поводу нашей работы во время войны — и тут

же предложили перейти в Радиокomiteт, которому нынче, в наступающее мирное время, предстояло стать уже не передатчиком, а организатором радиопропаганды.

Мы пытались отказаться. Мне, в частности, очень не хотелось уходить из коллектива, в котором я проработала всю войну, где много было пережито и организовались прочные, похожие на фронтовые, связи. Но нас быстро привели в чувство апелляцией все к той же партийной дисциплине. Вскоре мы ознакомились с выпиской из решения Оргбюро ЦК, коим все мы пятеро переводились на работу в Радиокomiteт. Это также льстило: вот мы какие, о нас выносится специальное решение Оргбюро!

Пятого мая 1945 года я начала работать в Радиокomiteте. Первых дней работы я просто не помню: они вытеснены чудесной ночью с 8 на 9 мая, когда вдруг заговорило радио, осветились все окна, люди выбежали на улицу, плакали, смеялись, целовали друг друга, качали военных...

...Между этой навсегда запомнившейся майской ночью 1945 года и тем августовским днем 1949 года, когда я осталась без работы, прошло четыре с небольшим года — почти столь же напряженных, как и военные. Пришлось освоить англо-африканскую тематику: в связи с ярко выраженной полемической манерой письма мне через некоторое время поручили полемику с Черчиллем и Даллесом. До этого, впрочем, я попала в санаторий. Почти все мы во время войны держались нервным напряжением. Кончилась война — и сразу все дало себя знать: многолетняя голодовка, мозговое переутомление, смерть близких, тревога за детей<sup>1</sup>. Принимая меня в санаторий, врачи трижды перемеривали давление: казалось невероятным, что человек, явившийся не из больницы, а с работы, функционирует с давлением 70/40...

Итак, после войны я четыре с лишним года работала в Радиокomiteте — как будто не хуже, чем во время войны: при полном признании, с полной нагрузкой и полной отдачей. Печатались мои фельетоны и статьи и в общей прессе: в журнале «Новое время», в газете «Труд» и др. И вдруг как итог: «...освобождаетесь от работы с выплатой двухнедельного пособия...»

<sup>1</sup> Сына и племянника.

Почему же я этого и ждала и не ждала?

Несмотря на то что к тому времени «антикосмополитская» кампания уже бушевала вовсю, я сначала простодушно подумала, что меня-то лично уволили не за то, что я еврейка, а за «длинный язык», за «плохой характер», за критические выступления, в общем — за непочтение к начальству. Такое бывало и раньше, а тут еще заместителем председателя Радиокomiteта был только что назначен бывший одно время моим начальником по ТАСС Д. Краминов, который терпеть меня не мог.

Все это, может быть, как-то повлияло на то, что меня уволили одной из первых. Но дальше все прояснилось. В течение нескольких дней из Радиокomiteта «в связи с реорганизацией» удалили больше ста человек. Из них пять-шесть было русских, остальные — евреи. Несколько евреев, оставшихся на работе, отличались (это знали все) двумя свойствами: малыми способностями и великим послушанием. То же происходило и в других «идеологических» организациях: редакциях газет, журналов, вузах, школах и др.

Когда я вспоминаю те дни, больше всего поражает меня моя собственная и многих моих друзей реакция на события. Боже мой, какая глупость! Помню, я говорила сестре, как мне хочется лично поговорить со Сталиным, как важно рассказать ему об извращении партийных принципов. Примерно таким же духом были проникнуты мои тогдашние письма в ЦК: Сталину, Суслову, не помню кому еще. Я вроде бы доказывала в этих письмах, что **мне** нельзя не верить, что я — честный коммунист. **Мне!** А другим? Другим евреям? Они — агенты «Джойнт»? А крымским татарам? А калмыкам? А балкарцам?

Мне стыдно вспомнить, что в 1945 году, приехав в расположенный в Нальчике санаторий, я очень спокойно прошла мимо трагедии выселенных из этих мест балкарцев. Нет, что-то царапало, конечно, сердце, что-то тревожило совесть, возникала иногда при взгляде на могучие сады и старые домики мучительная мысль о тех, кто строил эти дома и насаждал эти сады. Вставал, вставал, колотился в мозгу все тот же недоуменный, назойливый вопрос: как может весь народ оказаться изменником? Весь народ? С грудными младенцами? Со школьниками, учившимися в советских школах? Со стариками и старухами? С коммунистами

и комсомольцами? С солдатами и офицерами, ранеными на фронте?

Нет, уж если писать полную правду, так подробно, так детализированно я тогда не думала. Царапавшийся в сердце вопрос отгонялся, подавлялся. Подавлялся спасительной формулой: «Наверно, это было необходимо, наверно, этого требовали военные соображения». То есть все тем же «так надо», которое позволяло нам — идейным, честным, бескорыстным — еще раньше мириться с бесчеловечной практикой выселения семей, признанных кулацкими, с массовыми арестами и ссылками — троцкистов, правых, бывших дворян, ученых-генетиков, коммунистов, священников — миллионов людей, вовсе не занимавшихся антисоветской деятельностью.

Теперь-то я понимаю, как страшно это «наверно, так надо», каким губительным оказался для моей партии, моей страны, моих социалистических идеалов этот вперед выдаваемый, бесконтрольный, пожизненный вексель доверия: можете нас не спрашивать, делайте как надо, вам виднее.

Слишком поздно поняло это мое поколение!

И конечно, очень стыдно, что многое начинаешь понимать только тогда, когда обух падает именно на **твою** голову. И то не сразу.

Акция, проведенная в августе 1949 года в Радиокomitee, была не первой и, повторяю, не неожиданной. Антисемитизм стал вползать в нашу государственную и партийную политику, сначала незаметно — еще до войны, развернулся во время войны и пышным цветом расцвел в конце 40-х — начале 50-х годов. Небезынтересно, что началось все это под флагом все того же политического прагматизма, того же «так надо», во время нашего кратковременного романа с гитлеровской Германией. Именно тогда из «Правды» и «Известий» вдруг стали исчезать фамилии известных международных журналистов, иностранных корреспондентов Иерухимовича, Гутнера и других — и вместо них появились псевдонимы И. Ермашов, Д. Гутнов и прочие (потом, кстати, очень удобно было обвинять их в том, что они за этими псевдонимами прячутся). Никто из нас даже не поморщился: наверно, «так надо» — из соображений высокой международной политики. Помню, кто-то рассказал, как во время обсуждения — то ли в МК партии, то ли в ЦК комсомола — кандидатуры

выдвигаемой на пост секретаря МК комсомола девушки с еврейской фамилией «некто» поморщился и сказал: «Неужели в Москве нельзя найти подходящую русскую комсомолку?» И тоже подумали: «А ведь верно, так будет лучше!» И ничего **такого** в этом не увидели.

Но вот как могли мы не увидеть признаков политического перерождения, политической беспринципности в молниеносном исчезновении в 1939 году из нашей прессы разоблачения фашизма? Ведь сразу исчезло все: описание гитлеровских зверств, разоблачение гитлеровской «национальной политики», гитлеровских методов подавления, гитлеровских бесчинств в оккупированных странах. И как быстро это дало плоды!

Вспомнила один характерный разговор.

Происходил он летом 1940 года в подмосковном санатории партийного актива. Утром я, как и все отдыхающие, набросилась на газеты и узнала, что фашисты заняли Париж. На соседней скамейке в парке рядом со мной тоже читали газеты и обменивались мнениями двое мужчин средних лет, по типу — секретари подмосковных райкомов. И вдруг я услышала, что один из них с восторгом — да, да, с восторгом! — говорит: «Ты смотри, до чего здорово немцы идут! Сила, а?» И другой отвечает ему: «Да, молодцы, ничего не скажешь!»

До такого «так надо» я все-таки пасть не могла. Я повернулась к моим соседям и спросила их: чему они радуются? Тому, что немецкие фашисты оскверняют город, который был колыбелью всех европейских революций? Тому, что фашисты могут теперь всласть поиздеваться над стеной парижских коммунаров? Тому, что они могут теперь рубить головы не только немецким, но и французским рабочим?

Собеседники простодушно удивились моему взрыву и начали доказывать — словами, явно услышанными недавно от докладчика, — что эта война империалистическая с обеих сторон... что англо-французский империализм... французская компартия не поддерживает свое правительство... Договор с Германией... Я не дослушала и ушла, сказав на прощанье:

— Теперь, когда немцы взяли Париж, французская компартия возглавит сопротивление — или ее не будет вовсе...

Что ж, это оказалось правильным. Но почему я понимала только часть правды?

...Во время войны антисемитизм — во всяком случае, в Москве — вползал тихо, незаметно, как бы со стороны, как бы не сверху, как бы распространяясь невидимой заразой с оккупированных фашистами территорий. Откровеннее, открытее проявлял себя директивный великодержавный шовинизм, рядившийся в патриотическую тогу. Направленно, тенденциозно, нарочито в печати подчеркивался и воспевался не советский, а именно и только **русский** патриотизм — вплоть до «шапок» в газетах «ГОРЖУСЬ ТЕМ, ЧТО Я — РУССКИЙ!» Чем же было гордиться другим народам? Или они должны были стыдиться того, что они — не русские? Сражались и умирали на фронте и русские и нерусские солдаты, теряли мужей и сыновей и русские и нерусские жены и матери. И героизм проявляли люди всех национальностей, и по двенадцать часов у станков работали все, и голодали все. Почему надо было выкапывать из истории Дмитрия Донского, Александра Невского и Суворова, почему социалистическое государство, воюя против фашизма, разворачивало именно эти знамена — этого я не понимала. И, приняв всей душой очень искреннее, очень эмоциональное стихотворение К. Симонова «Убей немца», я не могла согласиться с его **заголовком**: нет, не немца, по-моему, надо было призывать убивать, а **фашиста**. Нужды нет, что практически это было одно и то же: каждый немец, воевавший в гитлеровской армии, был для нас фашистом. Вот его, фашиста, «сколько раз увидишь, столько и убей». Это было бы не противопоставлением русского — немцу, а противопоставлением советского — фашисту. И это было бы призывом ко всем — и к тем, кого выкормила не только русская, но и украинская, белорусская, грузинская, еврейская женщина.

Да, душа моя, воспитанная на интернационализме, не принимала внезапно вспыхнувшего национализма. Не принимала она, например, заявления Алексея Толстого, что Маяковский со своей проповедью интернационализма «устарел». Как не принимала она воскрешения виселицы или заявлений некоторых ретивых товарищей, что «всех немцев, начиная от четырехлетнего возраста, надо вырезать». Так, между прочим, походя сказал работавший со мной бок о бок в контрпропаганде Петр Ш<sup>1</sup>. Фразу эту он обронил в сентяб-

---

<sup>1</sup> Петр Шари, будущий редактор журнала «Пионер».



ре 1941 года. А через месяц, 16 октября, в день внезапной эвакуации из Москвы, Ш., тридцатитрехлетний здоровый мужик, явился в вагон, сгибаясь под тяжестью мешков: пока другие добивались, чтобы их оставили оборонять Москву, он был занят мыслью о том, как бы вывезти все свое барахло... Все-таки жестокость, наверно, как-то связана с трусостью и корыстью.

Все так. Но вот почему я, до хрипоты спорившая с такими, как Ш., или с моими собеседниками в санатории имени Артема, молчала тогда, когда неприемлемые, отвращающие меня идеи провозглашались с высокой трибуны? Мирилась же я с этим. Не возражала. Почему?

Я и пишу эти заметки, чтобы понять: почему?

Почему я, в общем человек не трусливый, промолчала, прочитав в 1940 году в газете выступление Молотова, в котором он, черным по белому, заявлял, что в наше время «идеологических войн не бывает», и интервью Сталина, где он, издеваясь над «кафешантантными политиками», заверял мир в миролюбии Гитлера?

Ведь я не была с этим согласна. Ведь меня возмутило заявление того же Молотова, что Польша не имеет права на самостоятельное государственное существование. И массовые репрессии я не оправдывала. Тем более что к тому времени я уже многое (конечно, меньше, чем впоследствии, но все же многое) знала.

И все-таки молчала. Почему?

Понять не значит простить. Наоборот, чтобы осудить — обязательно надо понять. Осудить, не попытавшись разобраться, — это уже было. То, что я пишу здесь, — попытка разобраться в душе моего поколения, несущего историческую ответственность за многие беды. Размышления эти по ходу работы случайно вклинились в описание того, как идеология интернационализма перерождалась в идеологию национализма, но это ведь не единственный показатель перерождения.

Ну вот хотя бы разговор в тамбуре вагона, в поезде, едущем на восток 16 октября 1941 года. Вызвал меня в тамбур для «разговора по душам» заместитель начальника моего отдела Ф., и вот по какому поводу.

Мы отъезжали от Москвы. На душе было скверно. На душе было горько. И вдруг группа молодежи, в основном мужской и по возрасту вполне пригодной для фронта, запела какую-то веселую песню. Я сорва-

лась с места и сказала им что-то резкое, может быть, и не совсем справедливое (они не были виноваты в том, что их забронировали). Вот по этому поводу Ф. и вправлял мне мозги в тамбуре.

— Чего ты напустилась на ребят? Пусть поют — бодрости больше будет. Что, собственно, случилось? Партия и правительство знают, кому оборонять Москву, а кому уезжать, они спасают ценные кадры...

Мне пришлось прервать его и сказать, что я все понимаю, кроме одного: почему он, сорокалетний мужчина, коммунист, так уверен в том, что он имеет моральное право спастись, а не спасать?

Вот эта уверенность в своем праве на привилегии — когда она появилась? И почему мы молчали, молчали, молчали?

Проще всего объяснить это страхом. Многие так и объясняют. Чаще всего так объясняют люди, считающие аморальной самое коммунистическую идеологию. Это очень просто и очень удобно: раз люди отказались от бога, значит, им «все позволено» — и так далее.

Просто, но — неправда. Правда гораздо сложнее, и ближе всех к ней подошел в своей «Таньке» и в «По ком звонит колокол» Н. Коржавин. У нас, коммунистов, были и совесть, и разум, и принципы, но мы сделали то, чего никто не имеет права делать и чего не имеет права требовать никакой демократический централизм: мы передоверили и свой разум, и свою совесть Центральному Комитету, а практически — Сталину. И когда наша совесть бунтовала, а разум настораживал и указывал: «Смотри!», мы зажимали глаза и уши и твердили: «Наверно, так надо!», или: «Мы ведь не знаем всех соображений!» (а почему не знаем?), или: «Да, это неверно, но нельзя же компрометировать партию, ведь враги...» Почему мы это делали? Из страха? Отчасти — да, но страх этот был особый (что вовсе нас не оправдывает, конечно). Ручаюсь за многих моих друзей: они не боялись ни смерти, ни нужды, ни пыток (впрочем, о пытках, как правило, ничего не знали: может, потому и не боялись?). Боялись они **позора**. О, этот страх позора, страх оказаться изгоем, отверженным, отвергнутым своей партией, творившей, как мы верили, великое дело освобождения человечества. Вот в этой-то вере, в этом обожествлении, в этом культе — даже не Сталина, а **партии**,

**организации** — и лежала главная причина того, что мы подавляли голос своей совести. Как во всякой религии, предмет культа отделился от реальной жизни, стал обобщенным идеальным образом — и верить этому идеальному образу, отказываясь от своих личных сомнений и размышлений, стало **догмой, долгом**. В общем, читайте книгу Б. Данэма «Герои и еретики» — там все об этом сказано.

...Я отвлеклась от реальных событий ради моих размышлений — а ведь моя главная задача описать, как это было.

...В первые годы войны антисемитизм сверху (в частности, в кадровой политике) в Москве еще не ощущался. Однако были бы у нас время и навыки размышлять — и мы обратили бы внимание на одну новую черту: взрыв проявлений бытового антисемитизма при полном отсутствии осуждения его. Помню, в самые голодные для Москвы месяцы, в начале 1942 года, распространился упорный слух, что где-то на Земляном валу милиция арестовала еврейку, которая-де заманивала маленьких детей, убивала их и делала из них котлеты на продажу. Этот вариант дела Бейлиса в сочетании с сюжетом Бабы-Яги циркулировал долго и упорно, причем находились бабки, утверждавшие, что они чуть ли не сами видели это мясо с детскими пальчиками. При желании очень легко было расследовать, кем и для чего пущен слух, и опровергнуть его — хотя бы в беседах на предприятиях. Ничего подобного сделано не было.

Мы объясняли распространение антисемитизма фашистской заразой, идущей с оккупированных, а потом освобожденных территорий. Но тут оказывалась некоторая неувязка. Казалось бы, налицо действительная — а не вымышленная — вражеская пропаганда: почему бы против нее не бороться? Так, легко было опровергнуть гнусные слухи, что все евреи — в Ташкенте: столько было евреев сражавшихся, погибших на фронтах, совершивших героические поступки. Но об этом — молчали. Печать наша на сей счет как бы оглохла и ослепла. Еще не пришло время для тщательного подбора в газетах и журналах имен и фамилий, должствующих иллюстрировать буржуазность еврейской нации; еще не шли, как впоследствии, волной фельетоны, в которых одни только Соломоны Гинзбурги и Моисей Рабиновичи, как на подбор, воровали и

брали взятки, в то время как все остальные самоотверженно работали и совершали подвиги; политически и психологически еще невозможно было появление в печати такого грязного опуса, как знаменитый «Пиня из Жмеринки» Василия Ардаматского, напечатанный в «Крокодиле» в 1952 году. Но все это политически и психологически подготавливалось. Подготавливалось тем, что из перечня людей, совершивших героические и просто благородные поступки, еврейские фамилии аккуратно вычеркивались.

Так, ни одна московская газета ни словом не обмолвилась о подвиге московской студентки Люси Канторович. Года на два старше Зои Космодемьянской, девушка эта проявила не меньшую нравственную силу, чем ее русская сестра. Студентка филологического факультета МГУ Люся (Лия) Канторович добровольно пошла на фронт санитаркой и, когда командир подразделения был убит, подняла дрогнувших было бойцов в атаку. И погибла — с тем же, увы, именем на устах, что и Зоя.

...К концу войны все уже понимали, хотя вслух и не произносили, что каждая нация должна «знать свое место». Шла тихая, молчаливая, но деятельная пересортировка аппарата под углом знаменитого «пятого пункта». Началась соответствующая политика и при приеме в вузы, и при распределении окончивших. Моя двоюродная сестра — студентка Киевского университета, эвакуировавшаяся с учреждением отца в Свердловск и тем спасшаяся от Бабьего Яра (где погибли другие мои родственники) — поступила в Свердловске в находившийся там же в эвакуации Московский университет. Окончила она его в Москве, живя в общежитии, получила диплом с отличием и была выдвинута кафедрой в аспирантуру. Но это происходило уже, если не ошибаюсь, в 1945 году — ее кандидатуру не утвердили, а руководителю кафедры профессору Тагеру указали на бестактность выдвижения студентки с такой неподходящей фамилией. Профессор Тагер — известный литературовед — потом в частных беседах жаловался, что его поставили в неловкое положение («Надо было предупредить: в конце концов, самого прекрасного студента всегда можно «завалить» на экзаменах»). Жалобы профессора, как мы знаем, впоследствии были приняты во внимание.

Так вот, эта самая девушка и ее мать, вернув-

шись после войны в родной Киев (отец умер в эвакуации), прожили 20 (двадцать!) лет, снимая угол, где можно было поставить только одну кровать, — и так все двадцать лет и спали в одной кровати. Хотя дом, где они жили до войны и в котором в 1921 году девушка родилась, был целехонек, а их две комнаты в коммунальной квартире занимали люди, вселившиеся туда во время фашистской оккупации. Мать так и умерла в «углу» от рака.

Это — одна из многих, отнюдь не самых страшных историй. В Киеве, Одессе, Харькове и других украинских городах многим вернувшимся из эвакуации — и с фронта! — евреям отказывали и в работе, и в возвращении жилой площади.

А вот новелла другого рода — тоже не из самых страшных.

...В обычной московской коммунальной квартире жил мальчик-школьник с матерью<sup>1</sup>. Родился он здесь же, в Москве, в 1928 году, и в 1944 году пришла ему пора получать паспорт. Мальчик был, как говорят в Америке и Южной Африке, «метис» (у нас это, кажется, теперь называется «половинка»): отец — русский, мать — еврейка. Отец, член партии с 1918 года, был в 1937 году арестован и расстрелян; мать, тоже коммунистка, уцелела, вероятно, потому, что незадолго до событий 1937 года они разошлись и жили в разных городах. И мать и сын были интернационалистами, т. е. личностями, с точки зрения его высокопревосходительства Иосифа Сталина и его сиятельства Алексея Толстого (равно как с точки зрения современных аппаратчиков, а также легальных и нелегальных «вечевцев» и «вехистов»), вполне старомодными. И вот старомодной шестнадцатилетней личности интернационалистских убеждений предстоит получать паспорт, в котором надо проставить национальность. Какую — матери или отца? Матери — тридцать восемь лет, и она, несмотря на свои идеальные воззрения, уже понимает, что еврею сыну будет гораздо труднее жить, чем русским, — и сколько это будет продолжаться, она не знает. Матери, как всякой матери, не хочется, чтобы сын мучился. Но заговорить с ним об этом ей — **стыдно!** Стыдно — и все! Наконец она пересиливает

---

<sup>1</sup> Р. Б. Лерт рассказывает о себе самой и своем сыне И. А. Энгельгардте.

себя и равнодушно спрашивает, глядя на принесенную из милиции «форму №...»:

— А какую ты поставишь национальность?

И слышит в ответ:

— Видишь ли, мама, если бы не было антисемитизма, я бы, конечно, написал, что я русский. Ну какой я еврей — ни языка не знаю, ничего... Но поскольку антисемитизм есть, напишу «еврей». С какой стати я буду отречься от матери? Ведь с отцом я почти не жил. Что же получается: когда выгодно, мать вспоминать, а когда выгодно — отца? Ты же меня учила: поступать не как выгодно, а как правильно...

И мать не нашлась, что сказать. Потом жалела об этом: может быть, вся судьба мальчика, пошедшая вкривь и вкось, была бы другой... А чтобы остаться порядочным человеком, разве обязательно испытывать добавочные национальные унижения?

Вот еще одна история, по-моему необыкновенно явственно передающая то, что называется «ароматом эпохи».

...В 1943 году примчалась ко мне в Москву в страшном отчаянии подруга. Жила она с дочерью в одном из волжских областных городов, преподавала в педагогическом институте, и там же, на втором курсе, училась ее дочь. Девушку эту — назовем ее Т., — очень красивую, увидел на улице какой-то работник МГБ, узнал, где она учится, и стал вызывать к себе и вербовать в «сексоты». Делал он это, разумеется, с многозначительным «подумайте!» и с угрожающими предупреждениями никому не говорить. Ну, маме-то она, конечно, сказала... Что делать, боже мой, что делать?

Требовались совет и помощь. Я ничего не могла придумать, кроме предложения: переводи ее в какой-нибудь московский вуз. В самом деле: никаких оснований для шантажа у эмгэбэшника не было, просто девушка ему понравилась, и он хотел, чтобы она попала ему в руки. Значит, надо, чтобы она исчезла с его глаз.

С помощью некоторых влиятельных людей удалось перевести девушку в МГУ и прописать ее временно у меня в комнате, где я жила с сыном. Т. стала третьей в семье; появилась у меня, кроме сына, дочь. Правда, семья быстро увеличилась: вслед за Т. примчался в Москву и тоже поступил в МГУ влюблен-

ный в нее (обозначим его Л.) юноша, скоро ставший ее мужем. Это было уже трудно: одна комната в 17 метров, влюбленная пара, пятнадцатилетний школьник, немолодая, чуть не круглые сутки работающая женщина... Но ничего, мы обходились. Жили дружно, готовили немудреные «карточные» продукты, читали стихи, обсуждали все политические и литературные новости. Молодые советовались со мной по всем вопросам.

Случалось нам, разумеется, и болеть, и ухаживать друг за другом во время болезни. И вот однажды Т. и Л. заболели в один день: ее с острым приступом аппендицита увезли в больницу, у него оказалась тяжелая ангина с высокой температурой. Мы выхаживали его вдвоем с сестрой: если я была занята, она приезжала кормить его и готовить компрессы и полоскание.

Как раз в это время из Смоленска приехала мать Л., пришла навестить сына и застала его уже выздоравливающим. Посидела, повздыхала, посмотрела, как ухаживает за ним моя сестра, а потом пошла в больницу навестить невестку. И сказала ей:

— Бедный, лежит больной, а кругом одни жида!

Это была уже зоология. Я знаю другой, более добродушный вид антисемитизма, происходящий больше от невежества и выражающийся в таких примерно стереотипных формулировках: «А вы совсем не похожи на еврейку!» (в качестве сомнительного комплимента), или: «Смотри, евреи, а какие хорошие люди!». Но жалеть сына за то, что о нем по-матерински заботится еврейка, — вот тут я поняла, на каких гнусных инстинктах играет фашизм.

Я попросила передать этой глупой и злой старухе, чтобы она больше не переступала порог моего дома. Л. был очень расстроен, видно было, что ему стыдно. Но какие я могла иметь к нему претензии — он в самом деле не мог отвечать за свою мать. А в его собственном поведении я не видела ни намека на националистическую чуму.

И вдруг произошла метаморфоза с самим Л. Вдруг ли?

Дело шло к окончанию университета. Это было уже после войны, году в 1948-м. Л. предполагалось оставить в аспирантуре, но дело осложнялось тем, что у него не

было жилой площади и постоянной прописки в Москве. Как быть?

Я посоветовала: о жилплощади не говорить, жить пока, как и до сих пор, у меня. А когда он поступит в аспирантуру, а Т. — на работу, просить МГУ предоставить комнату в общежитии на Стромынке.

Так и сделали. Все прошло блестяще. Л. не только утвердили аспирантом, но и избрали секретарем партбюро филологического факультета и членом парткома МГУ. Произошло это избрание в начале 1949 года, т. е. за несколько месяцев до моего удаления из Радиокomiteта.

И вот тут-то произошла метаморфоза.

Новоиспеченный парторг внезапно перестал вести со мной разговоры на политические темы. Перестал сообщать университетские новости. Перестал задавать вопросы («Раиса Борисовна, а как вы думаете?..»). Особенно тщательно обходился национальный вопрос. Еще занесколько недель до того Л. негодовал по поводу удаления из МГУ преподавателей-евреев, допытывался, что означает знаменитое «раскрытие псевдонимов» в «Литературной газете», как понимать кампанию против некоторых театральных критиков и т. п. (задним числом не могу не сказать, что мои ответы были достаточно беспомощны: я и сама себе не могла бы признаться в том, что должна была объяснить ему).

А тут все разговоры прекратились — и в комнате воцарилось напряженное, неловкое, недоброе молчание. Это было тем мучительнее, что в Радиокomiteте антисемитская кампания бушевала уже всюду. Вскоре это ставшее неестественным сожительство, слава богу, прекратилось: дали им наконец комнату на Стромынке. Позже я поняла, почему молчал Л.: в качестве секретаря парторганизации он проводил на факультете то же самое, что делалось у нас в Радиокomiteте: изгонял из профессуры и из партии недовыгнанных в предыдущий период преподавателей-евреев (в том числе и любимую свою преподавательницу, место которой он впоследствии занял)<sup>1</sup>. Что же ему, в самом деле, было мне говорить и о чем советовать?

...После переезда Л. и Т. на Стромынку мы виделись еще раза два-три: то ли надо было им выписываться, то ли брать какие-то остававшиеся в моей комнате вещи. Последняя встреча была двадцать пять лет назад — в начале 1950 года, в разгар моей безработицы. Безра-

<sup>1</sup> Р. Гальперину.



ботица эта, кстати говоря, не повергла моих недавних «близких родственников» в смятение: не заметила я не только попытки помочь, но хотя бы стремления оказать так называемую «моральную поддержку».

Ныне мой бывший подопечный преуспевает. Доктор наук, профессор, декан филологического факультета МГУ, он известен также (правда, весьма узкому кругу) как автор двух-трех обстоятельных, хотя и очень скучных трудов. По отзывам работающих с ним и учившихся у него, человек он образованный, неплохой лектор, но литературовед полностью бездарный, а главное — совершенно беспринципный, конъюнктурщик, всегда говорящий то, что велено<sup>1</sup>.

Вспоминая этого некогда способного студента, я думаю, что от природы он не был бездарен. Просто он дорого заплатил за свое положение и за свои ученые звания. Стараясь играть беспроегрышно, он много лет приучался думать и говорить по-заданному и — отучился самостоятельно мыслить. Что же в таком случае интересного может он сказать или написать?

И антисемитская деятельность Л. входила в ту же плату за чечевичную похлебку. Он лично не был антисемитом. Но нельзя было в те годы сделать карьеру в идеологической области, оставаясь чистым. Аспирант Р. Самарина, парторг факультета, Л. либо должен был проводить соответствующую линию, либо — сойти с беговой дорожки и в лучшем случае (только в лучшем!) оказаться преподавателем в каком-нибудь провинциальном пединституте. Этого он не хотел. Он хотел сделать карьеру. И карьеру сделал.

Так отбирались и формировались идеологические кадры, которым сейчас примерно лет пятьдесят.

...Что происходило в это время в Радиокomiteе?

В течение зимы 1948—1949 годов всю шла так называемая «борьба с космополитизмом». Доходила она поистине до рекордов. Дело было не только в пресловутом «приоритете», согласно которому Россия первая

---

<sup>1</sup> Примечание 1981 года. Пришла пора раскрыть инициалы. Я не упомянула фамилии «героя», потому что жалела его жену, которую знала еще пятилетней девочкой. Но недавно она умерла, а его мне жалеть нечего. Обозначенный буквой Л персонаж — это Леонид Григорьевич Андреев. Правда, с тех пор как писался очерк, произошла какая-то заминка в его карьере: в 1980 году он перестал быть деканом филфака, оставшись лишь заведующим кафедрой. Причины этого мне неизвестны.

сказала «а» решительно во всех областях культуры. Дошло до того, что фамилии великих людей иностранного происхождения стали попросту вычеркивать из передач. Мне, в частности, предъявили обвинение, что я слишком часто цитирую иностранных классиков. Я пыталась доказывать, что в радиопередаче на Англию лучше цитировать Свифта и Диккенса, чем Гоголя и Салтыкова-Щедрина. Тщетно!

Никогда не забуду состоявшегося в те дни партийного собрания с повесткой дня: «О борьбе с космополитизмом».

Доклад делал С. Г. Лапин — тогдашний заместитель председателя Радиокomiteта, впоследствии наш посол в Югославии, затем руководитель ТАСС, а ныне — председатель Комитета по телевидению и радиовещанию. Очень типичная фигура — из тех, кто пришел на руководящие должности в конце 30-х — начале 40-х годов, кто не только может, но и должен с полным правом петь: «Нас вырастил Сталин...»

Всего доклада я, разумеется, не помню. Но достаточно и того, что я крепко запомнила.

Говоря о «безродных космополитах» в литературе, докладчик особенно подчеркивал зловредную роль Эдуарда Багрицкого, оклеветавшего в лице Опанаса украинское крестьянство, которое никогда — ни боже мой! — ни в каких махновских бандах не участвовало. Мало того, Багрицкий со злонамеренной целью сделал героическим комиссаром некоего Иосифа Когана, что также является искажением действительности (прямо не говорилось, но явственно давалось понять, что по самой своей сути никакой Коган героем быть не может). Покончив с Багрицким, Лапин перешел к Эренбургу, который в его изображении оказывался едва ли не провокатором, толкнувшим Гитлера на войну против СССР, и уж во всяком случае «безродным космополитом», нагло признающим в своей любви к Франции. «Какой-то Эренбург смеет...» — гремел голос докладчика, который сам не то что статью, путную корреспонденцию никогда не умел написать.

Но венцом доклада была расправа С. Г. Лапина с Росси и Растрелли.

Радиокomiteт ежедневно передавал тогда «Календарь памятных дат». Видимо, готовясь к докладу, Лапин просматривал тексты этих передач и нашел, что «Календарь» популяризирует слишком многих людей с нерус-

скими фамилиями. Не знаю, что он предлагал наверху: может быть, отменить Дарвина, ликвидировать как класс Спинозу, Маркса переименовать в Маркова, а Беринга — в Берегова. В докладе он ограничился тем, что обрушился на редакцию «Календаря» с обвинением ее в «потере бдительности».

Вот что он сказал, и я передаю это почти стенографически (запомнилось, наверно, потому, что за протекшую с тех пор четверть века — а уж чем только она не была богата! — я не слыхала и не читала ничего, что может с этим сравниться, кроме, пожалуй, творений И. Шевцова):

«Всем известно, что изумительные архитектурные ансамбли Ленинграда созданы руками русских зодчих и русских умельцев. Несмотря на это, редакция «Календаря» решила почему-то отмечать юбилеи **неких итальянских проходимцев Растрелли и Росси**, низкопоклоннически приписав им шедевры русского зодчества».

Я чувствую, что мне не поверят. Поверить трудно, я понимаю. Но, честное слово, все так и было сказано С. Г. Лапиным с трибуны партийного собрания в начале 1949 года. Невежество? Да, конечно, но можно же было хоть в энциклопедию заглянуть. А зачем? Нужен был пример «потери бдительности», проявления «безродного космополитизма», «низкопоклонства перед иностранщиной» — и вот он пример: прославляют итальянцев вместо русских...

И это еще не самое страшное.

На собрании присутствовало много людей, которые, в отличие от С. Г. Лапина, знали, кто такие Росси и Растрелли. Эти люди могли тут же, на собрании, объяснить докладчику, что оба они — великие русские зодчие итальянского происхождения, что все их творения сооружены в России и что именно им принадлежит честь создания многих великолепных ансамблей Ленинграда. Могла это сделать и я. И сидевшая рядом со мной приятельница. Но мы только переглянулись — и промолчали. Промолчали и другие. Никто не вступился за честь не только Багрицкого и Эренбурга, но даже Росси и Растрелли.

Могу я сейчас оправдать это молчание? Не могу. Но объяснить — могу.

Тот нерассуждающий страх, который заставил людей молчать, был вызван тем, что все уже знали: всякая попытка протестовать против «антикосмополитической»

кампании автоматически влечет за собой репрессии. Не только для евреев. В редакцию «Правды» и других газет в начале этой кампании посыпались возмущенные письма русских людей — коммунистов и беспартийных. Авторов таких писем немедленно исключали из партии, снимали с работы, а иногда и арестовывали — независимо от национальности. Что же касается евреев, то и в самом Радиокomiteте, и вокруг — в газетах, журналах, во всей печати шло нарастающее увольнение их (реже — с исключением из партии). Уволенные либо ходили без работы, либо, потеряв всякую надежду найти работу, соответствующую их квалификации, шли на любую неквалифицированную. При слиянии двух газет «попала под сокращение» моя вернувшаяся с фронта сестра, тоже журналистка, и вернуться в журналистику уже не могла: с 1945 года по 1960, вплоть до ухода на пенсию, работала корректором в типографии. Таких примеров были десятки, сотни на глазах: под разными предлогами (сокращение, реорганизация, ошибка — подлинная или мнимая, «собственное желание» и т. д., и т. п.) людей «освобождали» от работы — и они мигот теряли и любимую профессию, и свой социальный статус, и элементарную материальную обеспеченность семьи. Иногда работу все же предлагали: какую — об этом скажу позже, когда буду рассказывать о своей безработице.

До упомянутого выше партийного собрания я не помню увольнений из Радиокomiteта по национальному признаку. Надо отдать справедливость тогдашнему председателю ВРК А. Пузину: он не стремился выслужиться по этой линии и, видимо, поэтому, в отличие от Лапина, скоро исчез с номенклатурного горизонта. Что же касается заместителя председателя ВРК по иностранному вещанию Георгия Ивановича Беспалова, то это был человек, «новому курсу» абсолютно противопоказанный.

Член партии с 1918 года, участник гражданской войны, бывший работник КИМа и Коминтерна, брат погибшего в сталинских лагерях литературоведа Ивана Беспалова, Георгий Беспалов пошел на фронт Великой Отечественной войны добровольно рядовым и вернулся полковником боевой разведки, награжденным за храбрость многими орденами и тяжелейшим ранением, из которого его с трудом вернул к жизни академик Бурденко. Георгий Беспалов проводить антисемитскую поли-

тику органически не мог. Соответствующим инстанциям это должно было стать ясно (если не было ясно до тех пор) на том же партийном собрании.

Беспалов был отличным оратором. Но ничего более жалкого и косноязычного, чем его тогдашнее выступление, я вспомнить не могу. То ли его обязали выступить, то ли сам он решил продемонстрировать свою «лояльность» (не карьеры ради, а чтобы спасти иновещание от лап очередного лапина)<sup>1</sup>, но — не смог. Не сумел притвориться и вместо лояльности продемонстрировал нелояльность: говорил общие слова, а при попытке перейти к «конкретным примерам» буквально давился еврейскими фамилиями и так ни одной из них и не произнес; наконец, круто оборвал речь чуть ли не на полуслове и сел, вытирая пот. Он тоже не сказал ни слова в защиту Росси, Растрелли, Багрицкого и Эренбурга — и все же был признан неблагонадежным. Через несколько месяцев в процессе «реорганизации» Радиокомитета Георгия Ивановича Беспалова, безусловно номенклатурного и стопроцентного русского, еще раньше, чем меня, грешную, освободили от работы с выплатой двухнедельного пособия. И заменили вполне благонадежным Даниилом Краминовым.

Но были на этом памятном собрании и другие выступления, выступления-доносы, живо напоминавшие 1931 год, только с ярко выраженной национальной окраской. После этих доносов заведены были «персональные дела» на Анатолия Тругманова и нескольких других евреев, в том числе на хорошо знакомого мне Якова Наумовича Эйдельмана.

На собрании, исключившем Якова Наумовича из партии, я не присутствовала (лежала в это время в больнице), но об этом деле буду все подробно говорить ниже — совсем по другому поводу. Здесь же скажу только о смехотворности обвинений, предъявленных ему на том самом собрании, где делал доклад Лапин. К сожалению, не помню, кто выступил с «сенсационным» разоблачением; помню только, что разоблачение сводилось вот к чему: выступавший рассказывал, как полгода назад в очереди к парикмахеру кто-то спросил

---

<sup>1</sup> Применялась тогда некоторыми и такая тактика: всеми силами держаться за свое место, чтобы оно не попало в руки черносотенцев. Тактика, конечно, бессмысленная, потому что для этого надо самому притворяться черносотенцем, а тогда зачем же держаться?

Я. Н., видел ли он уже в МХАТе пьесу А. Сурова «Зеленая улица». Спрошенный честно ответил:

— Стану я смотреть такую дрянь в МХАТе после Чехова и Горького!

Через шесть месяцев после диалога в парикмахерской выступавший расценил этот ответ как прямое продолжение антипатриотической деятельности группы театральных критиков-«космополитов», только что разоблаченных А. Фадеевым. Вскоре после этого «разоблачения» редакция «Литературной газеты» (В. Ермилов), с легкой руки М. Шолохова и М. Бубеннова, поспешила раскрыть многолетние псевдонимы этих критиков и сообщить читателям их паспортные данные. Кажется, с одним Юзовским не удалось проделать эту операцию: у него не было псевдонима. Но паспортные данные у него были.

(Не могу удержаться, чтобы не привести ходивший в ту пору среди московской интеллигенции анекдот. Двое взрослых проходят мимо играющих во дворе четырехлетних карапузов и слышат, как один кричит другому: «Жиденок, жиденок!» «Боже мой, такие маленькие, откуда это у них?» — сокрушается один. «Как откуда? — отвечает другой. — Родители интеллигентные, выписывают «Литературную газету».)

Не знаю, доходило ли где-нибудь в провинции до применения излюбленного белогвардейцами способа проверки национальности (скажи: «кукуруза»). Московских журналистов говорить «кукуруза» не заставляли, обходясь данными отделов кадров и доносами добровольцев, подобными приведенному выше. Достаточно сказать, что подслушанный в парикмахерской разговор признали достаточно криминальным, и партбюро поручено было «расследовать дело». «Дело» выглядит особенно внушительным сейчас, когда мы знаем, что даже эту зеленую гадость А. Суров не писал и вообще ни одной пьесы не написал самостоятельно. Писал их выгнанный отовсюду и зарабатывавший этой «негритянской работой» на хлеб еврей-журналист Варшавский.

Более подробно знаю я «дело» Анатолия Тругманова.

Анатолий — участник двух войн (гражданской, на которую он, один из первых комсомольцев, пошел добровольно пятнадцатилетним мальчиком, и Отечественной, на которую тоже пошел добровольно, вдвоем с

сыном) — был в конце 20-х — начале 30-х годов достаточно известным и очень способным журналистом из плеяды, которую вырастил в «Комсомольской правде» талантливый редактор Тарас Костров. После «Комсомольской правды» Тругманов работал в «Известиях» — и тоже был там замечен. А потом что-то произошло, что-то не задалось (подробностей я не знаю) — и Тругманов выскочил из обоймы. Говорят, он сильно пил, но что было причиной, а что следствием — тоже не знаю. Во всяком случае, воевал Анатолий хорошо, был награжден орденом, а после войны пришел в Радиокomitee, где работал в отделе союзной информации.

В том же отделе внештатно сотрудничал некий Мурин. Я его не знала, но слышала о нем, как о квалифицированном журналисте. Мурина этому повезло: арестованный не то в 1936, не то в 1937 году, он получил всего 3 или 5 лет, был освобожден до начала войны, воевал и остался живым. Жилплощади и прописки в Москве он не имел, жил в прославленном Александрове (стокилометровая зона от Москвы) и подрабатывал в Радиокomitee, где многие знали его по прошлой работе.

Нужно сказать, что в первые послевоенные годы свистопляска вокруг так называемых «врагов народа» несколько поутихла — может быть, потому, что война показала подлинное лицо многих людей: вчерашних «ортодоксов», становившихся изменниками, вчерашних «вольнодумцев», героически погибавших за советскую Родину. Жив в памяти и тот факт, что в 1939—1940 годах кое-кого, совсем немногих, выпустили из лагерей. И хотя выпущенные молчали, как мертвые, все равно этот факт плюс исчезновение Ежова уже давал право думать, что и «органы» могут ошибаться. Поэтому отношение к «отсидевшим» — особенно со стороны тех, кто их знал раньше — нередко было нормальным, человеческим.

Так отнеслись в Радиокomitee к Мурина. Уже не знаю, кто был повинен в этой недопустимой человечности — все от нее потом отреклись, — но на упомянутом выше партийном собрании было заявлено, что именно Анатолий Тругманов, парторг отдела, привлек в авторский актив «врага народа» Мурина. Мало того, он лично сотрудничал с ним, делая передачи совместно. Мало того, Тругманов «не дал отпора» Мурина, когда тот рассказал антисоветский анекдот.

Всего этого плюс «пятый пункт» с лихвой хватало, чтобы уволить Анатолия с работы, исключить его из партии, да обоих и посадить...

Уволить, конечно, немедленно уволили (и уже многие не замечали Тругманова и не здоровались с ним), посадить почему-то не посадили, а исключить из партии мы его все-таки не дали. Несколько человек (в том числе и автор этих строк) порылись в бухгалтерских ведомостях и доказали, что Тругманов пришел в ВРК позже, чем начал в нем сотрудничать Мурин, порылись в приказах — и доказали, что сотрудничество Тругманова и Мурина было обусловлено указаниями начальства. Доказывать, что Мурин имеет право на труд и что в рассказанном им остроумном анекдоте нет ничего антисоветского, мы все же не решились — и за выслушанный анекдот Толя получил выговор и на работе, разумеется, восстановлен не был. Походил сколько-то безработным, устроился в многотиражку — и через несколько лет умер. Не знаю отчего.

...Итак, я получила двухнедельное пособие и осталась без работы. Правда, семья у меня была невелика: я и сын, студент четвертого курса. Сестра работала, как я уже сказала, корректором — невелик заработок! — и имела сына-школьника. Всю жизнь жили мы на зарплату, не было у нас ни накоплений, ни ценных вещей, которые можно продать. Да что ценных, после войны и вообще-то вещей почти не осталось: и дешевенькие часы, и незадолго до войны купленный отрез на платье, и стандартный «мосдревовский» буфетик — все было продано за бесценок во время войны, чтобы прокормить детей и мать.

Двухнедельного пособия хватит на две недели. А что дальше?

У меня было наивное представление, что несправедливость еще можно исправить. Я была занята, очень занята. Больше, чем во время работы. Писала письма в ЦК. Ежедневно ходила к друзьям, у которых был телефон, и, пытаясь устроиться, обзванивала все редакции (а тогда не было почти ни одной, где кто-нибудь меня не знал). Готовила, стирала, чинила. Иногда удавалось получить грошовую «гонорарную» работу — делала ее. Но деньги неумолимо таяли. Повезло: в тот день, когда я дала посланному в магазин сыну последнюю десятку, оказалось, что выиграла одна из моих облигаций. Тысячу (по нынешнему — сто) рублей! Значит, еще месяц обеспечен...



Но дело было не только в заботах о зарботке. Нельзя было привыкнуть к обрушившемуся на меня ощущению своей **ненужности**, к оскорбительности самого факта, что нужно устраиваться. Вся моя жизнь, квалификация, способности — все сразу, сполна оказалось ненужным моей родине, моей стране. И тут уже нельзя было не понимать, что только по одной причине: я — еврейка. Случай-то оказывался не единственный, их было слишком много.

...Отступая от своей личной истории, хочу засвидетельствовать, что своими глазами видела (хотя тогда еще не понимала, что я вижу), как зарождался в СССР пресловутый «еврейский вопрос», снятый, казалось бы, в 1917 году. Вопреки в чем-то совпадающим утверждениям антисемитов и сионистов советские евреи до обрушившейся на них антисемитской кампании вовсе не ощущали каких-то специфических, объединяющих и выделяющих их национальных интересов. Ни общественные, ни личные — дружеские, семейные, творческие — связи не строились по национальным признакам. Мое поколение выросло в атмосфере, лишенной ядовитых испарений национальной вражды и национальной дискриминации. Другое дело, что хватало других ядовитых испарений, которые мы не замечали или старались не замечать, но от них в одинаковой мере страдали все народы. Национальная же «табель о рангах», особое внимание «пункту пятому», преследование целых национальных групп — все это началось во время войны, а на евреев, в частности, с особой силой обрушилось после войны. Нельзя сказать, что реакция таких людей, как я, на это новое явление оказалось пронизательной и трезвой. Совсем не сразу поняли мы, что дело не в отдельных злокозненных личностях, а в диктуемой сверху политике. Нас постепенно «просветили», но и просвещенные, мы не помышляли об отъезде из этой страны, которую считали своей родиной, а добивались лишь (поодиночке!) восстановления своих гражданских прав. В то время как все газеты и журналы трубили о деятельности некоей фантастической «Джойнт», в то время как в «Крокодиле» уже появились карикатуры с крючковатыми носами и подлые фельетоны Д. Заславского и В. Ардаматского, в стране, утверждаю, не было никакого сколько-нибудь заметного сионистского движения...

Мне посчастливилось получить официальное под-

тверждение этому из уст официального лектора, некоего полковника МГБ. Произошло это в апреле 1953 года, через несколько дней после опубликования официальной реабилитации кремлевских врачей. Афиши о лекции на тему «Деятельность вражеских разведок в СССР» были расклеены в комбинате «Московской правды» (в него входили издательство, типография и редакция нескольких московских газет, в том числе и «Московского строителя», где я тогда работала) еще в феврале, но в связи со смертью Сталина и другими событиями лекция несколько раз переносилась. Сама по себе завлекательная, детективная тема ее приобретала особую остроту на фоне предшествовавшей ей четырехлетней «антикосмополитской» (читай — антисемитской) пропаганды, и особенно на фоне ежедневных разоблачений в газетах диверсионной деятельности могущественной сионистской организации «Джойнт».

...И, как на грех, лекция состоялась уже не только после смерти Сталина, но и после реабилитации врачей. Однако подготовленные умы все же ждали сенсаций, и в зал набилось столько народу, что, по моему впечатлению, на эти часы остановилась работа всех редакций и всех цехов типографии. И вот — лекция началась. Лектор говорил два часа. Он перечислил все иностранные разведки и назвал множество никому не известных шпионских дел и фамилий. Но он не произнес слова «Джойнт», не употребил термина «сионизм» и даже не упомянул о евреях. Это произнесение и упоминание произвело шоковое впечатление. Аудитория недоуменно молчала. Наконец один из корректоров «Московской правды» не выдержал и задал мучивший многих вопрос: «Почему вы ничего не сказали нам о шпионской, диверсионной деятельности сионистов, и в частности о «Джойнт»?» На что лектор сухо ответил: «В СССР в разное время пытались работать подпольно разные националистические организации, но никакой специфически сионистской работы за последние годы в нашей стране не обнаружено».

Эффект был поразительный. Аудитория, однако, привычно молчала: значит, теперь почему-то надо так.

Впрочем, так было недолго. Антисемитская пропаганда несколько поутихла, массовые увольнения евреев прекратились, но политика приема на работу, принципы подбора кадров остались те же и даже постепенно ужесточались. Незаоблаченный, недискредитированный

антисемитизм был загнан внутрь, на нем вскармливался идеологический аппарат, им питалась (в чуть более осторожной форме) массовая пропаганда. И потребовалось не так уж много времени, какие-нибудь двадцать пять лет, чтобы выросло поколение евреев, которым с первого класса школы внушают и потом всей жизнью доказывают, что они — чужие, неполноправные, второсортные... Ни один уважающий себя человек не станет с этим мириться. Вот откуда выросло еврейское националистическое движение, вот где корни нынешнего стремления многих евреев уехать, а вовсе не в извечной вражде евреев ко всему иноподданному (как утверждают евсеевы, востоковы, бегуны и скурлатовы) и не в таинственно переданном через тьму веков, в крови таящемся «национальном самосознании», в «извечной тяге к древней родине» (как утверждают сионисты). Нет, еврейское националистическое движение создано и выпестовано многолетней антисемитской политикой.

...Вернусь к своей истории. Весь остаток 1949 и первую половину 1950 года я занималась поисками работы. Работы по специальности — журналистской, редакторской, литературной. На другую я идти не хотела. Тут было и упрямство, и самолюбие, и сознание того, что раз покоришься — и уже не вернешься к своему делу, как было с сестрой. А это было мое дело — я знала твердо.

Но в редакции евреев не брали. Еще несколько месяцев назад переманивали меня из Радиокomiteта журнал «Новое время», газета «Труд». Сейчас здесь кто конфузливо отводил глаза, кто сухо говорил, что работы нет. Мой личный друг, бывший секретарь парткома ТАСС (а во времена, о которых идет речь, — заместитель ответственного секретаря редакции «Известий») Алексей Иванович Кузюрин, еще до моего увольнения предупреждал: «Смотри, держись, ничего не смогу сделать: какие-то дикие установки». Работали мы когда-то в «Рабочей Москве» с Иваном Васильевичем Рябовым — в 1949—1950 годах ведущим фельетонистом «Правды» и одновременно членом редколлегии «Крокодила». Совсем недавно он предлагал мне сотрудничать в журнале, а тут сказал по телефону, что не видит смысла в личной встрече. Рябов, безусловно, не был антисемитом, он категорически отказывался писать антисемитские фельетоны. Но взять меня на работу он не мог.

Честнее всех повел себя Николай Петрович Нефедь-

ев, заместитель главного редактора «Московской правды». Мы давно знали друг друга, были на «ты». Выслушав меня, он сказал: «Будь я главным, немедленно отдал бы приказ о твоём зачислении. Но что бы я ни сказал главному о твоей квалификации, он такого приказа не отдаст».

Нефедьев очень быстро доказал, что говорил правду. Через несколько месяцев организовалась новая газета «Московский строитель», и Нефедьева назначили её главным редактором. Он тут же отыскал меня, вручил необходимые анкеты и сказал:

— Пиши заявление. Я бы назначил тебя ответственным секретарем редакции, но МК не утвердит: должность номенклатурная. Пойдешь литературным секретарем? Правда, на триста рублей меньше, но зато я просто отдаю приказ — и все...

Пойду ли я? После года безработицы, после трех месяцев работы корректором в типографии, где я не только зарабатывала гроши, но и не могла проявить никаких своих профессиональных качеств... Где они даже мешали, эти редакторские навыки, что не упускала заметить мне руководившая мной девушка, только что окончившая полиграфический техникум.

Конечно, я согласилась. И нужно сказать, что в коллективе «Московского строителя» никаких проявлений антисемитизма не случалось. Знаю, что антисемиты были, знаю их поименно, вероятно, где-нибудь на стороне они и изливали душу, но в редакции — воздерживались. Оставались кое-где такие оазисы: многое зависело от руководителя.

Но все это было уже в 1950 году. А пока шел 1949-й — и безработица продолжалась. Я писала письма во все инстанции — и время от времени «инстанции» вызывали меня и предлагали работу. Но какую?

Я написала письмо кому-то из секретарей ЦК партии — и меня вызвали в отдел радиовещания ЦК. Там мне сказали, что вмешиваться в то, как Радиокomitee подбирает свои кадры, ЦК не будет (какое внезапное «невмешательство» в работу пропагандистского аппарата!), что же касается работы, то меня могут послать в Тувинский областной радиокomitee, расположенный в городе Кызыле, неподалеку от границы с Монгольской Народной Республикой.

Я отказалась.

— Почему? — с любезным недоумением спросил инструктор ЦК товарищ В.

— Потому, что не хочу уезжать в ссылку, — не вижу за что. Объясните партийную мобилизацию, и я поеду куда угодно, в самое глухое село. А так, ни с того ни с сего уезжать из Москвы, где у меня семья, друзья, жилье... Нет, не поеду.

Похоже, В. глядел на меня с сожалением. «Дура, — думал, вероятно, он, — лучше ехать по командировке в Кызыл, чем быть высленной из Москвы в бараки на Дальнем Востоке».

...Впрочем, может быть, он еще об этом проекте не знал?

...Заведующий отделом печати Московского комитета КПСС Новохатский предложил мне ни больше ни меньше как работу продавца в книжном магазине. Хотя нет, не сразу. Сначала он послал меня на Центральный почтамт: там требовался секретарь редакции многотиражной газеты, выходящей раз в месяц. По квалификации это отбрасывало меня больше чем на двадцать лет назад, в ту пору, когда я, юная наборщица, редактировала такую же ежемесячную многотиражку типографии, — все же я согласилась: как-никак работа по специальности. Но не согласились на почтамте. Видимо, их испугал мой послужной список, особенно последняя запись в трудовой книжке: «Комментатор Всесоюзного радиокомитета по международным вопросам». А может быть, у них процент евреев уже превышал допустимый уровень — кто знает? Так или иначе, в многотиражку почтамта меня не взяли. И когда я снова пришла к Новохатскому, он предложил мне встать за прилавок. Вероятно, в этом был еще особый привкус: дескать, тебе, еврейке, самое место в торговле. В то же время попробуй откажись по соображениям социального престижа: у нас ведь всякий труд почетен...

Я ответила:

— Вот когда вас выгонят из МК, вы и пойдете в магазин...

Ответ был весьма эмоциональный, но бессмысленный. Через несколько лет Новохатского действительно выгнали из МК, но пошел он не в продавцы, а в начальники Союзпечати: из номенклатуры не выпал. Реагировал же на мою дерзость он так:

— Я вам не советую кочевряжиться. **Таких, как вы, сейчас много ходит...**

И точно, безработных евреев по Москве ходило много. К театральным критикам, журналистам, преподава-

телям вузов вскоре присоединились инженеры<sup>1</sup>, затем врачи. О врачах в связи с знаменитым «делом врачей» писалось много. Расскажу все же о двух известных мне случаях — они типичны.

В связи с арестом группы кремлевских врачей, преимущественно евреев, до всякого следствия объявленных в печати отравителями, по Москве (да и по всей стране) распространились дичайшие слухи о том, что еврей-врачи травят русских людей, особенно детей (вариант того же дела Бейлиса), выписывают вместо лекарств яды, делают какие-то специфические уколы, и прочее, и тому подобное. В результате больные стали отказываться от помощи врачей-евреев. На моей памяти два случая, когда это привело к трагическому концу — не больных, а врачей.

Родственница моих знакомых, врач с многолетним стажем, участница Великой Отечественной войны, после многократных оскорблений со стороны больных заболела манией преследования, сошла с ума и, пробыв около двадцати лет в психиатрической больнице, скончалась в ней, так и не придя в себя.

Другая — повесилась. Совсем не помню сейчас ни имени-отчества, ни фамилии ее, но одно время, очень короткое, она была участковым врачом поликлиники,

---

<sup>1</sup> В Москве тогда был популярен рассказ о том, как ответил директор автозавода имени Сталина И. Лихачев на указание пересмотреть состав руководящих работников завода под углом зрения их национальности. Ответ будто бы гласил: «Я привык подбирать работников по головам, а не по...» Было такое или не было, и когда — до или после ареста ряда заводских инженеров-евреев, не знаю. Но знаю, что в руководстве отдельными предприятиями, институтами, учреждениями тогда еще сохранились русские люди, позволявшие себе отвечать на соответствующие гнусные указания если не столь красочно по форме, то столь же принципиально по существу. Тогдашний редактор «Учительской газеты» Вера Голенкина, когда ее назначили по совместительству директором Детгиза и предложили очистить его кадры от «инородцев», отказалась проводить эту операцию, — и ее очень быстро сместили. Примерно то же произошло в Институте экономики Академии наук, руководимом Варгой. Назначенный во время болезни Варги новый заместитель директора института вызвал к себе ученого секретаря и одновременно секретаря парторганизации Масленникова и предложил ему пересмотреть список научных сотрудников института под тем же углом зрения. Тот (если верить его рассказу) не только отказался, но и сообщил об этом Варге. Возмущенный Варга тут же, из дому, позвонил Сталину. Сталин обозвал заместителя директора дураком, дурак тут же исчез из института, вместо него появился умный. Через некоторое время Масленникова перевели из института на другую работу (Варга все болела) — и операция очищения кадров прошла без всякого шума.

обслуживавшей район Петровки, где я жила. Как-то я заболела, поднялась температура, вызвали врача. Пришла незнакомая молодая женщина. Она поразила меня вовсе не свойственной прежнему врачу тщательностью выслушивания, выстукивания, продуманностью вопросов и назначений. Я сделала ей соответствующий комплимент, она усмехнулась. В процессе разговора о том, как лечить мое воспаление легких, выяснилось, что новый врач — кандидат медицинских наук, специалист по легочным заболеваниям, недавний научный сотрудник специализированного института, только что «освобожденный» от научной работы — нетрудно было догадаться почему. Она приходила еще несколько раз, вылечила меня — и больше не появлялась. Вскоре я узнала, что работала она временно, а когда ее уволили и отсюда — повесилась.

...Так вот, таких, как я, ходило много. Ходила и я. Узнала, что требуются работники в журнале «Советская женщина», и, хоть никогда не любила специфически женских изданий, все же пошла наниматься. Нет, не взяли.

Кажется, в начале 1950 года ответственным секретарем редакции газеты «Труд» был назначен Н. А. Козев, отлично знавший меня по работе в ТАСС во время войны. В «Труде», международным отделом которого заведовал бывший руководитель ИноТАСС Д. Монин, мне иногда удавалось напечататься (чаще всего без подписи). Сотрудники международного отдела сказали мне, что штаты «Труда» предполагается расширить и, хотя это расширение не коснется международного отдела, вакансии в газете будут, в частности и в особенности — в отделе писем.

Отдел писем — не то место, куда стремится квалифицированный журналист. В отделе писем, как правило, работают либо начинающие, либо не умеющие писать, либо, что называется, отработавшие, ищущие спокойной жизни. Но мне не из чего было выбирать. И уж в отдел писем, думала я, меня возьмут.

Пошла к Козеву. Можно было, впрочем, и не идти: в день первого своего дежурства новый секретарь редакции снял с полосы мой фельетон (на этот раз, к несчастью, подписной). Но я еще не умела тогда так читать язык сигналов, как сейчас, и простодушно думала, что это случайность. Пошла. Встретил меня Николай Алексеевич весьма любезно: все-таки вместе

проработали всю войну. Но когда я заговорила о работе, заметно омрачился. И ответил мне буквально следующее:

— Ну что вы, Раиса Борисовна! Такой публицист — и вдруг в отдел писем? Нет, нет — об этом не может быть и речи...

Все равно как голодному сказать:

— Хлеба? Ну что вы! Поскольку мы не можем предложить вам утку по-руански, подышайте с голоду...

Дальше все быстро прояснилось — больше ни одной моей строчки (даже без подписи) в «Труде» не напечатали.

Помыкавшись так месяцев восемь, я решила: какого черта? В конце концов, когда-то я была наборщицей. В Москве существует типография, в которой меня этому делу обучили, где я работала сдельно, получив в свое время пятый разряд. Правда, с тех пор прошло двадцать пять лет, типография переоборудована, вместо старинных «типографов», на которых я работала, в наборном цехе стоят новенькие лино типы. Но неужели я, стопроцентно грамотный человек, не сумею переучиться? И неужели даже в типографии «Красный пролетарий» меня не возьмут на работу? А писать — писать я все равно буду, где бы ни работала.

Нужно сказать, что отдел кадров типографии «Красный пролетарий» был единственным, где со мной разговаривали по-человечески. Может быть, потому, что это было предприятие, а не «идеологическое» учреждение. А может быть, потому, что заведовал этим отделом старый наборщик, знавший меня еще девчонкой с косичками. Правда, он же отговорил меня от попытки снова стать наборщицей.

— Ничего не выйдет,— грустно сказал он.— Беглость пальцев не та. И лино тип — не «типограф». Не, ничего не выйдет. Норма другая. Ты ее никогда не выполнишь, цех будешь назад тянуть — и тебе будет плохо, и типографии. Иди лучше в корректорскую: человек ты грамотный, да корректорская — часть наборного цеха, все тебе знакомо. А переменятся если времена, подвернется тебе журналистская работа — тут же отпустим, даю слово.

...Так попала я в корректорскую, где, к неудовольствию моей начальницы, очень милой девочки, густо уснащала поля оригиналов вопросительными знаками: литераторская моя душа стремилась отредактировать, а в корректорские функции это не входило...



...В корректорской я проработала всего три месяца. Начальник отдела кадров свое слово сдержал и отпустил меня, как сказано выше, в газету «Московский строитель». Описание работы в этой редакции не входит в тему этих моих очерков — хотя бы потому, что обстановка здесь была нетипичной для атмосферы начала 50-х годов. Но некоторые эпизоды вспомнить стоит.

...Почти год мне, литературному секретарю редакции, пришлось работать и за себя, и за отсутствующего ответственного секретаря, а к тому же при неукомплектованном штате. Работы было невероятно много, я приезжала домой, только чтобы несколько часов поспать. И вот однажды, в разгар верстки номера, зазвонил телефон. Я взяла трубку.

— Товарищ Лерт? — осведомился медный голос.— Раиса Борисовна? Не повторяйте моих слов. Вас вызывают на завтра, в восемнадцать часов, в Министерство государственной безопасности, Кузнецкий мост, № дома..., бюро пропусков, с паспортом. Никому об этом вызове не говорить. Вы поняли?

Да, я поняла. То есть я ничего не поняла, поняла только, что плохо. И еще я поняла, что, несмотря на все запреты, конечно, расскажу об этом вызове сестре и редактору «Московского строителя». Сестре — потому что надо же, чтобы она знала, где меня искать, если я исчезну. А Николаю Петровичу — по двум причинам. Во-первых, я просто физически не могла в назначенный час незаметно уйти из редакции, потому что это был самый «пик» моей работы. Во-вторых, редактор взял меня в газету с явным риском, под свою ответственность. И хотя ни я не чувствовала себя ни в чем виноватой, ни он ни в чем виноват не был, все-таки пусть приготовится к худшему. Ведь если меня арестуют, шкуру будут снимать и с него.

Николай Петрович проявил себя так, как я и ожидала. Когда на следующий день я сообщила ему, что вынуждена сейчас уйти, он сначала с изумлением взглянул на меня, а потом, выслушав мое объяснение, постучал карандашом по столу, промышал: «М-м-м...» — и, взглянув в окно (шел проливной дождь), сказал:

— Возьми машину, а то промокнешь.

Машину я взяла, но доехала в ней не до самого пункта назначения, чтоб не очень уж компрометировать моего отзывчивого редактора. После всяких формальностей с пропуском я очутилась в маленькой комнатке, где

за небольшим письменным столом сидел мрачного вида брюнет.

— Паспорт,— отрывисто сказал он, не поднимая на меня глаз.

Я протянула ему паспорт и, хотя у меня от страха отчаянно билось сердце, все же без приглашения села на стоявший по другую сторону письменного стола стул («чего это я буду стоять перед ним?»). Сердце забилося еще сильнее, когда мрачноватый этот дядя, невнимательно просмотрев мой паспорт, сунул его вместе с лежавшим в нем пропуском в ящик письменного стола. («Все ясно, они меня отсюда не выпустят».)

Теперь-то я понимаю, что это был простейший психологический трюк. Но тогда я этого не знала...

Разговор до какого-то момента велся непонятный. Сначала обычные анкетные вопросы, ответы на которые мой собеседник должен бы знать заранее. Затем, после установления, когда, сколько лет и в каком именно отделе Радиокomiteта я работала, мне внезапно предложили:

— Дайте характеристику каждому работнику этого отдела. Вот вам список. Говорите.

Если бы мне сделали такое предложение сейчас, я бы просто отказалась отвечать. Если бы меня вызвали в это учреждение в 1937 году (повезло, что не вызвали!), я бы, наверно, отвечала, как коржавинская Танька: «вдумчиво, прямо и честно, глядя в лица тупых ведущих дознание людей». В 1950 году я еще не дозрела до отказа отвечать на вопросы, но уже прозрела настолько, что понимала: отвечать так, как «они» хотят, нельзя. И стала давать подряд блестящие характеристики — в том числе людям, которые мне не нравились, которых я не любила и считала плохими работниками.

Впрочем, слушал брюнет невнимательно. До тех пор пока не дошло дело до Эйдельмана. Того самого Эйдельмана, которого обвиняли в космополитической непочтительности к драматургу Сурову. Здесь мой собеседник оживился и проявил незаурядную осведомленность.

— А скажите, вот в 1948 году у вас был разговор с Эйдельманом о войне в Палестине. Не припомните ли, что он говорил?

(Был такой разговор действительно года два назад. Спор даже был. В большой комнате, где кроме нас двоих присутствовало еще человек десять. «Значит,— молниеносно промелькнуло у меня в голове,— кто-то из этих де-

сяти был стукач (нет, этого слова я тогда еще не знала — «сексот»), сообщивший «куда следует»... Значит...»)

Меня спасла присущая мне быстрота реакции.

— Как я могу помнить все разговоры? В Радиокomiteте я работала несколько лет. Разговоры о международных событиях велись каждый день... Нет, не помню...

— Что значит — не помните? — повысил голос мой собеседник.— Вы мне тут не вкручивайте. Вспомните.

Я очень боялась. Но когда на меня начинают кричать, я перестаю бояться и начинаю злиться. Так произошло и здесь.

— Вы на меня не кричите,— сказала я, тоже повысив голос и поднявшись со стула.— Не кричите: я ни в чем не виновата и я вас не боюсь!

Он переменял тактику.

— Да нет, нет, успокойтесь, сядьте. Я вас вот еще о чем хотел спросить: уже после исключения Эйдельмана из партии вы говорили, что его, может быть, не следовало принимать в партию, но уж, во всяком случае, не за что исключать. Как это понимать?

(И такой разговор был. И уже не в присутствии десяти, а в присутствии всего четырех человек. Значит?..)

Хорошо, что об аресте еврейских писателей мы говорили с Эйдельманом с глазу на глаз... Об **этом** разговоре они знать не могут...)

— Понимать очень просто,— говорю я,— Эйдельман абсолютно преданный, честный советский человек, в партию он вступил на фронте, куда пошел добровольно, немолодым человеком. Но я вообще думаю, что после пятидесяти лет не следует принимать людей в партию. Они уже сформировались и переделываться им трудно. Но исключать их, как и Эйдельмана, не за что, тем более что исключение из партии в наших условиях — политическая смерть...

Ответ, как я понимаю теперь, достаточно крамольный. Но мой собеседник, во-первых, не в состоянии в этом разобраться, во-вторых, его это не интересует. Он жаждет получить от меня фактический материал против Эйдельмана.

— Скажите, он недавно приходил к вам в редакцию?

(«Значит, за ним наружная слежка, что ли? Или кто-то из наших работников...»)

— Приходил.

— Зачем?

— Искал работу (Эйдельман к тому времени был, конечно, давно уволен из Радиокомитета).

Дальше меня допрашивают, приняли ли мы его на работу (хотя, конечно, знают, что нет), почему не приняли, давно ли я знаю Эйдельмана, почему я, ответственный секретарь редакции, не помогла ему устроиться, почему не выступила в его защиту на исключившем его партсобрании, и далее в таком же роде.

Стараюсь отвечать спокойно, хотя не могу удержаться от небольшой язвительности.

— Ваша информация вас несколько подвела: я — не ответственный, а лишь литературный секретарь редакции. На работу Эйдельмана не взяли, вероятно, потому, что не было подходящей для него работы. Он был бы отличным литературным секретарем редакции, но это место занято — мною. Знаю я Эйдельмана давно, с 1936 года. Не выступала на партсобрании потому, что лежала в это время в больнице. Готова свидетельствовать в его пользу в любой партийной инстанции.

Мои показания брюнета явно не устраивают. Мне даже не предлагают подписать протокол допроса (кому он нужен, такой протокол?), а суют на подпись лишь печатный текст обязательства не разглашать состоявшийся со мной в этих стенах разговор («соблюдать государственную тайну»). Я подписываю, и меня — о счастье! — отпускают, вернув паспорт. Я бегу в редакцию, врываюсь в кабинет Нефедьева и прежде всего звоню домой. А потом тут же, не сходя с места, «разглашаю государственную тайну» — подробно рассказываю Николаю Петровичу весь секретный разговор.

Впрочем, кроме него и моих близких, до смерти Сталина я об этом разговоре действительно никому не рассказывала.

Второй эпизод связан с тем же учреждением и с его несколько даже смешным провалом (не без помощи того же незабвенного Н. П. Нефедьева, о порядочности которого я так бестрепетно пишу потому, что он уже больше двадцати лет назад умер от рака, и эту порядочность ему уже нельзя поставить в вину).

В 1951 году МК партии наконец прислал нам ответственного секретаря редакции. Имени-отчества его я не помню, пусть будет Михаил Степанович, а фамилия такая, что никто обидеться не сможет: Иванов. Поди разберись, который Иванов!

Устанавливать испытательный срок для номенклатурных работников, особенно присланных директивными органами, не принято. Однако осторожный Николай Петрович выговорил себе право в течение месяца испытать пригодность кандидата на пост ответственного секретаря. Поставили Михаилу Степановичу стол в моей комнате, стали мы с ним работать — и не потребовалось много времени, чтобы выяснить, что писать он не умеет, редактировать — тоже, организатор не блестящий и интеллектом не отличается. Но одновременно выяснилось и другое.

Примерно через неделю после своего появления в редакции Иванов внезапно, без всякой связи с предыдущим разговором, вдруг задает мне вопрос:

— Скажите, Раиса Борисовна, а П. (он называет фамилию одного из сотрудников) **тоже** пьет?

Слово **тоже** нарочито подчеркнуто. Пьет (об этом знают все) наш Николай Петрович. Никогда не приходит пьяным в редакцию. Никогда не «прогуливает». Ни в чем это на работе не отражается. Но — пьет. Видимо, если у человека есть ум и совесть, он должен либо повеситься, либо пить, либо окончательно протрезветь. Но это я понимаю сейчас. Тогда мне, как и многим сотрудникам редакции, просто было обидно, что Нефедьев пьет. Но мы ни за что не дали бы съесть его на этом основании.

Я насторожилась.

— Что значит «тоже»? — невинно спрашиваю я. — А кто еще пьет?

— Нет, — смешался Иванов, — я просто хотел спросить, пьет ли П.?

— А почему вы спрашиваете об этом меня? Спросите его самого. Вы что, думаете, что я «тоже» пью — с ним или с кем-нибудь еще?

— Ну что вы, что вы...

Разговор не состоялся. А недели две спустя мы с Ивановым ночью, сдав номер, возвращались в редакционной машине домой. Жила я ближе к редакции, в одном из переулков Малой Бронной, и меня не по рангу отвезли домой раньше. Когда машина с Пушкинской площади завернула на Большую Бронную, Иванов, сидевший рядом с шофером, обернулся и спросил:

— Раиса Борисовна, а где здесь ГОСЕТ?

За шумом мотора я не расслышала и переспросила:

— Какая газета?

— Да не газета, а ГОСЕТ, Еврейский театр...

— А-а... Это в начале Малой Бронной. Но ведь его давно не существует, он закрыт.

— Как закрыт? — ужасно удивился Иванов.— Почему?

(Диалог, прошу заметить, происходил в 1951 году. А Еврейский театр был закрыт в 1948-м, и не было ни одного москвича, который этого не знал. Тем более не мог этого не знать Иванов, работавший до «Московского строителя» в «Вечерней Москве».)

Провокация была настолько явной, глупой и неумелой, что мне даже лень было отвечать. Все же я промямлила что-то: не знаю, мол, откуда мне знать, может, был нерентабелен или еще что... Но Иванов не отставал:

— Как же так, Раиса Борисовна? Но ведь это же неправильно? В Москве много евреев — почему же закрыли Еврейский театр? В Киеве есть, в Минске есть, как же это в Москве закрыли? Почему, как вы думаете?

Тут я озлилась и сказала: если его интересует этот вопрос, пусть справится в Министерстве культуры. На том беседа окончилась. Не знаю, чем обогатила она его, а меня — необычайно ценной информацией, которой я не замедлила на следующее же утро поделиться с Нефедьевым. Он задумчиво сказал свое «м-м-м», постучал по столу красным карандашом, вызвал секретаршу и продиктовал ей приказ. «С сего числа Иванов М. С., как не выдержавший испытательного срока, освобождается от обязанностей...»

И Иванова в редакции не стало. Так Министерство государственной безопасности лишилось стукача в «Московском строителе» по причине нетребовательности к интеллекту своих кадров. Впрочем, не ручаюсь, конечно, что не было в нашей дорогой редакции других, более умных стукачей.

...Любопытна встреча, которая произошла у меня в 1952 году с одним из вождей «холодного погрома» в Радиокomiteе — с Сергеем Георгиевичем Лапиным. Даже дважды встретила я с ним: в 1952 и в 1968 году — и обе встречи интересны. Сначала о первой.

...Ежегодно 5 мая, в день выхода первого номера «Правды», объявленный Всесоюзным Днем печати, в Колонном зале Дома союзов по традиции происходит собрание московских журналистов. На этом традиционном собрании обычно выступает с докладом кто-нибудь из членов ЦК, после чего, как правило, бывает непло-

хой концерт. Но не доклад и не концерт привлекали в мое время (я уже давно не бываю на этих собраниях) московских журналистов на вечер в Колонном зале. Главной приманкой была возможность встретиться со старыми товарищами, с которыми хоть и живешь в одном городе, но годами не видишься. И еще — книжные ларьки, в которых, тоже по традиции, в этот день продавались дефицитные книги. Что касается докладов, то, пока их делал Михаил Иванович Калинин, слушали с интересом, а вот Поспелов докладывал перед полупустым и полуспящим залом: большинство аудитории в это время переполняло фойе и буфет.

И вот 5 мая 1952 года я, получив приглашенный билет, явилась в Колонный зал, сколько-то времени для приличия в нем посидела и отправилась в фойе пообщаться с товарищами. Потом наступил перерыв — и все ринулись к книжным ларькам. Отходя от одного из них, нагруженная книгами, я столкнулась с Лапиным.

Он поздоровался. Говорить нам было не о чем — и мы так бы и разошлись, если бы не давка, заставившая нас несколько секунд нос к носу простоять в толпе. И видимо, считая, что молчать неловко, сей муж не нашел ничего лучшего, как спросить:

— **Как вы сюда попали?**

Я ответила:

— А вы думали, что уже навсегда выгнали меня из печати? В ателье по пошивке плюшевых зайцев?

На чем мы и расстались.

Вторая встреча произошла через шестнадцать лет после первой. Шел 1968 год. Отмечалось 50-летие ТАСС (Телеграфного агентства Советского Союза) — организаций, где я проработала памятные годы войны. Меня, как и других «ветеранов», пригласили на выставку, посвященную юбилею. Генеральным директором ТАСС (так, кажется, называется сейчас эта должность) был тогда Лапин. Пришла я, видимо, слишком рано, в выставочном зале не было никого, кроме сотрудницы, знакомой мне еще по годам войны и организовавшей эту выставку. Мы поздоровались, она стала показывать мне стенды. В это время в зале появился Лапин, и ничего не подозревавшая сотрудница представила меня ему как «одного из основных работников контрпропаганды во время войны».

Лапин расплылся в улыбке.

— Мы знакомы с товарищ Лерт, — сказал он, протягивая мне руку (и обнаруживая тем самым хрупкость своего дипломатического воспитания). — Мы работали с ней в трудное время...

Сделав вид, что руки не вижу, я тоже приятно улыбнулась и ответила:

— Вы ошиблись, Сергей Георгиевич. В действительно трудное время я работала **здесь**. А времена, о которых говорите вы, — их искусственно делали трудными такие, как вы...

У него хватило ума не спросить, как я попала **сюда**.

...Молниеносно придуманное мною в разговоре с Лапиным «ателье по пошивке плюшевых зайцев» я употребила вскоре в беседе с другим человеком, тоже по-своему типичным для тех времен. Впрочем, еще более типичен он, процветающий и сейчас, для времен нынешних. Это — Александр Кривицкий, или, как звали его в московской журналистской среде, «рыжий Кривицкий» — в отличие от других Кривицких, разноименных и разномастных. Те, кто с ним сталкивался, без труда узнают его в одном из второстепенных персонажей романа К. Симонова «Последнее лето». Разумеется, персонаж этот — не точный портрет Кривицкого: кое-что в нем смягчено и облагорожено, кое-что скрыто или, может быть, не увидено. Претензий к Симонову на сей счет у меня нет: это право писателя, а также, может быть, естественная сдержанность приятеля. Допускаю и другое: может быть, Симонов знал в этом человеке что-то, скрытое для меня. Но то, как вижу этого человека я, тоже представляет известный интерес, тем более что у меня не было с ним ни дружбы, ни вражды.

...Мы были знакомы давно, с 1931 года, когда редактируемые нами многотиражки верстались рядом, в наборном цехе типографии «Известий». Знакомство было профессиональное, поверхностное, но приятное: Кривицкий умело острил, хорошо знал литературу, к месту цитировал стихи; ожидая оттисков, с ним можно было забавно «похохмить». Как тогда было принято, мы были на «ты» и называли друг друга не по имени-отчеству, а по фамилии или по имени. Изредка встречались: то в редакции «Рабочей Москвы», где я работала, а он сотрудничал, то на каких-нибудь активах или собраниях, то в Доме журналиста.

Честно говоря, я не замечала, как умело, кропотли-



во, с каким тонким расчетом и железной хваткой делал Кривицкий карьеру. Этой карьере не помешали ни арестованный брат, ни еврейская национальность, ни впадение вчерашних покровителей во временную немилость — Кривицкий умел быстро находить новых и становиться им необходимым: правда, он умел и работать за них. Кроме того, этот умный, образованный и способный журналист знал еще, с кем ловить рыбу и отправляться в путешествие, с кем пить сухое вино и когда уместно об этом небрежно упомянуть. Но главное, что способствовало его успешной карьере, это полное отсутствие каких-либо принципов, абсолютный, сто-процентный цинизм. Не тот поверхностный скептицизм, который свойствен почти каждому журналисту, хорошо знающему изнанку явлений. Нет, цинизм внутренний, когда человек отчетливо сознает, что его выгода, его удовольствие для него важнее всего,— и во имя достижения своих целей, не сморгнув, говорит и пишет высокие слова, не веря ни в одно из них. Работал он отлично: и потому, что ценил свою репутацию, и потому, что работа доставляла ему удовольствие. Он был наемник, умелый и безжалостный конквистадор печати. Думаю, что, когда он делал газетную полосу о Сланском как агенте сионизма в Чехословакии, он был профессионально увлечен...

Вот с ним-то и состоялся у меня интересный разговор в 1952 году. Разумеется, я тогда не думала о Кривицком так, как думаю сейчас, не испытывала к нему никакой антипатии, хотя и особой симпатии не чувствовала. В 1949 году, обходя в поисках работы все редакции, я зашла и к Кривицкому — тогда уже заместителю редактора «Нового мира» (редактором был Константин Симонов). Кривицкий развел руками. Думаю, что он действительно не мог мне ничем помочь, даже если бы хотел: штаты толстых журналов невелики и, как правило, всегда заполнены, да и не от него это зависело.

В 1952 году, в самый разгар антисемитской кампании, Кривицкий занимал должность заместителя главного редактора «Литературной газеты» по международному отделу. Зашла я в редакцию этой газеты не к нему, к другому товарищу, не помню уж, по какому делу, и, уходя, встретила с Кривицким в коридоре. Он обрадовался — может быть, и искренне,— спросил, работаю ли я, узнав, что работаю, просиял и заташил меня к себе в кабинет. Мы посидели в креслах, покури-

ли, поговорили. Он спросил, довольна ли я работой в «Московском строителе», какова атмосфера в редакции, какие материальные условия. Обстановку в редакции я с жаром похвалила, о деньгах сказала, что мне хватает, а вот характер работы... Сдуру я разоткровенничалась. Не могла забыть, что я — международник, что меня бесстыдно и несправедливо выпихнули из этой области журналистики, где мне было интересно и где работа у меня — это признавали все — шла успешно.

— Понимаешь, — сказала я, — строительство — это, конечно, очень важно. Сборный железобетон — великое дело. Понемногу я эту специфику осваиваю. Но не могу я, понимаешь, не могу писать о железобетоне с таким накалом, как о фашизме...

Кривицкий заметно нахмурился.

— Ты неправильно настраиваешь себя, — сказал он. — Ты не понимаешь положения. Посмотри, что происходит. Остаются в печати только те (слово «евреи» он не произнес, но оно подразумевалось), у кого уж очень большое имя — вот Эренбург, Заславский и прочие. Если мы с тобой (очень хорошо было это «мы с тобой»!) не сумели к сорока пяти годам создать себе имя в литературе, надо быть довольным, что есть хоть какая-то работа, которая позволяет существовать...

«Существовать»!

— Ты серьезно говоришь?

— Вполне серьезно. Не тешь себя надеждой...

Я прервала его и поднялась с кресла.

— Я не тешу себя никакими надеждами и, не беспокойся, не собираюсь ни о чем тебя просить. Но «существовать» я не согласна. Ты, я вижу, считаешь, что евреи должны «знать свое место», но при этом место ты выбрал удобное. Доскажешь мне свою концепцию смирения тогда, когда тебя отсюда снимут и отправят в ателье по пошивке плюшевых зайцев...

И я ушла. Но плюшевых зайцев Кривицкому мастерить не пришлось. Он продолжал мастерить, мастерит и сейчас картонные макеты действительности в своих статьях и книгах. Он все-таки создал себе литературное имя — не к сорока пяти, так к шестидесяти годам. При полном отсутствии художественного таланта, обладая всего лишь бойким пером, способным облечь в читабельную форму те «коротенькие мысли», которые постоянно попадают в ежедневной газетной

лапше, Кривицкий стал писателем, членом ССП, автором нескольких книг. За тридцать пять лет, в течение которых погибло столько талантов, разрушилась жизнь столько искренних и честных людей, этот человек прошел свой путь возвышения от редактора многотиражки до писателя, что называется, ног не замочив, как по паркету.

Почему? В чем дело? В чем секрет его успеха?

Да в том же, в чем секрет успеха упоминавшегося мной Л. Андреева, или С. Лапина, или другого моего знакомца, весьма посредственного журналиста, внезапно с помощью Панферова сделавшегося литературным критиком, а затем и «писателем»<sup>1</sup>. Все эти люди, всплывшие на поверхность в области идеологии — в печати, литературе, искусстве — в конце 40-х — начале 50-х годов, подбирались по одному признаку — послушности. Шел неумолимый, целенаправленный отбор готовых к услугам. Потому-то в те годы выдвинулось так много посредственностей и так мало талантов. Дело не только в «законе Паркинсона», согласно которому неталантливые люди, будучи именно по причине своей неталантливости завистливыми, придя к власти, подбирают в свой аппарат тех, кто еще глупее и неспособнее, чем они. Дело еще и в том, что неодаренный человек, как правило, послушнее одаренного. У него нет своих мыслей, ему не от чего отказываться — и он тем старательнее выполняет инструкции.

Но и одаренные нужны. Если одаренный человек полностью послушен, если у умного и способного — гибкая совесть или вовсе нет ее, если он с великолепным циническим спокойствием прячет свои мысли в карман, если он с пафосом говорит или пишет противоположное тому, что думает, и даже не мучается этим, — о, такой человек гораздо полезнее обыкновенной послушной бездарности. У него нет художнического таланта проникать в суть вещей? Тем лучше. Зато у него есть бесспорный талант изящно формулировать все, что пожелает начальство, и еще — тончайший нюх угадывать, чего именно оно желает, и еще вкус и чувство меры, позволяющие удерживаться в границах литературного приличия, что недоступно Кочетовым или Шевцовым. Нет, это ценные люди...

Вот я написала все это и задумалась: а в чем раз-

---

<sup>1</sup> Имеется в виду М. Шкерин.

ница между работой в печати честных — вроде меня и бесчестных вроде Кривицкого? Между ним, когда он в 1952 году обвинял Сланского в сионизме, и мной, когда я в 1939 году, к пятилетней годовщине убийства Кирова, писала очерк, в котором обвиняла в этом убийстве троцкистов?

Разница есть, конечно, хотя она меня не утешает: он знал, что пишет ложь, а я думала, что пишу правду. Но неужели мы делились только на честных дураков и циничных умников?

Нет, дело обстояло не совсем так.

Система директивного мышления, система закрытой, искаженной и искажающей, деформирующей действительность информации неизбежно приводит к тому, что из идеологической системы — в частности, из прессы — вытесняются честные; принципиальные, думающие люди... Пусть они вполне ортодоксальны, какой была я в 1939 году, но они думают — и, значит, могут додуматься. Пусть они вполне дисциплинированы, но, столкнувшись с конкретной несправедливостью или подлостью, они могут ринуться в бой, не спросившись у райкома, — как, скажем, Фрида Вигдорова в деле Бродского. Такие люди неудобны, ими трудно манипулировать — и они постепенно вытеснялись, заменялись: в большинстве бездарностями, для разнообразия — циниками. И те и другие были безукоризненно послушны. И каждая политическая кампания использовалась, как сито, для такого «просеивания». Так же была использована и кампания против «космополитов», и сопутствовавший ей «холодный погром». Наивно думать, что от нее пострадали только евреи, как глупо было бы считать, что от физического уничтожения оппозиций пострадали только троцкисты или правые, от «сплошной коллективизации» со всеми ее последствиями — только крестьянство, а от сплошной ссылки целых народов в военные и послевоенные годы — только эти народы. Да, конечно, прежде всего пострадали они, но тут было и сложное взаимодействие. Неправедливость, жестокость, ложь, лицемерие, убивая своих жертв, производили естественный отбор исполнителей преступлений. Те, кто был не способен их совершать, отбрасывались из руководства, те, кто был не способен их восхвалять, выбрасывались из прессы, литературы, искусства. Народ лишался честных руководителей, умы отдавались во власть бесчестной пропаганды. Под-

тверждались бессмертные слова: «Не может быть свободен народ, угнетающий другие народы».

Так было и в 1949—1953 годах. Здесь не место анализировать мотивы, по которым Сталин взял на вооружение и внедрил в государственную практику антисемитизм, но последствия этого оказались катастрофичны не только для евреев, но для всех народов, для всей страны. Тем более катастрофичны, что, в отличие от других сталинских преступлений, об этом никогда не было сказано вслух.

Дело не только в том, что наша страна, наука, искусство лишились многих талантливых и честных людей. Евреи выбрасывались, вытеснялись большими массами, среди них были всякие — и талантливые, и бездарные, и честные, и бесчестные: их дискриминировали не по этим признакам, а по одному-единственному — пункту пятому. Впрочем, своя закономерность была в том, что кое-кто из евреев остался в идеологическом аппарате и даже пошел в гору: вот такие, как Кривицкий, такие, как А. Чаковский, А. Дымшиц, и некоторые другие. Остальных увольняли, понижали, унижали: они постепенно осознали свое бесправие, одни сходили с ума, вешались, у других формировался национальный «комплекс»... Все остальное известно. А вот что происходило в это время с идеологическими (да и не идеологическими) работниками русской национальности? Происходил тот же отбор по принципу: «способен на все» или не способен пойти против совести. Способен или не способен проводить антисемитскую политику под прикрытием интернационалистских фраз? Если не способен — долой. Вот хоть бы мой Радиокомитет — посмотрите на блестящую карьеру Лапина и на быстрое схождение с рельсов Георгия Беспалова, героя Отечественной войны, образованного и честного коммуниста. Вынужден был уйти с партийной работы Алексей Иванович Кузюрин, пытавшийся в бытность свою секретарем парторганизации совхоза «Горки Ленинские» бороться против очковтирательства Лысенко. В лучшем случае тихим схождением на пенсию кончилась бы и деятельность Н. П. Нефедьева, если бы рак не загрыз его раньше, чем успел сделать это аппарат. Доживает свой век в отставке и другой редактор, не пожелавший в те годы проводить антисемитскую политику. Он жив, и я его не назову: боюсь ему повредить. Отстранение таких людей от активной

политической и идеологической деятельности влечет за собой понижение нравственного уровня общества. А это все неизвестные люди: о таких, как Александр Трифонович Твардовский, я уж и не говорю — отстранение его от редактирования и тем самым фактическая ликвидация «Нового мира» снизили этот нравственный уровень на целую голову.

\* \* \*

...Вот так. Так это было. По отрывочным воспоминаниям, по восстанавливаемым в памяти кусочкам, по каплям, эпизодам одной обыкновенной жизни...

## ПОЗДНИЙ ОПЫТ

Да, очень поздний. К счастью? К сожалению?

Прожить семьдесят три года, пройти — ребенком — через бури гражданской войны, через тринадцать раз сменявшиеся в моем родном Киеве власти, через немецкую оккупацию 1918 года, через деникинский погром, через бесчинства петлюровцев, через короткое комсомольское подполье во время захвата Киева белополяками... Потом, в юности и зрелости, пережить преследование и разгром внутривластных оппозиций (о преследовании и разгроме других социалистических партий я тогда не думала), пережить массовый террор 1935—1939 годов, когда я потеряла столько близких, пережить бурный взлет антисемитизма 40—50-х годов, уже приближавшийся — вот-вот! — к своей кульминации... Пережить все это — и все, что было потом (постепенное освобождение собственной мысли: сначала «оттепель» и связанные с ней иллюзии, потом «Новый мир» Твардовского, дело Синявского — Даниэля, чтение «самиздата», оккупация Чехословакии)... И наконец, собственные статьи, впервые написанные без «внутреннего редактора».

Это все схема, пунктир. Но все это прожито, продумано, прочувствовано.

...А вот обыска у меня до сих пор не было. До семидесяти трех лет. До 25 января 1979 года. И даже не случилось мне ни разу попадать к моим друзьям, когда у них «шмонали» все — от стенограммы партийных съездов до любовных писем. Рассказов слышала много, читала того больше, но — должна признаться —

ничто не заменяет личного опыта. Прав был Гете: теория сера по сравнению с вечнозеленым деревом жизни...

...И как бы для того, чтобы перед концом моего жизненного пути дать подтверждение этого философско-поэтического тезиса, в моей передней прозвенел звонок...

## 1. ОБЫСК ВПЕРВЫЕ

...Я накинула халатик и пошла открывать. Была не ночь и не утро, примерно половина дня. Но я лежала в постели: меня знобило, я задыхалась, одолевая очередной сердечный приступ. Ждала медсестру из поликлиники: она примерно в это время приходила делать мне укол.

Открыла дверь. Моя крохотная, полтора метра на полтора, передняя мгновенно заполняется людьми. Входят четверо: женщина и мужчина постарше и двое совсем юных — парень и девушка студенческого типа.

Я еще ничего не понимаю.

— Товарищи,— говорю я, запахивая халатик,— вы ко мне? Поговорить? Может быть, отложим разговор? Я очень плохо себя чувствую...

— Нет, нет,— возражает женщина постарше,— мы вам сейчас все объясним.

И, запирая дверь (вот тут меня что-то кольнуло), объявляет:

— Обыск!

Ах, обыск!

От входной двери до моей тахты — четыре шага. Я поворачиваюсь, иду в комнату, сажусь на постель и говорю:

— Предъявите ордер!

Женщина протягивает ордер и одновременно каким-то даже чуть щеголеватым, вызывающим движением раскрывает предо мной свое служебное удостоверение. Читаю: «Старший следователь Мосгорпрокуратуры Корнакова». Корнакова, Корнакова?.. Почему такая знакомая фамилия? Ах да, первый советский цветной фильм назывался «Груня Корнакова»... Неуместная эта ассоциация мелькает в мозгу, пока я отвечаю, что у меня нет «заведомо ложных клеветнических материалов», которые мне предлагается добровольно выдать.

Ритуал закончен. Я снова ложусь под одеяло, они

приступают к делу. Перед этим мужчина постарше изысканно-вежливо спрашивает:

— Разрешите раздеться?

Сухо отвечаю:

— Я здесь сегодня ничего ни разрешать, ни запрещать не могу.

Снимают пальто. Попутно осведомляются:

— Вы больны, Раиса Борисовна?

— Как видите.

— К вам должен прийти врач?

— Нет, только медсестра.

Корнакова подходит к письменному столу, расчищает место и раскладывает письменные принадлежности (все пять часов она занималась исключительно канцелярской, секретарской деятельностью). Мужчина постарше (он так и остался безымянным) проходит к комоду и начинает рыться в белье. Двое юных (как я поняла, привезенные с собой «понятые» — какие-то ихние кагэбэшные студенты или курсанты) остаются посреди комнаты в статуарных позах. Парень за все пять часов так и не произнес ни слова; девица же (видимо, отличница) проявила больше активности.

...Звонок. Появляется пятый — тоже безымянный. Вот если бы он вошел вместе со всеми, я бы сразу догадалась. Почему? Не знаю. Какой-то явственный профессиональный отпечаток: холеная толстая морда, пустые глаза, неуловимое хамство в интонациях (хотя внешне все в нормах вежливости).

Толстомордый начинает «шмонать» стоящие за дверью книжные полки. Это — в ногах моей постели. Лежу, смотрю. Читать не могу. Изредка отпиваю воду.

Девушке «понятой» не сидится на месте. То ли ей впрямь чуточку неловко (не привыкла еще), то ли просто молодая энергия не дает покоя...

— Раиса Борисовна, может быть, вам что-нибудь нужно? Может быть, вам чайник вскипятить?

— Благодарю вас, — отвечаю я ледяным тоном, из которого не выхожу в тех редких случаях, когда раскрываю рот. — Мне от вас ничего не нужно.

Молчание. Они «работают», принося все, что находят нужным «изъять», к письменному столу, где следовательница в поте лица трудится над составлением описи. Даже мне, неопытной, ясно, что ее роль тут ничтожна, что ордер Мосгорпрокуратуры — чистая «липа», ширма для КГБ.



...Молчание. Нарушает его первый безымянный, изысканно вежливый:

— Разрешите курить на кухне?

Тем же тоном повторяю: не могу ничего ни разрешать, ни запрещать. Они по очереди ходят на кухню.

...Молчание. И телефон, стоящий у моей постели, обычно беспрерывно трезвонящий, почему-то молчит. Странно, они его даже не отодвигают. Техника у них, что ли, такая, что позволяет отводить звонки?

...Молчание. На этот раз нарушает его «толстомордый». На книжных полках он кроме старых «самиздатских» произведений обнаружил неизвестную толстую рукопись в двух папках. Не помню, как она называется — не читала. Что-то социологическое. Просили меня прочесть, а я все уклонялась: уж очень солидный «кирпич», а мне неохота тратить время — я не специалист...

«Толстомордый» тоже явно не специалист в социологии, но в своем деле понимает: перелистав несколько страниц, что-то учуял. С издевкой спрашивает:

— Диссертация?

— Возможно, — равнодушно отвечаю я.

Издевка в тоне усиливается:

— Ну и где же эту диссертацию собирались защищать?

— Понятия не имею, — следует столь же равнодушный (и вполне правдивый) ответ.

— Как она к вам попала?

— Мало ли как! Ко мне многие обращаются с просьбами — отрецензировать, отредактировать...

— И вы все это делаете за «спасибо»?

— А вы не способны представить, что можно что-нибудь делать за «спасибо»? — осведомляюсь я.

Замолчал — и понес толстые папки к следовательнице. Около нее неуклонно растет гора.

«Изысканно-любезный», покончив с моим бельевым комодиком, дергает дверцу письменного стола. Заперто. Он обращается ко мне:

— Раиса Борисовна, вы дадите нам ключи?

Дать? Не дать? Ну, допустим, не дам. Они взломают. Но и подавать им я не стану...

Не меняя позы, говорю:

— В связке ключей на входной двери находится и ключ от письменного стола.

«Любезный» находит ключ, открывает дверцу и

погружается в содержимое ящиков. Вот где главный улов! Три ящика набиты до отказа, их даже трудно открывать. Он что, ищет определенное что-нибудь? Попробуется разобраться? Ничего подобного. Все, что напечатано на машинке или написано от руки (а в моем литературном архиве все либо напечатано, либо написано от руки), без разбора летит к ногам следовательницы. Груда папок около нее растет — ящики катастрофически пустеют.

Не вставая, я говорю:

— Среди этих папок есть одна, на которой написано «Мои работы». Это действительно мои авторские работы, подписанные моей фамилией. Я настаиваю, чтобы вы их не забирали. Согласно авторскому праву.

— Да,— отвечает «любезный»,— вот эта папка, она у меня в руках, но мы возьмем все, что найдем нужным...— И, листая содержимое папки: — А-а... скажите, Раиса Борисовна, ваши статьи, напечатанные в «Поисках», здесь есть?

Ах вот оно что!

— Все, что я когда-либо написала, подписано моей фамилией. В остальном разбирайтесь сами.

...Молчание. Папки громоздятся на папки. Я хочу пить. Встаю, выхожу на кухню, возвращаюсь с чашкой воды. Девушка вскидывается:

— Ну зачем вы, Раиса Борисовна? Я бы вам принесла...

(Интересно, ей в самом деле в глубине души немножко стыдно? Или ее там где-то на ихних курсах учат «политесу»? И объявляют, в каких случаях «политес» применять, а в каких нет?!)

Укладываюсь снова в постель. В это время «толсто-мордый», откопав на моих полках какие-то два листочка, несет их следовательнице. По дороге бросает мне:

— Заверить надо!

— Что — заверить? — не понимаю я.

— Ваше завещание...

Тут я выхожу из состояния заморозенности.

— Мое завещание? — Я сажусь на постель.— А ну, подайте его немедленно сюда!

Пораженный моим тоном, он невольно останавливается.

— Мое завещание,— подымаю я голос,— этой мой личный, интимный документ. Он распространению не

подлежит. Его даже мои близкие могут прочитать только после моей смерти. Немедленно отдайте!

Он колеблется, но «любезный» делает ему какой-то неуловимый знак глазами (видно, он рангом выше) — «толстомордый» с неохотой отдает мне листочки. Однако не может удержаться от замечания:

— Обиделись на партию?

— Послушайте, вы... — говорю я медленно и раздельно (девица и юноша жадно слушают). — Я в этой партии много больше лет, чем вы существуете на свете. И мои взаимоотношения с этой партией вашей компетенции не подлежат. Запомнили? Делайте вашу грязную работу — и молчите...

Теперь все молчат. «Толстомордый» продолжает «шмонать» на полках, «любезный» продолжает очищать ящики. Следовательница усердно пишет.

...Звонок. К двери бросаются сразу «толстомордый» и девица. На пороге — медсестра. «Толстомордый» выпаливает:

— Кто вы такая?

Медсестра удивлена и испугана. Она уже вторую неделю ходит делать мне внутривенные сердечные вливания и знает, что я живу одна. А тут — полная квартира людей, явно посторонних и явно недоброжелательных...

— Я... из поликлиники, — робко говорит она.

Мне жаль ее. Ну зачем ей это? Она тут при чем?

— Валя, — говорю я, — может, не будем сегодня делать укол? Пропустим?

Она ничего не понимает, она инстинктивно боится, но природное добросердечие и профессиональная добросовестность берут верх над страхом.

— Как это не будем? — энергично протестует она и начинает раздеваться. — Вон вы какая бледная... И задыхаетесь! Обязательно будем!

Вмешивается «любезный»:

— Пожалуйста, пожалуйста... Мы выйдем...

В этом нет необходимости, но я не возражаю. Впрочем, они очень быстро исправляют свою оплошность. Пока Валя, пробравшись между папками, отламывает головки ампул и готовит шприц, дверь беззвучно открывается и чуть ли не на цыпочках входит девица-отличница. Медовым голосом она говорит:

— Я постою у окна... Я отвернусь... Я не буду смотреть...

— Можете не отворачиваться,— говорю я, протягивая руку для укола.

Валя собирает свой чемоданчик, прощается и идет одеваться. Когда она уже готова, перед дверью вырастает «толстомордый».

— Ваши документы!

Тут медсестра не выдерживает:

— Почему я должна предъявлять вам свои документы? Кто вы такой? И что здесь происходит?

— Обыск! — значительным тоном произносит «толстомордый».

— О-обыск??!

Она поворачивается ко мне (я лежу напротив открытой двери). На лице ее — безграничное изумление, глаза становятся совсем круглыми. Конечно, она меня совсем не знает... Но уж больно не похожа эта худенькая старушка на преступницу... О-обыск?!

Мне становится смешно. И опять — жаль ее.

— Не пугайтесь, Валя, я не уголовница.

«Любезный» снова делает неуловимый знак — и «толстомордый» выпускает медсестру, так и не поглядев на ее удостоверение (ограничился только тем, что узнал номер поликлиники).

Они возвращаются к прерванной «работе». «Толстомордый» теперь «шмонает» мой книжный шкаф. Не очень тщательно «шмонает»: видно, они знают, что главная «крамола» у меня в письменном столе и на полках. Вынул два-три тома Ленина, удостоверился, что за ними стоит Маркс,— и не стал дальше смотреть. Толстого, Достоевского, Чехова тоже обошел вниманием. Зато в тонких книжках стихов (а их много) рылся долго и усердно. Во многие книжки были вложены стихи, не вошедшие в сборники и перепечатанные на машинке,— это все он забрал. Забрал и сброшюванный машинописный сборник «Образ Анны Ахматовой» (стихи, ей посвященные,— большая часть их опубликована в советских изданиях). Забрал и первый том американского издания произведений самой Ахматовой (второго не было дома) и небольшой сборник прозы Цветаевой «Световой ливень», и «Охранную грамоту» Пастернака, и, конечно, первую книгу «Записок» Лидии Чуковской об Анне Ахматовой. Вообще забрано все, что издано за границей, в том числе и ряд книг с авторскими надписями.

Я пытаюсь вмешаться.

— Почему вы забираете Ахматову, Цветаеву, Пастернака? Ведь все эти произведения печатались в советских изданиях.

— Разберемся, Раиса Борисовна, — следует успокоительный ответ. — Разберемся — и, что можно, вам возвратят...

Посмотрим. И посмотрим, что — «можно».

Дальше следует молчаливая консультация «толсто-мордого» с «любезным». Тут я не могу сдержать улыбку. Первый обнаружил в моем книжном шкафу два старых номера «Нового мира» и пошел показывать их второму. Тот махнул рукой, и «Новый мир» возвратился в книжный шкаф. После того как они ушли, я просмотрела оглавление этих номеров (я о них забыла). Журналы — за 1966 год. Напечатаны в двух номерах повесть Василия Быкова «Мертвым не больно» и рассказ А. И. Солженицына — самый, к сожалению, слабый — «Захар Калита»...

«Любезный» кончил опустошать мой письменный стол. Опустошать в точном смысле слова: в ящиках теперь просто нет *ничего*. Ничего, кроме нескольких поздравительных открыток и моей трудовой книжки.

Взгляд «любезного» падает на стоящий за моим письменным столом рюкзак.

— Это ваш рюкзак?

— Нет.

— Чей же?

— Одной моей приятельницы.

— Как фамилия этой приятельницы?

— Я не обязана сообщать вам фамилии моих друзей.

— Что в рюкзаке?

— У меня нет обыкновения заглядывать в чужие вещи.

Они развязывают рюкзак — и кроме домашних вещей находят в нем совсем неожиданный для себя «подарок». Моя неосторожная приятельница (теперь можно назвать ее имя — что уж тут! — Мальва Ланда) вместе со своими бумагами засунула туда же пенсионное удостоверение и сберегательную книжку, в которой была заложена пятирублевка. Пятирублевку мне торжественно вручают, бумаги «изымают», заодно «приобщают к делу» и пенсионное удостоверение, и сберкнижку со сторублевым вкладом (деньги небольшие,

но для пенсионера существенные). Хотя, насколько я понимаю, ни пенсионную, ни сберегательную книжку нельзя считать «заведомо ложными, клеветническими» документами...

Кажется, все?

Нет, не всё.

— Теперь мы, с вашего разрешения, посмотрим на кухне...

Да, «политесу» их, видимо, и впрямь обучают. Впрочем, применяют они его отнюдь не всегда (вспомним хотя бы избиения вокруг Пушкинской площади 10 декабря 1978 года и аналогичные избиения в Ленинграде). Почему они так вежливы со мной? Значит, «с моего разрешения»?

— А если я не разрешу?

«Любезный» улыбается.

— Мы все равно посмотрим.

— Разумеется,— говорю я.— Только зачем тогда эти ужимки?

Ответа нет, да я его и не жду. Они идут на кухню. Я не сопровождаю их — к чему? За ними пятью я все равно не услежу, и сил у меня нет стоять над ними. Да и нет ничего на кухне, кроме пишущей машинки.

Именно с машинкой они возвращаются в комнату.

— Вы хотите забрать машинку? — спрашиваю я.

— Да.

— Зачем? Ведь чтобы определить, печатались ли на ней «заведомо ложные, клеветнические...» и так далее, вам достаточно снять образец шрифта?

— Нет,— наставительным тоном отвечает «любезный»,— машинка останется у нас!

— До каких пор? — осведомляюсь я.

— До суда,— усмехаясь, выпаливает «толстомордый».

— Суда? — спокойно удивляюсь я.— Над кем? Надо мной?

«Любезный», досадливо морщась (то ли у них распределены роли, то ли просто разница характеров?), поправляет:

— До окончания следствия.

Так. А теперь что? Беглый просмотр подоконников, столика около постели, заваленного книгами и лекарствами. И наконец, обращение ко мне:

— Вам, Раиса Борисовна, придется встать. Всего на несколько минут... Посидите пока в кресле...

Встать? Не встать? Противно думать, что они будут тащить меня насильно...

Встаю и пересаживаюсь в кресло. Они сразу хватаются за стопку книг, лежащих слева от подушки (я отобрала их, чтобы лишний раз не вставать с постели). Подбор, что и говорить, разнообразный: «Война и мир» Л. Толстого, двухтомник Эдмона Ростана, «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэрролла, 17-й номер «Континента» и «Светлое будущее» А. Зиновьева. Последние две книги, естественно, переходят к следовательнице, а над книгой Льюиса Кэрролла, новинкой, недавно изданной в серии «Литературные памятники», «любезный» задерживается. Нет, не по служебной обязанности, из библиофильского интереса. Перелистывает, закатывает глаза, прищелкивает языком:

— Прекрасная книжка!

— Да? — невинно спрашиваю я. — Правда, жаль, что ее нельзя включить в опись?

Проглатывает — и снова начинает заниматься своим делом. Они поднимают подушки, перетряхивают одеяло. Находят мою сумочку и знакомятся с ее содержимым. Как будто никакой крамолы больше нет? Впрочем... «Любезный» перелистывает мою телефонную книжечку и задумывается... Да, задача у него нелегкая: в моей телефонной книжке сам черт ногу сломит — я и то в ней с трудом разбираюсь...

Спрашиваю, намеревается ли он забрать книжечку. Да, намеревается. Пожимаю плечами: забирайте, хотя вы в ней все равно ничего не поймете...

— А вы нам не расшифруете? — искательно заглядывает мне в глаза «любезный».

(Дурак — хоть и Кэрроллом интересуется!)

— Нет, не расшифрую. Но вы берите, не сомневайтесь! Что с того, что она вам не пригодится? Зато меня вы лишите телефонов поликлиники, аптеки, «Скорой помощи», близких людей... Что ж вы? Берите, не стесняйтесь!

Он в затруднении. Что выгоднее: наказать меня, отобрав книжку, или проявить «гуманизм» — тем более дешевый, что от противоположной акции толку явно не будет. Решает в пользу «гуманизма»: телефонную книжечку мне оставляет (у всех моих коллег на обысках такие книжки отбирали).

— Под диваном есть ящик? — спрашивает «толстомордый».

Ящика нет: я сплю на обычном пружинном матрасе, к которому приделаны ножки. Но я отвечаю:

— Нагнитесь и посмотрите.

Посмотрел. Нет ящика. Приставил к книжной полке стул, влез, заглянул наверх: ничего, кроме пыли.

...Притащили мешки, веревки, сургуч. Запаковывают добычу. Получается четыре мешка.

...Время уже около шести. «Толстомордый» звонит куда-то по начальству и жизнерадостно кричит в трубку:

— Кончаем... Да, порядочно... На полгода хватит читать! Тут еще «подарочек» от Мальвы Ланда... Да, присылайте машину...

Все уже засургучено, зашито. Следовательница подносит мне протокол. Читаю. Но нельзя ни понять, ни проверить, что они записали, а что нет. Папки, в которых много различных, с разными названиями материалов, записаны так: «начиная со слов...», «кончая словами...» — а что там посередине, на трехстах — четырехстах страницах, бог весть. Можно вложить туда и вынуть оттуда что угодно. Уже потом я обнаружила исчезновение ряда личных писем, не занесенных в протокол. Изъятое из рюкзака Ланды записано так: «Восемь целлофановых мешков с различными печатными и рукописными материалами, фотографиями, книгами...» Что теперь можно записать в эти мешки? Как я узнала впоследствии, в рюкзаке находился также подарок — иконка-сувенир, в опись вообще не попавшая. Может быть, кто-нибудь из моих непрошенных гостей питает слабость не только к редким книгам, но и к миниатюрным иконам?

А это что такое? «28. Грифельная доска». В жизни не видала грифельной доски иначе, как в кино. Это, оказывается, дощечка, с которой мгновенно стирается запись. Ну ладно. А вот запись-шедевр: «68. В комнате также обнаружено и изъято 34 папки (тридцать четыре!) с различными рукописными и печатными текстами...» Какими текстами? Секрет следствия... Тридцать четыре папки — и ни одного названия. Что же изъято? А как теперь требовать возвращения непоименованных материалов?

Сразу обращаю внимание на то, что в протоколе нет даже упоминания о тех двух, кто фактически проводил обыск. Фамилия следователя есть, фамилии



понятых<sup>1</sup> с именами-отчествами и даже адресами есть (один живет на улице Уссурийской, другая привезена аж из подмосковного городка Железнодорожный). А вот «любезного» и «толстомордого» нет. Испарились.

Я поднимаю глаза на следовательницу.

— Почему в протоколе нет фамилий и должностей вот этих двух граждан, производивших обыск?

— Я проводила обыск,— вызывающим тоном говорит Корнакова.— Я *имею право* брать себе помощников...

— Прекрасно,— говорю я.— Берите себе хоть десять помощников. Но я *имею право* знать, кто рылся в моих бумагах и моем белье, кто унес мои книги, архивы, машинку...

— Я,— повторяет Корнакова.

— Не клеветецте на себя. Вы всего только технический секретарь вот этих двоих...

Бесполезно. Дочитываю протокол. Вижу, что на последней странице остается место всего для двух-трех строчек. Требую добавить лист. Пишу. Первый экземпляр протокола забирает Корнакова, второй, еле поддающийся прочтению (нарочно они, что ли, употребляют такую бледную копирку?), вручается мне. Ну а теперь-то уж, наконец, все?

Нет. «Любезный» и юноша-понятой куда-то исчезают, но Корнакова, девица и «толстомордый» остаются. Я продолжаю сидеть в кресле, куда меня «перевели» с постели. Сил после пятичасовой процедуры совсем не осталось.

— Вы ложитесь, Раиса Борисовна,— проникновенным голосом обращается ко мне девица.— Ложитесь, вам будет легче...

— Мне будет легче, когда вы уйдете. Почему вы не уходите? Вы ведь уже кончили?

— Ждем машину,— откликается «толстомордый».

— Ну, это как будто меня уже не касается? Вытаскивайте свою добычу и ждите внизу...

— Машина скоро будет,— успокаивает «толсто-

---

<sup>1</sup> Эти фамилии я, кстати сказать, через некоторое время прочла в протоколе другого обыска, произведенного у человека, никакого отношения к нашему журналу не имеющего. «Понятые»-то, оказывается, профессионалы. Любопытно, как им платят — помесечно или за визит?

мордый». — Сейчас конец рабочего дня, самый разъезд...

— Какое мне до этого дело? Возьмите такси.

— Мы не поместимся в одно такси.

— Возьмите два.

— Вы оплатите? — иронически осведомляется «толстомордый».

— Разве Комитет государственной безопасности так беден? — в свою очередь, осведомляюсь я. — Ведь хватило у него средств, чтобы потратить рабочий день пяти человек на одну старую больную женщину. Должны найтись средства и на то, чтобы избавить эту женщину от своего присутствия. Когда оно уже не вызывается государственной необходимостью...

...Звонок. На пороге — мой сын, пришедший с работы навестить меня. За ним виднеются фигуры вернувшихся «любезного» и понятого. К сыну бросаются с двух сторон:

— Ваши документы!

...Не буду детально описывать, как они требовали документы у него, а он — безрезультатно! — у них. Не буду вообще больше излагать подробности — в концовке их еще немало, но это уже для моих мемуаров. Хватит и написанного. Это не «художественное исследование», а почти точная фотография.

...Они, наконец, вытаскивают мешки с награбленным (чтобы не было «заведомо ложных, клеветнических измышлений», поправляюсь — с «изъятым») добром — и уходят.

Все. Точка <sup>1</sup>.

\* \* \*

Но это была не точка, а всего лишь многозначительное многоточие. В тот же день я узнала, что одновременно обыски были проведены еще у трех членов редакции «Поисков» и у трех сотрудников. И что у них так же выгребали до дна все из письменных столов и забирали пишущие машинки, и личные письма, и семейные архивы, и собственные литературные работы.

Но в отличие от меня их еще таскали на допросы

---

<sup>1</sup> Нет, не точка. Они поехали к внучке Р. Б., той самой бывшей девочке с косичками (см. очерк «Разговор начистоту»), устроили обыск и у нее, ища бабушкины документы. Забрали и по сей день не отдали пишущую машинку.

в Мосгорпрокуратуру. И сразу после обысков, и потом, и еще, и еще. Кто знает, может быть, «любезный» в последнюю минуту, когда все было уже готово и увязано, для того отлучился, чтобы позвонить по автомату и получить указания: тащить ли меня, больную, в прокуратуру или нет?

Решили — не тащить. Почему такой гуманизм? Только из-за моей болезни и старости?

Я думаю — не только. Известны случаи, когда и с восьмидесятилетними не стесняются. Но это все-таки столица, здесь полно корреспондентов, я — человек пишущий и, как можно было убедиться, языкастый: молчать не буду. И потом у них еще была надежда, что меня, напуганную и измученную обыском, еще можно будет отколоть от остальных, довести до «раскаяния», в крайнем случае — уговорить отойти, прекратить деятельность... Для этого надо пустить в ход иные средства, чем допрос в прокуратуре (они догадывались, что такой допрос будет безрезультатным). Надо воззвать к моей более чем пятидесятилетней партийности и допрашивать меня не в прокуратуре, а в партийных органах.

Так, по-моему, был задуман акт второй. Он оказался куда более растянутым и куда менее детективным, чем первый.

## 2. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПАРТИИ — ВТОРИЧНО И НАВСЕГДА

...Я продолжала болеть. Сначала стало даже хуже: пятичасовой «шмон», несмотря на видимое спокойствие, обошелся мне недешево.

Потом полегчало.

Недели через полторы после обыска появились первые признаки того, что события начинают развиваться в предполагаемом мной направлении. Мне позволили из Гагаринского райкома КПСС и начали проверять мои биографические данные. На вопрос, зачем это, ведь в райкоме есть моя учетная карточка, ответили: данные могли измениться, а секретарю райкома для составления справки обо мне требуются последние данные.

— Вот в проекте справки, лежащей передо мной, сказано, что вы — персональный пенсионер местного

значения, а в вашей учетной карточке, что вы — обычный трудовой пенсионер...

Я ответила, что правильно в учетной карточке: я — обычный трудовой пенсионер. Награды? Наград у меня только две: медали «За доблестный труд в Отечественной войне» и «К 800-летию Москвы» (эти медали есть почти у всех людей моего возраста). Последовали, не сказать чтобы умные, вопросы: почему я не персональный пенсионер и почему у меня нет медали «К 60-летию Октябрьской революции» (ее вручали старым членам партии)? Я ответила: вероятно, потому, что я никогда не ходатайствовала ни о назначении мне персональной пенсии, ни о вручении медали.

Разговор закончен. Ясно, что секретарь Гагаринского райкома не по собственной инициативе воспытал интересом к моей особе. Кто-то затребовал у него биографические данные Лерт Раисы Борисовны. Будем ждать дальнейших событий...

События развивались так. Где-то в конце февраля — новый телефонный звонок. На этот раз из парткомиссии при МГК КПСС<sup>1</sup>. Партследователь Иванов приглашает меня приехать для беседы.

(Вот, оказывается, какая я «шишка»: сразу в горком. По Уставу провинность члена КПСС полагается разбирать прежде всего в первичной парторганизации. Правда, на это уставное требование давно уже махнули рукой: например, коммунистов-«подписантов» 60-х годов еще тогда, минуя партсобрание, исключали из партии в райкомах. Но то райком, а тут даже райкому хода нет: время другое, да и дело больно щекотливое.)

Я не пытаюсь прикидываться удивленной, не понимающей, что к чему. Просто сообщаю товарищу Иванову, что больна и врачи запретили мне выходить из дому. Следует серия вопросов: что со мной, где я лечусь и прочее. Отвечаю: воспаление легких и сердечная недостаточность, лечусь в районной поликлинике. Опять стандартный вопрос: «Вы персональный пенсионер?» — «Нет, не персональный». — «Почему?» Опять терпеливо объясняю: потому, что не просила. Видно, это с трудом укладывается в сознании: как можно отказаться от привилегий, которые тебе «положены»?

<sup>1</sup> Парткомиссия, состоящая из старых членов партии, обычно пенсионеров, — внештатный орган, занимающийся предварительным разбором «персональных дел», рассматриваемых райкомом, горкомом и выше.

— Как же быть? — голос в трубке несколько растерян. — Необходимо с вами побеседовать...

— Что ж, — говорю я, — есть два выхода. Либо подождать моего выздоровления: мне сейчас все-таки лучше, чем тогда, когда ко мне ворвались непрошенные гости (так я даю понять, что знаю, в чем дело), либо пожаловать ко мне...

— Мы подумаем, — обещает голос и добавляет: — И позвоним.

Звонков с приглашением было еще несколько. Я понимаю: они хотят разговаривать со мной на своей территории, в официальной обстановке, а не у меня дома, где я лежу больная и где, что называется, стены помогают. Но ничего не поделаешь — и наступает день, когда они приезжают ко мне.

...Два старых человека: семидесятилетний Иванов (на три года моложе меня по возрасту и на четыре — по партийному стажу) и Пожилова. Пожилова — пожилая, но гораздо моложе нас с Ивановым. Эта уже вполне сталинской формации и выучки и, по-моему, до пенсии (а может быть, и сейчас?) имела отношение к неназываемому ведомству. Она больше молчит и старательно записывает. Говорит, спрашивает, увещевает — Иванов.

Пересказывать всю беседу не стоит. Длилась она два часа и отличалась удивительной бессодержательностью. Бесконечное количество добротных, выдержанных штампов, которыми снабдил меня в ходе этой беседы товарищ Иванов. И похоже, говорил он вполне искренне. Ибо давно, добровольно и чистосердечно отрешился от каких бы то ни было поползновений (если они у него когда-нибудь были) самостоятельно думать. Да он и не помнит, наверное, тех времен, когда в партии самостоятельно думали, о чем-то спорили, что-то друг другу и другим — вне партии — доказывали.

Но кое-что приведу. Особенно — начало беседы.

— Так вот, Раиса Борисовна, нам сообщили, что вы, старый член партии, примерно с 1976 года (эта дата значится в номере нашего «дела». — *Р. Л.*) связались с чуждыми, враждебными нашему строю людьми, общаетесь с ними, вместе с ними подписываете клеветнические письма и вот теперь принялись за издание антисоветского журнала...

— Кто вам сообщил? — спрашиваю я.

— Органы,— простодушно отвечает Иванов.

— А почему вы им верите?

На лице моего собеседника — безграничное удивление.

— Но... но как же? Ведь это — *наши* органы!

— По-моему,— замечаю я,— вы одного со мной возраста. Должны помнить, как эти «наши» органы уничтожили миллионы невинных людей, в том числе и лучших людей партии. И обвинения на них возводились похлеще, чем на меня сейчас...

Пожилова молчит и записывает. Иванов пытается возражать.

— Ну что вы, Раиса Борисовна, когда это было? Партия давно покончила с культом личности и вернулась к ленинским нормам. Там и людей этих давно нет...

— Людей, может, и нет — традиции остались. И разве это подходящее название для массовых убийств: «культ личности»? Да и какой же это возврат к ленинским нормам? Горком занимается моим делом по голословному доносу органов, минуя партийную организацию... А что до «культа личности», так, по мне, культ одной личности не лучше культа другой...

Не понял? Или не захотел понять? По-моему, просто не понял.

Ну и потом пошел бесконечный поток фраз о наших достижениях, о нашей демократии, о единстве партии и народа — и так далее, и так далее. Я пытаюсь перебить этот поток вопросом: читали ли они журнал «Поиски», и в частности мои статьи? Нет, конечно, не читали. Так о чем же говорить? Спрашиваю, почему не привлекают к ответственности тех, кто снабдил ордером Мосгорпрокуратуры секретных агентов КГБ. Тех, кто ворвался к нам на квартиры и унес наши архивы, машинки, книги. Следует успокоительный ответ: если у вас забрали то, что не должны были забирать, вам вернут<sup>1</sup>.

— А самый налет вы считаете ни во что?

— ?!

В общем, ни до чего не договорились. Они уходят и предупреждают, что вызовут меня на заседание парткомиссии. Действительно, мне звонят — раз, и два,

---

<sup>1</sup> Не вернули до сих пор, хотя следствия и суда не было.— И. Э.

и три. А я приехать не могу: сердечные приступы все сильнее. Да, по правде говоря, и не хочу: ну о чем я буду с ними говорить?

В четвертый раз это «выкручивание рук» мне надоедает.

— Если вам так не терпится,— сказала я,— решайте без меня, я пришлю вам письменное заявление.

И послала — заказным письмом с уведомлением (заявление это, датированное знаменательным числом 5 марта, печатается в приложении к этому очерку). Послала, получила уведомление о вручении — и успокоилась. Больше мне не звонили, и событий никаких не было — до 3 апреля.

...В этот день ко мне пришли из парторганизации получить партийные взносы. Это уже делалось раньше: я болела четвертый месяц. Только обычно приходил кто-нибудь один, а на этот раз пришли трое — три женщины. Все было обыденно: секретарь парторганизации получила с меня рубль двенадцать копеек за март 1979 года, отметила в партбилете, дала мне расписаться в ведомости. А потом вдруг сказала:

— А партбилет я вам не отдам...

Это было, скажем прямо, неожиданно. Расстаться с партбилетом я была готова давно, но не таким способом. Я точно знала, что моя парторганизация (при жилищной конторе) ровно ничего о моей истории не знает. И не положено ей знать: «органы» ее в известность не ставили. Исключать меня должно было бюро Московского городского комитета КПСС. Но минимум приличий полагалось соблюсти: сообщить, что я исключена из партии тогда-то и за то-то...

— Как это — не отдадите? — переспросила я.

— Так, не отдам. Партбилет вам не нужен. Вам его все равно придется сдать — ведь вы уезжаете в Израиль.

— Что-о?

— В райкоме нам сказали, что вы уезжаете в Израиль и чтобы мы забрали у вас партбилет.

Медленно закипая, я говорю:

— Скажите в райкоме, чтобы они не занимались провокациями. Скажите им, что я никуда не уезжаю. И никогда и никуда не уеду! — Я уже почти кричу. — И хоронить меня придется здесь!

— В райкоме лучше знают! — с великолепной убежденностью возражает она и отводит руку с парт-

билетом за спину.— Все равно партбилет вам я не отдам...

— Отдадите! — с внезапной яростью кричу я, стремительно вскакиваю с постели, подбегаю к ней, сидящей в кресле, и вытаскиваю из-за ее спины партбилет. Это длится секунду. Они не ожидали такого натиска. Они ошарашены, сбиты с толку и, кажется, начинают смутно догадываться, что тут что-то не так. Во всяком случае, они теперь уговаривают меня «не волноваться», а секретарь, выманившая у меня партбилет, неожиданно заявляет: «Ну, если вы не уезжаете в Израиль, надо получить с вас партвзносы за апрель». Не выпуская из рук партбилета, я плачу еще рубль двенадцать копеек — и они уходят.

Возможно, секретарю за это ее последнее распоряжение нагорело: ведь оказалось, что я исключена еще 21 марта. А уж за что исключена, это и для секретаря, и для всей сотни членов КПСС, составляющих парторганизацию, осталось, полагаю, секретом и по сей день. Даже если их ознакомили с формулировкой исключения. Ибо формулировка эта гласит только: «...за действия, несовместимые с высоким званием члена КПСС». А уж за какие «действия» — остается гадать.

...Почему я так сражалась за партбилет, который готова была отдать и который через несколько дней спокойно отдала?

Это была внезапная импульсивная реакция. Меня просто захлестнула волна, если так можно выразиться, брезгливой ярости. В ту минуту, когда я вырвала партбилет из рук выкравшей его у меня женщины, я вовсе не боролась за свою партийность. И не думала о том, что сплетня о моем отъезде в Израиль призвана способствовать антисемитскому толкованию моих действий. Меня просто трясло, мутило от негодования. Ложь, которая меня давно окружала, которую я давно знала, была внезапно, грубо и прямо, как комок грязи, брошена мне в лицо.

Вот он, личный опыт!

И посейчас не понимаю, зачем понадобилась эта бессмысленная ложь. Даже если они думали, что я уезжаю. Ведь все уезжающие сдают свои партбилеты добровольно.

Наутро я позвонила в парткомиссию. Пожилова сообщила мне, что решением бюро горкома от 21 марта 1979 года я исключена из партии. С решением могу ознакомиться в Гагаринском райкоме КПСС.



— Почему мне об этом не сообщили?

— Вот теперь вы знаете.

Вопрос исчерпан. Дальше все пошло обычным канцелярским порядком. Взяв такси, я поехала в райком, нашла учетный сектор, ознакомилась с напечатанным на бланке в двух экземплярах решением, расписалась на обоих экземплярах и сдала партбилет. Молодая женщина, заведующая учетным сектором, проводившая эту процедуру, запротестовала было, когда я стала записывать формулировку решения. Перевернув бланк, она показала мне напечатанное непарелью примечание: «Запрещается выносить из помещения, снимать копии и разглашать». «Это вам запрещается», — сказала я. Она возразила: «Нет, и вам тоже», но не нашла, что ответить, когда я напомнила, что партийная дисциплина на меня уже не распространяется. Только предупредила, что, если я собираюсь апеллировать, надо об этом написать на тех же бланках.

Нет, апеллировать я не собираюсь. Она чуть удивлена: «Вы согласны с решением?» — «Нет, не согласна, но апеллировать не буду». — «Почему же?» — «Потому, что не хочу быть членом организации, способной выносить такие — и многие другие — решения». — «Но мы ведь не знаем сути дела, — и в голосе ее чуть слышна попытка оправдаться. — Мы только сообщили вам решение». — «Вот одна из причин, по которым я не буду апеллировать: что все можно делать помимо воли и сознания людей, которые принимают в этом участие...»

Перед тем как уйти, спрашиваю, кто сообщил моей парторганизации, что я якобы уезжаю в Израиль. Да, она уже знает о сцене, происшедшей у меня дома, она приносит свои извинения: это она сообщила. На каком основании? Видите ли, такие неопределенные формулировки исключения крайне редки и обычно применяются к тем, кто уезжает в Израиль... Вот она и думала...

Я не очень верю ей, что-то она недоговаривает. То есть верю, что такие формулировки применяются по отношению к членам партии, уезжающим в Израиль (так замаскировывается их число), но не верю, что именно она дала директиву выманить у меня партбилет: такие директивы — не в ведении учетного сектора. А без директивы секретарь парторганизации шагу не ступил бы. Указания были даны, видимо, кем-то выше. Впрочем, я не знаю и, вероятно, уже никогда

не узнаю, кто был автором этой короткометражки, которую можно было озаглавить цитатой известной песенки: «Евреи, евреи, кругом одни евреи...»

Так, более чем буднично, завершилась моя пятидесятирехлетняя партийность.

### 3. ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ, ИЛИ ЧТО-ТО ВРОДЕ ИСПОВЕДИ

В начале этого очерка я писала, что ничто не может заменить личный опыт. Это верно, но верно и то, что пережитый опыт уже не повторяется. Нельзя, как утверждал еще древний философ, дважды вступить в одну и ту же реку: и ты другой, и река другая, и другие кругом берега.

...Меня уже исключали однажды из партии — сорок с лишним лет назад, в эпоху «бдительности», наступившей после убийства Кирова. Потом — восстановили. И не было для меня — тогдашней, тридцатилетней — периода в жизни более страшного, чем ощущение недоверия ко мне моей партии. Даже личные беды (а они были велики) блекли и меркли перед этим сознанием отчужденности, вытолкнутости, остракизма.

И вот прошло больше сорока лет. Сижу в своей обысканной квартире, перед опустевшими ящиками и — думаю. Вот я исключена из партии, в которой пробыла пятьдесят три года и пять дней (с 16 марта 1926 года по 21 марта 1979 года), из партии, в которую вступила честно и восторженно, которой отдавала весь жар души, все силы и помыслы. Ищу в себе отзвук той, прежней, более чем сорокалетней давности, боли...

Нет, не нахожу. Нет боли. Нет, правда, и радости. Нечему соболезновать, но не с чем поздравлять. Соболезновать — чему? Я не горюю — и никаких претензий к бюро горкома КПСС у меня нет. Нарушения уставного порядка — пустяки по сравнению с тем, что мои духовные связи с *этой* партией отмерли давно: они отмирали постепенно, по мере того как умирала и перерождалась сама партия.

Я не собираюсь, как некоторые, оправдываться в своей былой партийности: коммунистом я стала не случайно, никто меня не уговаривал и никто на меня не да-

вил. Я вступила в партию убежденно и радостно, готовая на любые жертвы и тяготы. Но — не в *эту* партию. Той давно нет в живых, а звание члена этой партии я давно не считаю высоким. И с членством в *этой* партии мои взгляды действительно несовместимы — что правда, то правда.

Тогда почему нет радости? Почему не с чем поздравить?

Потому что — поздно. Поздно — и не по моей инициативе. Решение принято и осуществлено не мною, а *ими* — тогда, когда они нашли это удобным.

Почему я не отправила свой партбилет в ЦК, как Алексей Костерин, еще в 1968 году, после оккупации Чехословакии? Ведь мне уже тогда все было ясно...

Ищу в себе ответа на этот вопрос, хочу докопаться «до самой сути». Страх? Может быть, и страх: не буду пытаться выглядеть лучше, чем я есть. Но, мне помнится, главным было что-то другое, чего я не могу назвать иным словом, чем тоска. Память о былой общности еще была жива, еще ныла и болела, хотя самой общности уже давно не было, — так «болят» ампутированные пальцы. Общности уже не было — ни идейной, ни эмоциональной. Я знала: пусть провозгласят свободу мысли и политических объединений — и люди, сидящие со мной на партсобрании, разбегутся не меньше чем по пяти партиям. А большинство вообще ни в какую партию не пойдет, а пойдет домой — сыты по горло. Но фантом, миф, иллюзия держали мою руку, мешали ей обрубить канат и полететь — в пустоту, в одиночество.

И чтобы уж совсем правда: я очень боялась публичного аутодафе. Почти физически я заранее ощущала, как буду стоять под ливнем грязи, — и заранее содрогалась (вероятно, я ошибалась: скрыли бы, как скрыли сейчас). И, подсознательно избегая мучительной процедуры, ухватилась за советы трезвых друзей: не надо, оставаясь в партии, ты сможешь сделать больше. Вечные иллюзии трезвых, вечные оправдания нравственных уступок!

Так или иначе — я этого не сделала. Так с чем же сейчас меня поздравлять? С тем, что они решили за меня? С формальным завершением того краха всей жизни, который наступил давно?

...Река — другая, и берега — другие, и несет течение совсем не к той цели, к которой я стремилась.

Может быть, то, что я пишу, никому и не нужно? Опыт каждой жизни неповторим, моя подходит к концу, а молодые плывут уже по другой реке, у них свои проблемы, свои преграды, свои подводные камни и буруны. И все же я смотрю на них не только с надеждой, но и со страхом. Страхом — за них. Да, они избавлены от тех страхов, которые носила большую часть жизни я, от той ограниченности и фанатизма, которые были свойственны мне и многим моим сверстникам. Но не заменяют ли они их другими? Просто — меняют минус на плюс, кумиров на кумиры. Понимание прошлого подменяют его огульным размашистым отрицанием — как в свое время делали и мы. Помнится, мы уверенно говорили: «Ну кто теперь верит в Бога? Одни старики и старушки!» И никто из нас ни Библию, ни Евангелие даже в руки не брал. Не похоже ли это на нынешнее уверенное невежество: «Ну кто теперь всерьез принимает марксизм?» А сами Маркса даже не перелистывали...

Прошло полвека — все изменилось. Что произошло — новый пророк с неба спустился? Нет, просто чаяния и надежды людей не осуществились. А чаяния были — светлыми, надежды — огромными. «За горами горя» нам виделся «солнечный край непочатый». Оказалось: никакого солнечного края, новое горе — горше горького, новый кнут — хлеще старой нагайки.

Так что же теперь — петь гимны нагайке?

И поют. И в «самиздате» и в «тамиздате» все чаще появляются попытки реанимации позапрошлого. «Солнечный край» рисуется позади, в старой царской России с ее идеалом «православия, самодержавия и народности». И утверждается, что в этом воображаемом раю не было ни угнетения, ни нищеты, ни унижения человеческого достоинства, а было сплошное духовное братство и всеобщая любовь. И значит, не было у революции никаких корней, а просто появились откуда-то демоны-большевики и дьявольским произволением изнасиловали старую добрую Россию. И вот я уже читаю отрывок из некоей поэмы — гимн-апологию белой армии, которая сражалась «за Русь и власть, за честь и веру». Что знает автор об этой армии? Вряд ли что-нибудь, кроме литературных ассоциаций с «Доктором Живаго». А я своими глазами видела этих «белых

ангелов», когда они в 1919 году грабили, убивали и насиловали.

Мне возразят: а противоположная сторона? Кто спорит — на этой стороне было, думаю, не меньше жестокостей и зверств (об этом, кстати, и Блок написал, и Короленко, и Бабель, и даже малоизвестный советский писатель Владимир Зазубрин). Но я помню на *этой* стороне и героизм, и самоотверженность, и благородство. Помню мальчиков и девочек, моих сверстников и чуть постарше, которые «с песней падали под ножом, на высоких кострах горели». Не за власть, не за привилегии, не за комфорт, не за наследственные имения — за освобождение человечества.

Прошло шесть десятилетий, и пора уже перестать уподобляться тем восьмилеткам, которые в 20—30-х годах делили мир на «красных» и «белых», густо зачеркивая «белых»... Сегодняшние сорока- и пятидесятилетние дяди с детской непосредственностью проделывают с историей то же самое — только зачеркивают «красных». Среди этих «зачеркивателей», руководствующихся преимущественно принципом «наоборот», — не только историки, перекрашивающие историю. Есть среди них и философы, и экономисты, проповедующие, что спасение России придет не от Христа, не от Мессии, не от Маркса и не от правозащитного движения, а от... барыги-спекулянта.

Я думаю, что это — очередной исторический бросок в противоположную сторону, в «наоборот» от постылого государственного всевластия «хапающей» личности. Есть броски и пострашнее — от неосуществившейся идеи братства народов к кровавой идее воинствующего национализма, бродящей сейчас по всему миру и явно поощряемой в нашей стране.

Гораздо более глубокие корни имеет нынешний поворот многих интеллигентов к религии. Я — давний и необратимый атеист, но и я думаю, что этот поворот — не только реакция на монополию государственно-обязательного атеизма и не менее государственно-обязательного «марксизма», обесмысленного казенными толкователями. Тут и тоска по утраченной духовности, и стремление к свободе и раскованности непосредственного чувства — многое тут есть...

Я не собираюсь здесь заводить спор с верующими: пусть каждый верит в то, во что верит, и любит то, что любит. Но вот среди людей, как будто протестующих

против духовного угнетения, против идеологической монополии, зреет, наливаются соками и набирает силу течение, требующее просто заменить одну господствующую идеологию другой, монополию «государственного марксизма» — монополией «государственного православия», современный тоталитарный строй — тоталитарностью православной монархии. Если учесть, что это течение сливается и срастается с широко распространяемым и полуофициально поддерживаемым национализмом, можно себе представить, какая новая «зияющая высота» открывается перед нами.

Пусть каждый верит в то, во что верит, и любит то, что любит. Пусть. Но вот именно — каждый. *Этих* — сторонников еще одного варианта духовных «ежовых рукавиц» — я в союзники не возьму. Как и тех, от кого ушла.

...Эти страницы — не попытка завязать диспут, дать рецепт или, упаси боже, создать новую «теорию». Это — проверка собственной души, расчет с прошлым, стремление понять настоящее.

...Изменила ли я идеалам моей юности? Нет! — пусть обвиняют меня в этом все партследователи и партруководители, вместе взятые, давно эти идеалы предавшие и продавшие. Я и сейчас не знаю ничего светлее и прекраснее этих неосуществленных (может быть, они и не могли осуществиться? — не знаю) идеалов. Я и сейчас считаю, что межнациональное братство благороднее национальной отчужденности, ограниченности, не говоря уже о ненависти. Что человек не должен быть объектом ничьей эксплуатации. Что демократические права и свободы должны стать делом всех людей. Это все — идеи социалистические, коммунистические. Я от них не отказывалась, не отказываюсь и не откажусь.

От чего я отказалась — это от монополии на истину, от нетерпимости, от уверенности в собственной непогрешимости. От «единомыслия» и «единогласия», погубивших — и в этом я убеждена — те самые идеи, во имя которых я пятьдесят три года назад вступила в партию. «Единомыслия» и «единогласия», давно уже выродившихся в насилие, фарс, насмешку и ложь. Теперь я считаю главным — оставаясь собой, пробиться к другим, к их голосам, к их мыслям. Не анафемы провозглашать и не гимны петь, не снабжать прошлое ни ангельскими нимбами, ни дьявольскими рогами,

а попытаться понять его, чтобы пробиться к будущему. Попытаться понять: что произошло? Что произошло с людьми и с их известной мечтой о «светлом будущем», которое теперь упоминается не иначе, как в иронических кавычках?

Но ведь человеку всегда было свойственно — свойственно и сейчас! — надеяться на светлое будущее без кавычек. Надеяться — и по мере сил приближать его. Хотя бы искать путей такого приближения.

Как искать? Единственный, хотя и трудный в наших условиях способ поисков — это мысль и слово. Движение мысли, выраженное в слове. Закаменелость, законсервированность, остановленность мышления — вот что губительно. Система, в которой мы живем, настолько замкнуто-тупа, настолько лишена всякого свежего дуновения, проблеска, что встречную мысль нужно разыскивать чуть ли не ощупью, даже встретиться двум мыслям подчас трудно. И мы нащупываем, ищем, срываемся, сходимся, расходимся, теряем нить, хватаемся за другую... Нам мешают, не дают додумать, договорить, понять друг друга. К нам врываются с обыском, хватают наши статьи и письма, вызывают на допросы, угрожают... Но движение высвобожденной, раскованной мысли неостановимо.

Так начался в 60-х годах и мой путь, который закономерно привел меня ныне к обыску и к исключению из партии. Он начался с высвобождения собственной мысли из-под гнета «единомыслия» и со встреч с другими по-разному мыслящими людьми. Естественно, что на этом пути я встретила и с теми, общение с кем инкриминируется сегодня как преступление партследователями и просто следователями, — с правозащитниками, диссидентами, назовите, как хотите.

Я глубоко уважаю этих людей за бесстрашие и самоотверженность, с которыми они борются за права человека, не употребляя никакого оружия, кроме мысли и слова. Я радуюсь тому, что сблизилась с некоторыми из них и что моя мысль и мое слово (и моя подпись) иногда включаются в их мирный арсенал.

Но я знаю: у меня и здесь вряд ли найдется много единомышленников. По-разному мы оцениваем прошлое, различно прогнозируем будущее. И я знаю: если партследователь требовал, чтобы я покаялась в измене коммунизму, то найдутся и такие, кто потребует от меня раскаяния в верности ему.

Покаяний не будет — ни здесь, ни там. Я ничему не изменила и никому не собираюсь присягать. Отречения — ни от моего прошлого, ни от моих сегодняшних друзей — от меня никто не дождется.

Да, пересматривать мне есть что, есть чего стыдиться. Но есть и чем гордиться. Отказываясь содействовать насильникам, я одновременно отказываюсь признать их наследниками и продолжателями славных поколений русских революционеров. Тех, кто самоотверженно, бесстрашно и бескорыстно защищал права человека тогда и протягивает из прошлого руки сегодняшним правозащитникам. Я продолжаю чтить «немодные» социалистические идеи — ныне окровавленные и разорванные на лозунговые тряпки «толстомордыми» из «органов», райкомов (и повыше), пытающимися прикрыть ими свою идейную наготу.

С тем меня и возьмите.

Демократическим ли социализмом, либеральной ли демократией назовем вы или я то общество, к которому мы стремимся, но в этом обществе мысль, слово, личность должны быть свободны. И ни у кого не будет кляпа во рту, и ни у кого государство не станет воровать его дневники, статьи и письма, и никто не пойдет в лагерь за разномыслие с властью или за помощь ближним. Эта цель у нас общая.

И пусть каждый делает что может.

Я могу немного: мало осталось времени и мало сил. И я не берусь ответить на многие жгучие вопросы, на главный из них: почему произошло то, что произошло, и могло ли быть иначе? Пусть ищут ответ ученые. Я — не теоретик, не философ, не историк. Просто старый человек, много повидавший, много думавший и кое-что понявший. Может быть, поздно, но все-таки понявший. И моя более чем семидесятилетняя жизнь совпадает с более чем шестидесятилетней историей моей страны, которую я наблюдала и в которой участвовала. Я — одна из тех, кому есть что сказать и которая *может* сказать, как это было на самом деле. И постараться сказать «правду, одну только правду, ничего кроме правды!».

Может быть, это и есть мой главный долг? <sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> После обыска у больной женщины был отключен телефон. Шесть лет, до самой своей смерти Раиса Борисовна не могла вызвать из дома врача, позвонить сыну, если чувствовала себя плохо. На телефонной станции, честно глядя ей в глаза, сказали, что у нее



В парткомиссию при МГК КПСС  
Члена КПСС с 1926 года  
Лерт Р. Б. (партбилет № 09333150)

### ЗАЯВЛЕНИЕ

Я не могу явиться на ваш вызов прежде всего потому, что я серьезно больна. Но если бы даже не было этого существенного обстоятельства, вы сами освободили меня от морального обязательства явиться на ваш суд. Освободили тем, что возбудили мое «персональное дело», как сообщил мне тов. Иванов, по «данным органов КГБ», т. е. по секретному, необоснованному и непроверенному доносу. При этом, само собой, нарушаются все этические, юридические и уставные нормы: обвинители — тайные, неизвестные; обвинение не сформулировано; первичная организация устранена от разбора дела и т. д.

Но суть в конце концов не в этом. В моем малом «персональном деле» хорошо просматривается общая ситуация: в партии и в стране успешно восстановлены сталинские нормы «презумпции виновности». В ведении органов КГБ — тайных, неподконтрольных и ненаказуемых — снова, как при Сталине, оказываются судьбы людей и решение идеологических вопросов. И они, эти органы, решают их своими тайными полицейскими методами.

Все это значительно шире и глубже, чем мой малый случай. Но в моем случае действуют те же законы беззакония. Возбуждая мое «персональное дело», парткомиссия способствует узаконению бесправия. Вместо того чтобы призвать к ответу тех членов КПСС, которые незаконно снабдили ордером Мосгорпрокуратуры ворвавшихся ко мне на квартиру 25 января этого года тайных агентов КГБ, вы призываете к ответу меня. Вместо того чтобы потребовать объяснений от этих агентов, которые, скрыв свои имена, рылись в моем белье и в моих письмах, унесли с собой весь мой личный и литературный архив, мои книги и мою пишущую машинку, —

---

никогда не было телефона. Раиса Борисовна до конца жизни продолжала платить за телефон, и он был включен тотчас же, когда была предъявлена справка о ее смерти.

вместо этого вы требуете объяснений и оправданий от меня.

В чем?

Тов. Иванов не сумел сформулировать обвинение. Из его сбивчивых объяснений я поняла, что мне инкриминируется общение с людьми, которые по тем или иным причинам не устраивают КГБ. Но, вступая в 1926 году в партию, я не передоверяла свой разум, душу и совесть этим органам — даже тем, каковы они были тогда и как бы они тогда ни назывались. А с тех пор я (как и многие из вас) пережила 30-е годы, когда эти «органы» уничтожили цвет партии. И если десятилетия сталинизма не вытравили у меня стремление самостоятельно размышлять над тем, что происходит в партии и в стране, то теперь, к концу жизни, этого уже не вытравить никакими угрозами.

Не со вчерашнего дня и не с 1976 года, а гораздо раньше я думаю и пишу о том, что тревожит меня, и пытаюсь, путем обмена мыслями с другими, искать выход из бед и болей, переживаемых нашей страной. Излагать все эти мысли в коротком заявлении невозможно, но если вы хотите составить о них представление, вам следовало бы запросить у соответствующего ведомства изъятые им у меня мои статьи. Они, кстати, все подписаны моей фамилией — и многие из них в свое время были адресованы партийным органам и органам печати, пока я не потеряла надежду на способность работающих там людей прислушиваться к тем мнениям и соображениям, которые не совпадают с газетными передовицами. Это, впрочем, участь не только моя, человека вполне рядового: наши власти безрассудно и упрямо отказались вступить в диалог с такими достойными людьми, как академик А. Д. Сахаров, Ю. Ф. Орлов и многие другие. Вместо диалога с инакомыслящими к ним применяются жесточайшие репрессии, вместо споров и дискуссий — клевета и обливание грязью.

И я позволю себе высказать здесь мое глубочайшее убеждение человека, посвятившего всю свою сознательную жизнь (с 16 лет) делу создания коммунистического общества: не деятельность Хельсинкской группы, не выступления академика А. Д. Сахарова, даже не выступления или статьи действительных идейных противников социализма — не это все следует считать антисоветскими, антикоммунистическими акциями. Наибольший вред идеалам социализма и коммунизма —

и внутри страны, и на международной арене — наносит репрессивная политика наших властей. В этом смысле наиболее последовательным антисоветчиком и антикоммунистом был Сталин, а сегодняшняя практика наследует сталинскую политику.

Разделяя взгляды западных компартий, осуждающих репрессивные меры, к которым прибегают наши власти для подавления мысли, я считаю, что не может быть социализма там, где люди не могут свободно обсуждать любые политические, идейные, философские, религиозные, экономические и другие проблемы. И не только обсуждать, но и осуждать (если они считают необходимым) деятельность своего правительства, партии, любого, самого высокопоставленного деятеля, любую, самую признанную и распространенную доктрину.

Без свободы мысли, слова и совести нет социализма — и нет выхода. Идеологическая монополия, вооруженная бичом полицейских репрессий, физически хлещет прежде всего по инакомыслящим, но идейно она разрушает именно тех, кто этим бичом орудует. Если на 62-м году после Октябрьской революции власть, называющая себя социалистической, партия, называющая себя коммунистической, противопоставляют чужой мысли полицейские меры подавления, — я не могу объяснить иначе, чем нравственным и интеллектуальным бессилием тех, у кого нет других аргументов, кроме репрессий.

Я считаю, что подлинные социалисты, подлинные коммунисты должны обладать другими аргументами. Должны уметь выслушивать мыслящих людей разных взглядов, прислушиваться к чужим мнениям, искать истину в диалогах, спорах, дискуссиях, ведущихся в нормальных условиях и на равных правах. И свое участие в журнале «Поиски» (не антисоветском и не антикоммунистическом, но свободном и бесцензурном) я рассматриваю как слабую, начальную попытку завязать на этом крохотном рукописном пяточке тот доброжелательный диалог, который, я считаю, нужен нашей стране.

*Р. Лерт*

*5 марта 1979 г.*

## ЦЕПЬ БЕЗЗАКОНИЙ

...Здание Московского городского суда. Множество комнат, коридоров, по которым взад и вперед ходят люди. Но второй этаж перекрыт. За стеклянной дверью, отгораживающей коридор второго этажа от лестницы, четыре дня томятся сторожащие вход милиционеры. С другой стороны двери, на лестнице — мы — друзья Валерия, для которых не нашлось места в зале. Когда бы мы ни пришли — места нет. Здание суда открывается в 10 часов утра. Некоторые из нас пришли в восемь. Все равно — «мест нет». В зале, отведенном для суда над Валерием Абрамкиным, — восемнадцать мест, из них четыре занимают жена, мать, отец и сестра Валерия. Остальные четырнадцать слушателей — настолько «свои», что, когда к концу четвертого дня суд удалился для вынесения приговора, вся «публика» (кроме, разумеется, родных Валерия) пошла пить чай в комнату с надписью «Посторонним вход воспрещается». А нас на лестнице — человек тридцать. А в здании суда есть пустующие залы человек на сто — мы проверили. В первый же день мы направили председателю Мосгорсуда заявление с просьбой перенести суд в более просторное помещение, чтобы дать нам возможность присутствовать на нем. Ответа на заявление не последовало.

Такова «открытость» суда. Но это — лишь одно звено в той цепи беззаконий, которую представляет собой суд над редакторами свободного московского журнала «Поиски», и в частности Валерием Абрамкиным, которого «судят» сейчас здесь, в здании Мосгорсуда.

...Цепь беззаконий начало ковать следствие. Началось беззаконие 25 января 1979 года серией обысков. Продолжалось оно для Валерия Абрамкина шантажом со стороны следователя Ю. Бурцева, угрожавшего именно ему арестом, если выйдет № 6 журнала. Затем, после многократных допросов и угроз, последовал арест. Не добившись в течение шестимесячного предварительного заключения в Бутырской тюрьме от Абрамкина никаких показаний и не найдя никаких «улик», следователь вообще махнул рукой даже на внешние соблюдения законности. Предварительное заключение по закону не может длиться больше девяти месяцев? Чепуха! 4 сентября Валерию предоставили возможность ознакомить-

ся с материалами «дела», представляющего собой 9 (девять!) толстых томов. 4 сентября Абрамкина по закону полагается выпустить из тюрьмы под подписку о невыезде. Чепуха! Соответствующее представление адвоката игнорируется. Абрамкина из тюрьмы не выпускают, а 8 сентября «дело», с которым не успели ознакомиться ни обвиняемый, ни адвокат, передается в суд. Потом исчезает по неизвестным причинам избранный семьей Абрамкина адвокат и начинаются лихорадочные поиски другого адвоката. Идут дни — Абрамкину для ознакомления «дело» не дается. Наконец, за два дня до 24 сентября — начала суда — назначается «казенный» адвокат, которому тоже нет времени ознакомиться с «делом». Процесс откладывается до 1 октября, но за эту неделю Абрамкину только два раза привозят в тюрьму «дело» для ознакомления.

...Первого октября начинается процесс — в тех условиях «открытости», о которых сказано выше. Ряд людей, хорошо знающих Абрамкина, настаивает на вызове их в качестве свидетелей, в том числе передается суду и ходатайство соредатора Абрамкина по «Поискам» Раисы Лерт. Оно поддержано и подсудимым и адвокатом, но автоматически отклоняется судом, как четыре других ходатайства. А казалось бы, для установления истины неплохо бы выслушать одного из редакторов «Поисков», работавших вместе с Валерием над изданием этого журнала.

Но что суду до установления истины! Вот, например: Абрамкин заявляет, что в «деле» он обнаружил неизвестный ему и, конечно, не подписанный им, Абрамкиным, протокол, в котором он якобы признает свою вину. Как попал этот несуществующий протокол в «дело»? Абрамкин настаивает для выяснения этого вызвать в суд его адвоката Аксельбанта и следователя Жабина, присутствовавшего при исполнении ст. 201.

...Суд отклоняет его ходатайство.

Еще один пример.

Пока в судебном заседании допрашивается свидетель Сорокин, в свидетельской комнате ждут своей очереди остальные пять человек. В это время к ним заходит неизвестный, который, впрочем, известен одному из свидетелей, Яковлеву, ибо в свое время допрашивал его, Яковлева, по поводу «Поисков», не назвав своей фамилии. Весьма фамильярно обращаясь к Яковлеву на «ты», он утверждает, что Сорокина суд сейчас будет привле-

каль за его показания к уголовной ответственности, «так что ты подумай, прежде чем давать показания».

Яковлев, как и остальные свидетели, слышавшие это, написали заявление суду о недопустимом давлении на них перед дачей показаний. Мало того, выходя к судейскому столу, каждый начинал свои показания с рассказа об этом эпизоде и требовал привлечь этого человека к ответственности. Как реагировал суд?

Судья Евстигнеева спросила Яковлева:

— Ну и что, вас запугали? Вы изменили свои показания?

— Нет.

— Ну, так в чем же дело?

И «неизвестный» испарился, так и не обнаружив своей фамилии и своего служебного положения. Хотя и то и другое, надо полагать, хорошо известно тем, кто пропускал его в бдительно охраняемые милиционерами помещения второго этажа и в свидетельскую комнату, куда доступ и откуда выход никому не разрешался.

Несмотря на давление, оказываемое на свидетелей и во время предварительного следствия, и во время суда, все свидетели (кроме тех, которые с ним просто незнакомы) дали Валерию Абрамкину подчеркнута положительную характеристику, а свидетельница Соня Сорокина после своей речи в защиту Валерия преподнесла ему цветы (которые, конечно, не были переданы).

Ряд свидетелей официально заявили суду, что их показания на предварительном следствии записаны неправильно, неточно, извращенно.

Суд игнорировал эти заявления.

Характерен допрос бывшей жены Валерия Абрамкина Малиновской. Ей предъявили протокол ее допроса на предварительном следствии, где она якобы сказала, что Абрамкин выражал недовольство советским строем. Малиновская заявила, что она этого не говорила, что она ничего не знает о том, что Абрамкин якобы «клеветал». Никто из свидетелей не подтвердил клеветы, наоборот, все ее отрицали. Даже единственный «свидетель обвинения», некий инспектор Мосэнерго Касаткин, с которым Абрамкин вообще незнаком, изложил суду вымышленную историю о передаче ему Абрамкиным в полутемной сторожке номера «Поисков», который ему, Касаткину, не понравился, «потому что он антисоветский». Но в чем «антисоветскость», он изложить не мог, так как в этой полутьме едва его рассмотрел.

Это бредовое показание суд не игнорировал.

Фигура Касаткина совершенно ясна. Через четыре дня этот «профессиональный свидетель обвинения» давал аналогичные показания на процессе другого редактора «Поисков» Юрия Гримма. Тем самым Касаткин отрабатывает ту снисходительность, с которой относится к нему советское правосудие, глядя сквозь пальцы на его сомнительную деятельность в другой области.

Так или иначе, даже с помощью Касаткина, суд констатировал лишь «распространение» журнала «Поиски», но не смог установить в судебном заседании, что в этом журнале содержались «заведомо ложные, клеветнические сообщения». Да он и не пытался этого установить. Просто в обвинительное заключение, а затем в приговор были переписаны выдержки из отзывов так называемых «специалистов» — докторов наук, профессоров и членов-корреспондентов академических институтов, которые с готовностью выполнили задание следователя Ю. Бурцева: подтвердили, что в «Поисках» содержится клевета, не доказав этого ни научно, ни просто логически. Их «отзывы» заслуживают особого разбора, который не может вместиться в короткую корреспонденцию. Пока достаточно назвать их фамилии, чтобы мировая научная общественность знала, кто из советских ученых послушно выполняет задания карательных органов. Это — доктор философских наук, профессор Модржинская (Институт философии АН СССР), директор Института философии Б. Украинцев, доктор исторических наук Г. Трукан (Институт истории СССР АН СССР), доктор исторических наук О. Ржешевский (Институт всеобщей истории АН СССР), директор Института международного рабочего движения, член-корреспондент АН СССР Т. Тимофеев. ВСЕ эти отзывы написаны в духе политических доносов светлой памяти 1937 года.

Однако ни один из авторов доносов в судебное заседание не явился. Валерий Абрамкин трижды ходатайствовал перед судом: и о том, чтобы определить, кто эти люди — эксперты, специалисты, свидетели, и о том, чтобы они в любой своей ипостаси явились в суд. Ибо он, обвиняемый в клевете, хочет задать им вопросы, в чем именно находят они клевету.

Тщетно. Суд механически, с постоянством налаженной машины, отклоняет все ходатайства.

Цепь беззаконий, которой заранее был опутан обвиняемый, нескончаема. По закону определить по существу, что клевета, а что не клевета, должен именно суд, а специалисты, или эксперты, или свидетели должны дать свои показания об этом устно и непосредственно в судебном следствии.

Но суду — не до соблюдения законов. Машина движется, и только обвиняемый нарушает ее плавный ход, выдвигая вполне законные, но неизменно отвергаемые ходатайства. Прокурор в бешенстве: откуда этот тридцатичетырехлетний химик так хорошо разбирается в законах? Прокурор до того в бешенстве, что отвергает даже ходатайство Абрамкина о выдаче ему двух необходимых для защиты книг: изданной советским издательством брошюры «Наша планета» и... Программы Коммунистической партии Советского Союза!

Аргумент?

— Подсудимый имеет высшее образование и может обойтись и без этих книг...

И суд отклоняет ходатайство.

Суд заканчивается вынесением приговора — три года лагерей — 4 октября в половине десятого вечера. Нас уже давно выставили из здания суда и заперли двери. Уже давно произнесено последнее слово, судьи где-то «совещаются». Мы стоим у ворот и ждем, как и каждый день по окончании суда, когда вывезут в «воронке» Валеру. Кругом шныряет большое количество касаткиных, подъезжают какие-то начальственные машины с антеннами. Вот, наконец, открываются ворота. Слышен шум мотора. Мы кричим, скандируя: «Валера мо-ло-дец!», «Победа, Валера!».

А ведь действительно молодец! Один на один он сражался с заведомо несправедливым судом, и сбить с толку его не могли. И моральная победа осталась за ним.

## МОИ НЕПРОИЗНЕСЕННЫЕ СВИДЕТЕЛЬСКИЕ ПОКАЗАНИЯ

*Первого октября 1980 года, в первый день суда над Валерием Абрамкиным, несколько человек, в том числе и я, подали ходатайство суду о вызове нас в качестве*



*свидетелей Всем нам (кроме Сони Сорокиной) в ходатайстве было отказано.*

*Так мне и не удалось произнести в зале суда то, что я хотела сказать о Валерии и о нашем журнале. Сказать не столько суду, сколько Валерию — глаза в глаза, через разделявший и не могущий разделить нас барьер. И еще его близким — чтобы они знали, как по-человечески хорош их муж, сын, брат не только для них, но и для нас. И еще этим четырнадцати заранее подобранным слушателям (а в здании Мосгорсуда в это время пустовал зал на сто человек, а нас на лестнице толпилось человек сорок!). Кто знает, а вдруг и у них дрогнет что-то в душе, вдруг зародится какая-то мысль и в их «промытых» мозгах?*

*Но мне слова не дали. И я хочу сейчас произнести свои показания перед большой аудиторией. Пусть они лягут крупницей в материалы того суда, который когда-нибудь будет вершить история над нынешними судьями.*

Свидетелей всегда спрашивают, в каких они отношениях с подсудимым. Предваряя этот вопрос, хочу ответить на него заранее: в дружеских. И еще: я отношусь к Валерию Абрамкину с полным уважением и надеюсь, что он так же относится ко мне. Я уважаю его за честность, за бескорыстие, за трудолюбие, за готовность взять на свои плечи груз и облегчить тем самым ношу товарища, за постоянно ищущую и неуспокаивающуюся мысль.

Я знаю Валерия Абрамкина немногим более двух лет, из которых он около года заперт в Бутырской тюрьме. Возможно, вы считаете, что год с небольшим — слишком малый срок, чтобы узнать человека? Ведь я не то что пуд — четверть фунта соли не успела с ним съесть.

Нет, в наших условиях год с лишним совместной работы — не так уж мало, особенно для старого человека, многое и многих повидавшего. Да и соли в нашей совместной деятельности было больше чем достаточно.

Первые несколько месяцев наши взаимоотношения можно охарактеризовать как непрерывные стычки и противостояния. Ниже я скажу, как постепенно это противостояние перерастало во взаимопонимание и сотрудничество, но начиналось с взаимного отталкивания. И если Валерия, в силу его внутренней душевной воспитанности, сдерживал мой возраст (как-никак я го-

жусь ему в бабушки!), то я, увы, не всегда была свободна от извечной стариковской реакции на молодую независимость.

Не буду сейчас (не место и не время) говорить, в чем именно мы расходились. Но даже вначале, в период самых острых споров, я не могла не отметить то качество Валерия, которое всего важнее для характеристики его личности и которое, к сожалению, так дефицитно сейчас в общественной жизни нашей страны.

Это прежде всего — **честность**. Честность **мысли**. Уменье думать и неумение, нежелание лгать, увертываться, хитрить. Это не исключает ошибок (а кто свободен от них?), но начисто исключает способность лгать, клеветать, притворяться. Может быть, потому так и остры были наши споры, что ни он, ни я не хотели — даже для достижения **ВЗАИМОПОНИМАНИЯ** — притворяться не теми, кто мы есть на самом деле.

Поэтому я со всей ответственностью свидетельствую здесь: Валерий Абрамкин не может, не способен клеветать и заведомо лгать — ни на страницах «Поисков», ни где бы то ни было. Впрочем, обвинение, располагающее семью вышедшими номерами журнала «Поиски», и не может представить никакого доказательства, что на страницах нашего журнала печаталась клевета. Оно может (и этим занималось следствие 20 месяцев) доказать, что мы (редакция журнала «Поиски») составляли, изготовляли и распространяли (к сожалению, распространяли мало) машинописный дискуссионный журнал. Этого мы не скрывали — и это ни Конституцией страны, ни Уголовным кодексом не воспрещено. Но обвинение не может доказать, что мы распространяли клевету, что хотя бы один из сообщенных журналом фактов **вымышлен**. Да еще злостно вымышлен, с **заведомой** целью «порочить советский государственный и общественный строй».

Нет, не Валерий Абрамкин, не редакция «Поисков» порочат советский государственный и общественный строй, а те его «защитники», которые устраивают такие вот суды над инакомыслящими, точнее — над мыслящими, над мыслью. Те, кто путем всяческих манипуляций превращает открытое и честное исследование проблем, споры и несогласия — в уголовное преступление. Вот они-то действительно и клеветают, и заведомо лгут, и пытаются запугивать свидетелей, и производят незаконные обыски, и строчат фальшивые протоколы и

фальшивые «рецензии», и закрывают перед слушателями двери «открытых» судов. Честным людям, добивающимся правды, такие методы не нужны. Обратите же вашу бдительность, граждане судьи, против действительных нарушителей законов. В «деле» Абрамкина они все вам известны. Это — старший следователь Мосгорпрокуратуры Ю. Бурцев, многократно нарушавший законы в ходе следствия. Это — профессора, доктора наук и член-корреспондент АН СССР (Модржинская, Украинцев, Трукан, Ржешевский, Тимофеев и др.), занявшиеся вместо научной критики политическими доносами и трусливо не явившиеся в суд. Это те — я не знаю их фамилий и должностей, но вам их нетрудно узнать, — кто лишил Валерия нормальной защиты и не пустил его друзей на суд.

Но вы их судить не будете. Вы судите Валерия Абрамкина за то, что он — хороший, честный, мыслящий человек. И за то, что он мыслит иначе, чем вы. Впрочем, нет, беру свои слова обратно: и **следа какой бы то ни было мысли** нельзя обнаружить во всем ходе подготовки процесса, в действиях следствия, в отzyвах «ученых». Есть тупое выполнение директивы: разбить, растоптать, уничтожить тех, кто осмеливается искать истину без разрешения начальства. Поразительно, до чего испугали блюстителей порядка 10—15 машинописных экземпляров журнала «Поиски». А ведь мы всего только искали взаимопонимания разномыслящих, но одинаково озабоченных судьбами страны и человечества людей. Неужели это так опасно для могучей власти?

...Нам немного удалось сделать, и не все так, как хотелось. Нам было очень трудно — и не только из-за специфических условий работы. Добиваясь плюрализма, взаимопонимания, терпимости на страницах журнала, нам надо было одновременно добиваться взаимопонимания друг с другом. И я хочу сказать, что мы постепенно начали его обретать — и мои отношения с Валерием Абрамкиным тому пример. Описанные в начале моих показаний столкновения между нами в процессе работы перешли во взаимопонимание, скажу больше (говорю о себе) — в дружественную симпатию. Причем никто из нас не изменил своих взглядов. Мы оставались сами собой — и мы продолжали спорить. Но уже не так. Что-то сдвинулось в каждом из нас. За теориями, за концепциями, за идеологиями, за неизбежным возрастным и временным противостоянием — каждый из нас

увидел в другом человека. Чем-то близкого. Какие-то ценности, какие-то способы мышления и способы чувствования оказались у нас общими — несмотря на все разногласия.

Значит, это возможно? Значит, возможно людям, мыслящим разное, не только понимать друг друга, но и дружить, и работать вместе? А ведь «Поиски» именно этого и добивались.

Отдайте себе отчет, вы, те, кому «ведать надлежит», что в нашей огромной стране нет и никогда не будет полного «единомыслия» и «единогласия». По-моему, это хорошо, по-вашему — плохо. Но как бы ни оценивать этот факт, он — реален, гораздо более реален, чем другие, именуемые реальными явлениями. И нам, разномыслящим людям, нам жить и работать в одной стране. И чем жестче будете вы преследовать свободную мысль, тем больше будут потери — и в хозяйстве, и в культуре, и в морали. Отдайте себе отчет в том, что перевод таких людей, как Валерий Абрамкин, которыми страна могла бы гордиться, в категорию «преступников», есть потеря для страны, а опора «правосудия» на таких, как лжесвидетель Касаткин, есть позор страны и растление ее граждан.

В заключение я хочу сказать вот что. Невинность Абрамкина ясна уже из того, что ему не предъявлено конкретного обвинения ни в какой лжи в его личной авторской работе. На каком же основании вы делаете его ответственным за коллективную работу всей редакции, в которой тоже, впрочем, нет ни лжи, ни клеветы? Понимать ли это так, что суд продолжает ту же установку на заложничество, которую откровенно высказал в свое время следователь Бурцев? (В 1979 году следователь Ю. Бурцев во время допроса находившегося тогда еще на свободе Абрамкина грозил ему, что, если выйдет № 6 «Поисков», арестован будет именно он, Абрамкин.)

Я категорически протестую против того, что Валерия делают ответственным не только за свою, но и за мою работу. Я еще жива и обладаю всеми моими умственными способностями. У меня за плечами — сорокалетний опыт литературной деятельности в советской печати и более чем пятидесятилетний политический опыт члена КПСС, которым я перестала быть как раз в связи с «Поисками». Уже не думаете ли вы, что Валерий Абрамкин водил моим пером, когда я писала в «Поиски» свои статьи и редактировала для них чужие?

Почему же вы посадили на скамью подсудимых Абрамкина и не посадили рядом с ним меня? Я вам отвечу на этот риторический вопрос сама: потому, что как раз моя биография не устраивает вас для обвинения по статье 190<sup>1</sup>. Подумайте же, если вы способны думать, почему уходят от вас люди, посвятившие всю свою жизнь созданию справедливого социалистического общества. И почему ваши репрессии, отнимающие у правозащитников здоровье, годы жизни, иногда — самую жизнь, не могут отнять у них чести. Честь теряете вы — судьи.

Я сказала все. Не пытайтесь задавать мне вопросы — я на них отвечать не буду. А вам, Валерий, спасибо — за ваше мужество и благородство. Надеюсь дожить до того дня, когда мы с вами не только увидимся, но и обнимемся<sup>1</sup>. И пожмем друг другу руки. И еще поспорим.

\* \* \*

Разумеется, я не ручаюсь, что моя речь в суде была бы точь-в-точь такой же, как эта, написанная. Я никогда не писала заранее своих устных выступлений, не писала заранее и этих свидетельских показаний. Кроме того, я совсем не уверена, что мне дали бы все это сказать.

Но за точность моих мыслей — ручаюсь. Что я хотела сказать судьям, то и написала здесь.

## ПРОТИВ ПОЛИТИЧЕСКОЙ БУЛЬВАРЩИНЫ

*(Правда о «Поисках»)*

Я прочла книжку «С чужого голоса», напечатанную в 1982 году издательством «Московский рабочий» в количестве 75 000 экземпляров.

Писать рецензию на это произведение я не собираюсь — хотя бы потому, что мне недоступны те материалы, которыми, видимо, снабдили его авторов соответствующие секретные учреждения. Но около 40 страниц (из трехсот) книги (с 59-й по 97-ю), то есть

---

<sup>1</sup> До этого дня Раиса Борисовна не дожила. В Абрамкину в лагере по провокационному доносу был добавлен срок. Сейчас он на свободе.

примерно 12 процентов текста, посвящены предмету, о котором я знаю, пожалуй, больше, чем любые организации и учреждения. На этих страницах напечатан очерк Т. Гладкова «Куда заводят «Поиски», и речь в нем идет о неподцензурном «самиздатском» журнале «Поиски», издававшемся в Москве в 1978—1979 годах. А я была одним из семи редакторов этого журнала.

Внимательно прочитав очерк (и всю книжку), я убедилась: книга эта задумана, написана и издана с единственной целью — убедить читателя в том, что всякий инакомыслящий, то есть в чем-либо несогласный с властью (и тем более открыто высказывающий свое несогласие), тем самым автоматически становится орудием в руках иностранных разведок. А то и прямым их агентом. Примерно такое обвинение предъявляется и редакции журнала «Поиски».

Так вот, я заявляю, что это ложь, и постараюсь доказать это. Пусть опровержение мое останется хотя бы для истории: напечатать его у меня нет возможности. Но, будучи единственным оставшимся на свободе членом редакции (если не считать находящегося в эмиграции П. Егидеса и раскаявшегося В. Сокирко<sup>1</sup>), я считаю себя обязанной выступить в защиту чести как своей, так и своих осужденных товарищей. Замечу при этом, что ни ЦРУ, ни ФБР, ни корреспондентам западной прессы данный документ я не передавала и не собираюсь передавать.

#### КАК И ДЛЯ ЧЕГО СОЗДАВАЛИСЬ «ПОИСКИ»

Для будущего читателя (как, впрочем, и для нынешнего, если бы он **был**) существенно знать, что это за журнал «Поиски», когда и кем создавался, какие цели ставили себе его инициаторы. Обо всем этом книжка «С чужого голоса» умалчивает. Но ее название, даже до ознакомления с текстом, как бы предупреждает читателя о том, что мы, редакторы «Поисков», действовали будто бы руководимые чужим, заграничным голосом.

Я заявляю, что это — неправда. И не ошибка, не заблуждение, а прямая, сознательная, **заведомая** ложь.

Журнал «Поиски» (тогда еще безымянный) был задуман в 1978 году двумя людьми — мною и Петром

---

<sup>1</sup> В книжке «С чужого голоса» В. Сокирко именуется В. Васильевым.

Марковичем Егидесом<sup>1</sup>. Егидес находится сейчас за границей и может выступить по этому поводу сам; однако я скажу вкратце и о нем и о себе. К моменту, о котором идет речь, я была членом КПСС с более чем пятидесятилетним партийным стажем и сорокалетним опытом работы в советской печати. Сюда входил и опыт противостояния «чужим голосам» — контрпропагандистская работа в ТАСС и Радиокomiteе СССР во время Великой Отечественной войны и последовавшей затем «холодной войны» (правда, в 1978 году у меня уже был семи-восьмилетний опыт выступлений в «самиздате»). Егидес, философ-марксист, более молодой, но тоже член КПСС, года за три до описываемого времени был посажен в психиатрическую лечебницу (потом выпущен из нее) и исключен из партии за написанный им — **в единственном экземпляре и от руки** — философский труд. Поскольку труд этот остался в архивах КГБ, я его не читала и оценку дать, естественно, не могу. Но, зная почерк Егидеса, без особого риска могу утверждать, что полностью его не прочли ни следователи, ни психиатры, ни даже машинистки КГБ.

Задуман был журнал «Поиски» как орган, который дал бы возможность высказываться по насущным проблемам различным, **разно** мыслящим, но ищущим взаимопонимания людям, искренно озабоченным судьбами страны. Никакой «чужой голос» даже не подозревал о нашем существовании. Ни тогда, ни впоследствии, когда к нам присоединились более молодые — Валерий Абрамкин, Владимир Гершуни, Глеб Павловский, Юрий Гримм и Виктор Сокирко. Все, если не ошибаюсь, бывшие комсомольцы.

К тому времени, когда мы встретились, у всех нас были разные взгляды, которые я, по естественным причинам, не буду здесь рассматривать. Нас объединяло одно: стремление к свободе и раскованности мысли, к нестесняемой цензурой гласности, в которой мы видели средство демократизации государственного строя и общественного уклада. Никакой другой цели мы перед собой не ставили: ни подготовки к государственному перевороту, ни создания новой политической пар-

---

<sup>1</sup> Возможно, мысль о таком издании носилась в воздухе, и, может быть, его задумывали и другие. Но мне известны только мои беседы с Егидесом и наша с ним работа над № 1 «Поисков». А я пишу о том, что мне известно.

тии, ни организации подпольной сети. Да и не могли ставить: среди семи членов редакции не было двух, придерживавшихся одинаковых политических, философских и прочих взглядов. Это был по-своему уникальный опыт: попытка создать журнал без единой программы, запрещавший лишь появление на своих страницах пропаганды человеконенавистничества, шовинизма, империализма, фашизма.

Это не значит, что все, что мы печатали, было хорошо, правильно, безупречно. Да с чьей точки зрения: ведь, как сказано выше, самые эти «точки» у нас были разные. Но что верно, то верно: все мы были **инакомыслящие** — и потому журнал наш не мог быть подцензурным. Ни одна из наших статей сквозь сито цензуры не прошла бы. Не потому, что мы лгали или клеветали, как обвиняли моих коллег на судебных процессах: этого не было. А потому, что в нашем журнале излагались те взгляды на реальную советскую действительность, которые замалчивались и продолжают замалчиваться подцензурной печатью. Эти взгляды, эти концепции — правильны они или неправильны (а это часто выясняется много времени спустя) — есть, существуют, имеют хождение среди мыслящей части нашего общества, которое вовсе не так едино, как пытается представить официальная пропаганда. И мы попытались дать им выход на страницы печати — пусть машинописной! — в том числе и тем, с которыми сами были несогласны или не вполне согласны. Потому что мысль не может развиваться в заранее предудказанных и ограниченных рамках. Потому что подлинная идейная борьба предполагает не запрещение недозволенных мыслей и кару за них, а **спор идей**, убедительную, логичную и ясную аргументацию против мнений, свободно высказанных.

Жалею, что, приступив к изданию «Поисков», мы не догадались поставить эпиграфом к журналу цитату из предисловия Искандера (Герцена) к первому из сборников «Голоса из России», вышедшему в Лондоне в 1856 году. Вот эта цитата, через сто с четвертью лет очень хорошо выражающая суть, содержание, принципы редакции «Поисков»:

*«...Мы открываем все двери, вызываем на все споры. Мы не отвечаем за мнения, изложенные не нами, нам уже случалось печатать вещи, прямо противоположные нашему убеждению, но сходные по цели. Роль цензора нам противна...»*



Автор разбираемого мною очерка неоднократно упрекает нас, редакторов «Поисков», в лицемерии. Упрек этот он обосновывает тем, что, ссылаясь на законы и Конституцию, мы использовали их не для того, чтобы критиковать «отдельные недостатки», а замахивались на «всю систему».

Да, совершенно верно, мы критиковали не «отдельные недостатки», а современную систему советского управления, хозяйствования, администрирования, воспитания, не имеющую, по мнению одних (к которым принадлежу и я), ничего общего с социализмом, а по мнению других (с которыми я не согласна), выражающую его, социализма, отрицательную сущность. Но ни те, ни другие не клеветали: они высказывали разные, часто противоположные **мнения**. Ни те, ни другие не лгали, не извращали фактов. И уж конечно не руководствовались никакими «голосами» — у нас были свои.

А кстати: где в Конституции или в УК сказано, что свобода слова, печати и совести распространяется только на критику «отдельных недостатков», а всякая критика «системы» власти есть уголовно наказуемое преступление?

Попутно замечу, что с удивлением рассматривала я вверстанное в очерк о «Поисках» клише, изображающее какую-то неведомую мне машинку. Правда, справа мы видим нашу обычную, родную пишущую машинку, каких у нас множество забрали на обысках. Но — слева?.. Не знаю, что это за «множительная аппаратура, засланная в нашу страну для изготовления подрывных материалов». В распоряжении нашей редакции такой аппаратуры не было, и мы ее ни у кого не просили. Мы печатали «Поиски» на наших собственных машинках, покупали бумагу, копирку и ленты за собственные трудовые деньги, сами корректировали (что, благодаря профессиональной неопытности, породило множество опечаток), сами переплетали. Короче говоря, никаких — ни идеологических, ни материальных — субсидий мы ни от кого не получали.

...Характеризуя отдельных членов редакции, автор очерка особо останавливается на личности П. Егидеса. В частности, он пишет: «Не был привлечен к судебной ответственности **в связи с эмиграцией из СССР (?)** еще один активный член редколлегии «Поисков» П. М. Егидес».

Что это значит? У читателя создается впечатление,

что сначала Егидес эмигрировал, а потом уже стало известно, что он — член редакции «Поисков».

Неправда! Все всё отлично знали. Фамилии членов редакции были напечатаны на обложке журнала. Задолго до получения разрешения на выезд у Егидеса, как у всех нас, были отобраны его архивы и пишущие машинки. Как и других членов редакции (кроме меня), его неоднократно вызывали на допрос — именно по делу «Поисков» — к следователю Мосгорпрокуратуры Ю. Бурцеву.

Почему же Егидеса выпустили за границу, а не судили? Почему меня даже не привлекли к ответственности и моя фамилия вообще не упоминается Гладковым?

Мне думается, этому есть объяснение, и я попытаюсь его изложить.

Давая «личную характеристику» П. Егидесу, автор очерка заявляет, что он, Егидес, «в ноябре 1941 года поступил на службу к оккупантам в качестве переводчика сельской комендатуры».

И это — ложь. И опять же: не ошибка, не путаница — а **заведомая** ложь. Автор, которому, надо полагать, представлены были следственные материалы, не мог не знать, что поклеп, возведенный на Егидеса четыре десятилетия назад и приведший его в тюрьму и лагерь, был вскоре опровергнут и что Егидес давным-давно полностью реабилитирован. (В противном случае, кстати сказать, была бы совершенно невозможна его последующая многолетняя деятельность в качестве преподавателя философии в Ростовском-на-Дону университете. Да и не мог Егидес быть никаким переводчиком, ибо знал немецкий язык только пассивно — читал Маркса и Гегеля со словарем.)

Все это — безвинное заключение в сталинский лагерь, отправка в психушку за философскую рукопись — непременно фигурировало бы на суде (по инициативе если не адвоката, то подсудимого), и это представляло известные неудобства для обвинения. Вот почему, вероятно, те, кому ведать надлежит, предпочли выпустить Егидеса за границу: инкриминировать человеку опровергнутые тридцать лет назад обвинения гораздо удобнее, если человек этот — эмигрант<sup>1</sup>. Попутно реанима-

<sup>1</sup> О судьбе П. Егидеса см. публикации: «Философ в колхозе» в журнале «Огонек», № 50, 1989 г. и «Белая ворона» С. Конецкого в журнале «Сельская молодежь», № 5, 1990 г.

ция ложного доноса сорокалетней давности используется для того, чтобы набросить тень на всю редакцию «Поисков».

Это о Егидесе. О себе могу только предполагать. Допускаю, что, кроме неудобства судить семидесятилетнюю старуху (это бы можно презреть), возникло неудобство более серьезное. Если сказать правду, то надо признать одним из главных виновников издания «подпольного антисоветского» журнала старую коммунистку, сорок лет работавшую в советской печати и всю войну сражавшуюся с геббельсовской пропагандой. Это звучало бы не слишком правдоподобно, не очень убедительно и вызывало бы сомнения: а действительно ли журнал подпольный? А действительно ли он антисоветский? И что заставляло людей, всю жизнь отдавших борьбе за советскую власть и социализм, становиться диссидентами (а я не одна такая)?

Впрочем, это только мое предположение: пусть его подтвердит или опровергнет будущее.

Перейдем к фактам, то есть к содержанию журнала «Поиски» и к тому, как интерпретируется оно в книжке «С чужого голоса». Оговорюсь при этом: опровергая вымыслы интерпретатора, я вынуждена опираться только на свою память. Сверять приводимые цитаты с подлинными текстами у меня нет возможности: ни одного номера «Поисков» я не имею. Кое-что помню хорошо, но, конечно, не текстуально — и, вступая в спор с тенденциозным автором, подвергаю себя некоторому риску. Но тут уже ничего не поделаешь: если мне до сих пор не вернули отнятые у меня на обыске мои комсомольские воспоминания и переписанные мною стихи Ахматовой, Пастернака, Твардовского, Берггольц, Слуцкого, то тем более никто не предоставит мне для обозрения номер «Поисков». Даже мои собственные статьи.

#### ТЕКСТЫ «ПОИСКОВ» В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ

Статья Адама Кузнецова «Бедность народов», напечатанная в двух номерах журнала, конечно, принадлежит перу не марксиста и не социалиста. Писал ее, несомненно, сторонник частнокапиталистического строя — и я с его выводами не согласна. Но кто сказал, что лучший способ опровержения — это затыкание рта? Что лучший способ доискаться истины — это запретить все, с чем ты не согласен? Кажется, Рабиндранат Тагор где-то сказал: «Если закрыть двери перед заблуждением, куда же войдет истина?»

Да, с выводами я (и не только я) была несогласна. Но статья содержала богатейший фактический материал и интересные мысли, она могла послужить основой для серьезной и полезной экономической дискуссии. Разумеется, если бы изучением ее занялись не следователи, а экономисты и социологи. Если бы анализировали ее, не подгоняя статью в журнале под статьи Уголовного кодекса.

Однако произведение Т. Гладкова для того ведь и написано, для того и опубликовано, чтобы задним числом, через два года после осуждения редакторов «Поисков», оправдать это осуждение. Теперь, когда ни подсудимые, ни адвокаты уже не могут сказать ни слова, автор на досуге может спокойно утверждать, что возражения Адама Кузнецова против Марксовой теории есть уголовное преступление, предусмотренное ст. 190<sup>1</sup> УК РСФСР.

Странно, конечно, выступать на защиту марксизма, вооружаясь Уголовным кодексом: Карл Маркс как никак не Трофим Лысенко. Но уберечься от непрошеного адвоката великому ученому не удалось. Вдохновленный собственным невежеством, Т. Гладков возмущенно обвиняет Адама Кузнецова в «клевете на Маркса», ибо Кузнецов назвал-де «галиматьей» **известные марксистские положения** (подчеркнуто мной.— Р.Л.) о том, что все зло на свете происходит от эксплуатации, что человек есть продукт своей эпохи, что совесть — понятие классовое и ряд других.

Вот уж, поистине, «избави нас от друзей...». Что там писал Кузнецов о Марксе, неясно, потому что цитаты не приводятся, а пересказываются «своими словами». Но то, что пишет от себя Т. Гладков, действительно галиматья. Без всяких кавычек.

Потому что нет таких «марксистских положений»! Не писал Маркс таких пошлостей. В отличие от автора очерка о «Поисках» и обучавших его вульгаризаторов Маркс, надо полагать, знал, что эксплуатация хоть и главное, но не единственное социальное зло, да и бывает она в разных формах. И что, кроме социальных бед, человечество страдает и от других: так, существуют еще землетрясения, наводнения, засухи, рак и даже самоубийства от несчастной любви. И что современный человек — «продукт» не только своей эпохи, но и всех предшествующих, всей человеческой истории и культуры.

И уж вовсе поклепом, заставляющим вспоминать о крыловском услужливом медведе, является приписанное Марксу утверждение, будто «совесть» — понятие классовое. Ничего подобного Маркс никогда не писал. Другое дело, что в марксистской философии наименее разработаны как раз этические категории. И все же, трактуя такие формы общественного сознания, как **мораль, нравственность, этика**, марксизм никогда не ограничивал их содержание только классовыми интересами, а утверждал, что в них, **наряду с общечеловеческими элементами**, включаются исторически преходящие классовые нормы, принципы, идеалы. **Совесть** же, как сказано даже в популярных изданиях, например в Энциклопедическом и Философском словарях, есть «внутренняя убежденность в том, что является добром и злом...», «выражение способности личности осуществлять нравственный самоконтроль».

Если такой способности у личности нет, стоит ли ей вдаваться в рассуждения о столь незнакомом ей предмете, как совесть?

Но может быть, Т. Гладкову более доступны не философские, а экономические аспекты разбираемой им работы? Если ему не удалось доказать, что Кузнецов оклеветал Карла Маркса, может быть, он привел убедительные доказательства того, что Кузнецов оклеветал советскую экономику, советскую хозяйственную систему, советский государственный аппарат? Измыслил факты? Выдумал то, что в действительности не существует?

Нет, этого Т. Гладков не говорит. Он признает, что факты почерпнуты Адамом Кузнецовым «из доброго десятка советских газет» и «оттуда же заимствованы высказывания крупнейших специалистов, хозяйственников, партийных и советских работников, инженеров и рабочих».

Может быть, клеветническим является утверждение Кузнецова, что производительность труда и уровень жизни народа у нас ниже, чем в развитых капиталистических странах?

Нет, и это не отрицается. Автор очерка лишь пытается оправдать наше отставание «тяжелым наследием, полученным от царской России с ее вековой отсталостью», «приходом в промышленность в восстановительный период и в годы первой пятилетки миллионов вчерашних малограмотных крестьян...» и «до сих пор

ощущаемыми... последствиями последней разрушительной войны».

Оправдания несостоятельны: прошли уже все исторические сроки, когда можно было принять их. Поздно искать причины нашего отставания в пороках царизма (65 лет), в неграмотности рабочих первой пятилетки (более 50 лет) и даже в чудовищно разрушительной последней войне (почти 40 лет). Как, заметим к слову, нельзя уже ссылаться на «пережитки капитализма в сознании», когда речь идет об отрицательных явлениях в нашем обществе, в нашем быту, морали, отношениях между людьми. Поздно! Мы сами это общество создали и сами должны нести ответственность за все, что в нем происходит и что не соответствует тем идеалам, которые вдохновляли нас в 1917 году.

Итак, проблему Кузнецов ставит важнейшую, опирается на факты совершенно достоверные. Почему же статья его именуется клеветнической и публикация ее признается основанием для уголовного преследования редакторов напечатавшего ее журнала? Потому, что неверны его выводы (Кузнецов рекомендует «возврат к свободному предпринимательству»)? Так оспорьте их, опровергните, разбейте в открытой дискуссии, пользуясь данными статистики, экономики, истории. Столько у вас научных институтов, докторов наук и профессоров — неужели никому не под силу справиться с Адамом Кузнецовым, кроме Мосгорсуда и «марксиста»-любителя Т. Гладкова?

Я — не экономист и не могу принять участие в этом споре. Но я не согласна с требованиями возврата к частнокапиталистической системе. Я думаю, что следует идти не назад, а вперед, к подлинному социализму. Но для этого надо отдать себе ясный, честный отчет в том, что его у нас **нет**. И порукой этому слова Ленина, утверждавшего, что для победы социализма самое важное, самое главное — производительность труда. И пока мы отстаем от капиталистических стран и по уровню производительности труда, и по уровню жизни народа, пока мы не нашли **социалистического** способа достичь и превзойти этот уровень,— мы не имеем права говорить о победе социализма. То, что за шестьдесят пять лет эти способы не найдены и не осуществлены,— это порок нашей системы, наш собственный порок. И чтобы избавиться от него (как и от других пороков), нужна прежде всего бесстрашная

мысль, бесстрашная, ничем не ограниченная **гласность** в критике этой системы.

Пойдем дальше.

Многое из того, что в очерке объявляется «противоправными высказываниями» авторов и редакторов «Поисков», вовсе не нами придумано, а есть лишь «хорошо забытое старое». Причем не очень давнее старое, а так, периода «оттепели», «позднего Реабилитанса». Например, подыскивая соответствующую статью УК для П. Егидеса и П. Подрабиника, наш нештатный следователь ставит им в вину призыв к «введению права на оппозицию». Но ведь еще Пальмиро Тольятти в своей известной статье, опубликованной после XX съезда КПСС, писал, что оппозиция необходима правящей партии как воздух. **Как воздух!** И что именно расправа с оппозицией, уничтожение оппозиции положили начало чудовищным преступлениям сталинского периода и тяжелым изменениям в характере советского общества. Это писал не Рейган, не Бжезинский и даже не Солженицын. Это писал руководитель итальянской компартии, именем которого назван в нашей стране завод (оборудованный, кстати сказать, зарубежной капиталистической фирмой) и выросший вокруг него город.

Да, совершенно верно, мы призывали к введению права на оппозицию. Мы призывали к отмене цензуры (которую в свое время обещали отменить Ленин и Луначарский; этому обещанию тоже уже больше шестидесяти лет), к широкой гласности, к праву открытой критики правительства, открытого высказывания различных — в том числе и неверных с точки зрения властей — мнений. С тем чтобы опровергать их аргументами, а не репрессиями. Но где же здесь клевета? Где «чужой голос»?

...Вот напечатанная в «Поисках» статья М. Байтальского «Религия государства». Байтальский несколько лет назад умер и упреждения Т. Гладкова ему уже ничем не грозят. Но и возразить он, мертвый, не может, и читатели, хоть и живые, тоже не могут, ибо никогда статьи Байтальского не читали. А я читала, помню и помню еще, что написана статья в **период обсуждения проекта новой Советской Конституции**. Теоретически это предполагает юридическое право каждого советского гражданина свободно критиковать любой ее пункт.

К сожалению, только теоретически.

Обвиняя мертвого М. Байтальского во множестве

грехов (анархизм, антипатриотизм, антисоветская направленность и проч.), Т. Гладков не приводит ни одной цитаты. Это вообще его излюбленный творческий метод: цитата заменяется искаженным пересказом, включающим собственную трактовку, или риторическим вопросом, на который не дается ответа. Так и здесь: сообщая, что Байтальский критикует редакцию ст. 62 Конституции СССР, автор возмущенно спрашивает: «С чем он, собственно, не согласен?» — и не отвечает на этот вопрос, ограничиваясь голословными политическими обвинениями.

Так можно ли установить, с чем именно не согласен Байтальский? Для этого следовало бы привести его подлинные слова. Гладков может это сделать, но не хочет. Я — хочу, но, к сожалению, не могу. Могу только привести собственные возражения против редакции ст. 62-й, которую (редакцию) я тоже не считаю удачной<sup>1</sup>, хотя, возможно, мои возражения не совпадают с возражениями М. Байтальского.

Статья 62 Конституции СССР обязывает советского гражданина не только оберегать интересы Советского государства, не только укреплять его могущество, но и укреплять его, государства, **авторитет**. А **родина** и **государство** — не идентичные понятия. Как и **государство** и **общество**. Как и **могущество** и **авторитет**. Естественно вменить в обязанность гражданину оберегать интересы своей родины, укреплять ее благоденствие, защищать ее неприкосновенность — если понадобится, и с оружием в руках. Но **укреплять авторитет государства** должно избранное народом правительство и его органы, а дело граждан, общества судить о том, насколько они справляются с этой задачей. Известно, что правительственные органы не всегда укрепляют авторитет государства. В истории вообще и в истории нашей страны в частности это доказано неоднократно. Чтобы не ходить далеко, обратимся хотя бы к деятельности того ведомства, которому поручено как раз обеспечение государственной безопасности и которое в течение десятилетий возглавлялось Ягодой, Ежовым, Берией... Тот самый Михаил Байтальский, которому Т. Гладков посмертно отказывает в патриотизме, прошагал с боями солдатом всю Отечественную войну до Берлина — в промежутке между двумя безвинными многолетними от-

<sup>1</sup> Напоминаю, что гражданин обязан подчиняться закону, но не обязан его одобрять.



сидками в сталинских лагерях. Так кто выполнил свой гражданский долг — Михаил Байтальский или те следователи, прокуроры, «оперы» и «кумовья», которые держали его в заключении, «укрепляя могущество и авторитет» сталинского государства?

Нельзя конституционно обязать гражданина любить и почитать власть — пусть об этом позаботится сама власть. Нельзя отсутствие оной любви или уважения рассматривать как уголовное преступление гражданина: как правило, это отсутствие — результат деятельности тех, кто доверия народа не оправдал.

В свете приведенных выше и многих других фактов нельзя не отнестись иронически к экскурсам Т. Гладкова в область исторической науки. Они не более успешны, чем его занятия марксистской философией.

В «Поисках» была напечатана статья П. Юлина, в которой речь шла о фальсификации истории, о замалчивании и искажении нашей исторической наукой ряда событий прошлого. П. Юлин назвал это «убиением исторической памяти», способствующим воспитанию тупых и послушных обывателей.

За напечатание этой статьи редакции «Поисков» предъявлено обвинение в «преднамеренной клевете» (та же статья 190<sup>1</sup>).

Такое обвинение есть продолжение той же фальсификации, того же стремления стереть историческую память. Процесс искажения истории происходил на глазах моего поколения, и мы были в него вовлечены. Но мы уходим из жизни, а последующие поколения уже знают только историю искаженную. Мы помним, как мы учились по сталинскому «Краткому курсу», как изучали благоговейно бериевский труд «Из истории большевистских организаций Закавказья», как исчезали внезапно из литературы имена политических деятелей и целых народов, а с географических карт — контуры целых республик. Но откуда же это знать молодым? Пример сравнительно недавний: в стенограммах XX съезда КПСС отсутствует доклад Н. С. Хрущева о культе личности Сталина. Спросите любого сорокалетнего человека: что он знает об этом докладе, сыгравшем, несмотря на все его недостатки, большую историческую роль? Подавляющее большинство не знает ровно ничего<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Доклад опубликован только в 1989 году.

Это стирание прошлого из памяти последующих поколений и есть убиение исторической памяти. И оно продолжается: сегодня человек возносится на пьедестал, его имя у всех на устах, каждое его решение и слово объявляется откровением. Завтра он умирает или сходит со сцены — и его вычеркивают из памяти. Ни при жизни, ни после смерти его деятельность — а она так или иначе влияет на жизнь народа — недоступна ни критике, ни анализу.

Пытаясь объявить клеветой тезис об убиении исторической памяти, наш обвинитель хватается за школьный учебник и чуть ли не по пальцам перечисляет его содержание — от восстания Пугачева до Великой Отечественной войны: вот как хорошо знаем и помним мы нашу историю.

Да, учебник, конечно, надо знать. Но не только знать, а и **понимать**. Учебники тоже пишут люди, и они тоже подвержены влияниям. Поэтому иные учебники есть средство познания истории, а иные — орудие ее фальсификации. Чтобы в этом убедиться, достаточно сравнить несколько изданий одного и того же учебника и посмотреть, что, как и почему кардинально меняется и переосмысливается в последующих изданиях. Школьнику четвертого класса это, конечно, не под силу. Но мы-то взрослые люди. Еще, наверное, не вышли на пенсию все учителя, которым приходилось вчера объяснять детям, что Шамиль был вождем национально-освободительного движения, а сегодня, пряча глаза от учеников, объявлять его английским и турецким шпионом. Что это, как не воспитание тупых и послушный обывателей? И из учащихся и из учащихся, **обязанных** мгновенно менять свою точку зрения на исторический факт. Под угрозой увольнения или еще более страшной кары.

Память моего поколения хранит множество примеров фальсификации истории. И внезапная «переоценка» Ивана Грозного, в одночасье по велению Сталина превратившегося из кровавого тирана (каким его считал даже монархист Карамзин) в «защитника русского народа». И мгновенное (совсем как в Министерстве Правды Оруэлла) забвение характеристики Российской империи как «тюрьмы народов» и объявление всех ее колониальных завоеваний «добровольным присоединением» к ней завоеванных народов. И изъятие из Музея Революции портретов народовольцев, и многое другое.

Чем ближе к современности, тем чаще в исторических трудах искажения, пробелы, лакуны. В истории советского общества их, как ни странно, вероятно, больше, чем в истории прошлых веков. Здесь существуют свои «опасные зоны», которые историки предпочитают обходить. А умолчание в исторической науке — та же фальсификация. История — не парадный рапорт и не сияющий иконостас. Писать, например, историю 30-х годов как историю побед и достижений, умалчивая при этом о голоде на Украине и массовой гибели крестьянства, о провокационном убийстве Кирова и последовавшем за ним тотальном сталинском терроре, — значит извращать историю.

Но **этого** нам помнить, видимо, не полагается. **Это** — непроизносимо. Об **этом** в школах не учат, книги не издаются, в учебниках не пишется, в словарях не упоминается. А если некоторые фамилии и произносятся, то так, что молодые читатели и не узнают никогда, почему, где и как погибли, к примеру, академик Николай Вавилов, поэты и писатели Мандельштам, Клюев, Бабель, Иван Катаев... И еще — имя им легион.

Разве это не убиение исторической памяти? <sup>1</sup>

История не терпит пустот. Рано или поздно потомки докапываются до истины и недобрым словом поминают ее гробовщиков. Надо ли ждать далекого будущего? Является ли признаком любви к родине «патриотическая» ложь, перекраивание прошлого по сегодняшней политической моде, замалчивание и замазывание грехов и преступлений деятелей этого прошлого?

Современникам необходима правда о прошлом, как и правда о настоящем. И есть средство против убиения исторической памяти, против фальсификации истории.

---

<sup>1</sup> Я не упоминаю здесь фамилии убитых и стертых из истории политических деятелей. Но вот свежий пример своеобразного «воскрешения» некоторых из них. В «Правде» от 1.12.1983 года напечатана статья «Жизнь, созвучная эпохе», посвященная 80-летию со дня рождения Н. А. Вознесенского — бывшего члена Политбюро ЦК ВКП(б), бывшего председателя Госплана СССР и члена Государственного Комитета Оборона во время Отечественной войны. Статья начинается словами: «Его жизнь была коротка...» Действительно, коротка — всего сорок семь лет. Почему же так мало жил этот человек? В статье сказано много добрых слов о нем и о его делах — не сказано только, что он был оклеветан и расстрелян по так называемому «ленинградскому делу». Так не правильнее ли было бы назвать посвященную ему статью «Смерть, созвучная эпохе»?

Это средство — открытость, гласность исторических исследований, полная доступность исторических документов, свобода научных исследований и дискуссий при независимости ученых от заранее заданных, предписанных тенденций.

Этого и добивались мы в «Поисках».

Руководствуясь пониманием исторического процесса сквозь призму Уголовного кодекса, автор очерка выступает и в защиту истории России от философа-социолога Г. Померанца, напечатавшего в журнале «Поиски» несколько эссе из своего цикла «Сны земли». Редакция журнала обвиняется в том, что она напечатала произведение, «соединяющее воедино навет на историю русского народа и попытку бросить комок грязи на нынешний общественно-политический строй».

Доказательство «навета» следующее: говоря об истории России, Померанц назвал ее «страной рабов».

Не предполагаю у Т. Гладкова такой уж безграмотности, чтобы он не знал: авторство этого определения, ставшего ходовым в XIX веке, принадлежит не Григорию Соломоновичу Померанцу (который вовсе не выдает его за свое), а Михаилу Юрьевичу Лермонтову. Именно великий русский поэт более чем 140 лет назад написал свое знаменитое стихотворение, которое когда-то учили в школах (теперь, может быть, уж не учат, не знаю):

Прощай, немытая Россия,  
Страна рабов, страна господ,  
И вы, мундиры голубые,  
И ты, послушный им народ.

Быть может, за хребтом Кавказа  
Укроюсь от твоих пашей,  
От их всевидящего глаза,  
От их всеслышащих ушей.

Голубых мундиров нынче, правда, не носят, а литературоведы особого типа вообще ходят в штатском. Было бы вполне последовательно, если бы данный штатский литературовед поднял вопрос о привлечении к уголовной ответственности, наряду с редакторами «Поисков», и редактора-издателя «Русской старины» М. И. Семева, впервые напечатавшего это стихотворение Лермонтова в 1887 году. А в качестве соответчиков — и самого М. Ю. Лермонтова, и Н. Г. Чернышевского, написавшего: «Жалкая нация, нация рабов,

снизу доверху все рабы». А заодно уж и В. И. Ленина, поддержавшего Чернышевского в своей статье «О национальной гордости великороссов», где сказано: «Никто не повинен в том, если он родился рабом, но раб, который не только чуждается стремлений к свободе своей, но оправдывает и прикрашивает свое рабство (например, называет удушение Польши, Украины и т.д. «защитой отечества «великороссов»), такой раб есть вызывающий законное чувство негодования, презрения и омерзения холуй и хам».

Все перечисленные выше «подозрительные личности» давно умерли, поэтому следователю Мосгорпрокуратуры Ю. Бурцеву, литературоведу Т. Гладкову и соответствующим судьям было бы нетрудно с ними справиться. Материала же для посмертного осуждения их по ст. 190<sup>1</sup> за «клевету» на историю России набралось бы никак не меньше, чем для осуждения редакторов «Поисков».

Но есть еще вторая часть обвинения: «попытка бросить комок грязи на нынешний общественно-политический строй». А это как доказывается? Без особого расходования умственных сил. Намек на то, что «власть кнута» распространялась на все послепетровское время, **следовательно, и на наши дни (?)** (подчеркнуто мной.— *Р. Л.*) уже не предмет научной дискуссии, а предмет судебного разбирательства по соответствующей статье УК.

Ну почему же? Это и предмет исторической, и предмет юридической дискуссии. О том, сколько лет в России продолжалась «власть кнута» (и рабство народа), идут дискуссии, не прекращающиеся со времен Радищева и декабристов. Что же до «предмета судебного разбирательства», то и на этот раз автор солгал. В тексте Померанца отсутствует приводимое Гладковым выражение «**все** послепетровское время», там сказано: **«и до, и после Петра»**. А после Петра прошло более 250 лет. Следовательно, вывод, что «власть кнута» распространилась и «на наши дни», принадлежит Т. Гладкову, а не Померанцу, и вменить ее редакции «Поисков» **юридически** невозможно. Хотя **фактически**, как видим, нетрудно.

Ну а, допустим, был намек? В Уголовном кодексе есть статья, запрещающая намеки? Нет такой статьи. Да и как можно доказать, на что именно намекает автор? Это ведь **литература** — может наш цензор-доб-

роволец понять, что такое литература? Даже иные царские чиновники это понимали: в некоторых цензурных уставах прошлого века запрещалось толковать в отрицательном для автора смысле то, что недоказуемо. До тех пор пока существует цензура, будут существовать и намеки, и «неконтролируемый подтекст», и эзопов язык. А не было бы их — не существовало бы в русской литературе ни Салтыкова-Щедрина, ни А. К. Толстого, ни Михаила Булгакова...

Система доказательств в очерке о «Поисках» вся построена на передергиваниях. Пересказываются не поддающиеся проверке цитаты, вылавливаются «намекы и полунамекы», выдаваемые за «прямые клеветнические измышления». Одно из таких передергиваний касается непосредственно меня.

В № 4 «Поисков» напечатана стенограмма дискуссии на тему «Классика и мы», состоявшейся в Центральном Доме литераторов в 1977 году. Стенограмма сопровождалась комментарием. Характеризуя этот комментарий как пример крамольных «намеков, полунамеков и многозначительных аналогий (помимо прямых клеветнических измышлений)», Т. Гладков пишет: «...комментируя дискуссию, один из редакторов делает безапелляционный вывод: проведение дискуссии на такую тему, несомненно, свидетельствует об официальной поддержке властями антисемитизма в СССР».

«Один из редакторов» — это я, Раиса Лерт. Это я прокомментировала в журнале «Поиски» «неизвестно кем сделанную, весьма небрежную» стенограмму (оговорив, кстати, ее несовершенство). Это я — подписав комментарий своим именем и фамилией — открыто, без всяких «намеков и полунамеков», обвинила в антисемитизме и сталинизме Палиевского, Кожинова, Куняева, в попустительстве им — Феликса Кузнецова, в уклончивости и трусости — Евтушенко, Борщаговского, Эфроса. А то, что именно Палиевский, Феликс Кузнецов, Кожин и Куняев пользуются официальной поддержкой, — ни для кого не секрет. Опровергните, если можете! Опубликуйте — в ответ на несовершенную стенограмму неизвестного слушателя — свою совершенную, сделанную официальными стенографистками Союза советских писателей. А рядом с ней — мой комментарий и полемизирующий с ним свой собственный. Пусть читатель судит, кто прав.

«Слабó!» — как говорят дети. Стенограмма литера-

турной дискуссии, очевидно, представляет собой государственную тайну, и упоминание о ней приравнивается к сотрудничеству с иностранными разведками. Потому что сразу после проведения дискуссии стенограмму эту спрятали в некий секретный сейф — и так она с тех пор и не публиковалась.

А мы вот опубликовали. Не иначе как по заданию ЦРУ.

Уму непостижимо, где отыскал у меня Т. Гладков вывод, что «проведение дискуссии **на такую тему** (подчеркнуто мной. — *Р. Л.*), несомненно, свидетельствует... об официальной поддержке властями антисемитизма в СССР». Такого текста — независимо от того, что думаю я об антисемитизме в СССР — в моем комментарии нет. **Тема** дискуссии («Классика и мы») ни о чем подобном не свидетельствует. Это не мой вывод, это вывод Т. Гладкова, бессознательно иллюстрирующего мудрость народной поговорки насчет горячей на воре шапки. Я, наоборот, утверждала, что **тема** дискуссии представляла собой только **ширму**, прикрытие, камуфляж для разнудавшихся шовинистов (в том числе и антисемитов). И об **открытом** официальном антисемитизме в СССР у меня не сказано ни слова. Ибо он хотя реально существующий, всем известный, но — **скрытый**.

...Перейдем к следующему обвинению.

Приводится вырванная из контекста статьи Егидеса и Абрамкина цитата: «Всякому массовому движению предшествует период теоретической, идеологической подготовки. В этом, по сути, и заключается смысл «самиздатской» литературы, в том числе и «Поисков».

На основании этой цитаты, утверждает наш критик, «деятельность Егидеса и Абрамкина может быть квалифицирована четким юридическим термином подстрекательство».

Подстрекательство — к чему? К восстанию, террору, насильственному захвату власти?

Обнаружить подобные призывы на страницах «Поисков» не удалось. Если и были на этих страницах какие-либо призывы, то только к самостоятельному мышлению, которое действительно является предпосылкой всякого движения. И мне и по сей час невдомек, что самое слово «движение» уже является юридически предосудительным.

Учиняя строгий заочный допрос Абрамкину и Егидесу, Т. Гладков риторически вопрошает: если, по вашей

му мнению, ваши статьи и материалы не противоречат Уголовному кодексу и Советской Конституции, то на какое «массовое движение» вы рассчитывали, под каким знаменем вы его мыслили?

Но ответить некому. Один из авторов в лагере, другой — за границей. В следственных и судебных протоколах ответов тоже не найдешь: там меньше всего интересовались **содержанием** журнала, а больше тем, кто его печатал и кому передавал. И Гладков **придумывает** несуществующие ответы Абрамкина и Егидеса, а затем риторически возмущается ими. Как же можно квалифицировать эти выдуманные Т. Гладковым (точнее, теми, кто заказал ему статью) тексты «четким юридическим термином» для обвинения Абрамкина и Егидеса?

Нет, с юрисдикцией Т. Гладков явно так же не в ладу, как с историей и философией. Видимо, он просто не может представить себе массовое движение, идущее не сверху, а снизу. А ведь можно бы, при некоторой доле воображения, представить себе, например, движение за отмену цензуры, от которой стонет вся творческая интеллигенция. Или — за отмену всех и всяческих привилегий. Или — за выдвижение нескольких кандидатов на одно депутатское место. Пока возможностей таких движений нет, но почему бы не готовить к ним умы? Какая опасность в этом движении мысли? А если эту опасность кто-то в чем-то видит, почему бы ее прямо не называть? Лично я не вижу, например, опасности реставрации капитализма даже в реформе Уголовного кодекса с изъятием из нее статьи 190<sup>1</sup> как не соответствующей принципам социалистического законодательства.

...«Поиски» не организовывали заговоров — они добивались свободы мысли. И если такая свобода считается государственным преступлением, это — моральный и политический дефект государства. Страх мысли не украшает государственную власть.

...Замечания о литературном разделе «Поисков» сами по себе интереса не представляют. Но то, о чем автор умалчивает, и то, как интерпретирует он те или иные произведения, показательны. Не для характеристики литературной части нашего журнала, а для положения подцензурной литературы в стране.

В № 1 «Поисков» была напечатана глава из романа Фазиля Искандера «Сандро из Чегема». Роман лет десять назад публиковался в «Новом мире», но глава



«Пир Валтасара» (как и еще добрая половина книги) в журнале **исчезла**. Советскому читателю роман в неизуродованном виде до сих пор не известен, но недавно он без сокращений вышел на Западе. Глава же «Пир Валтасара», в которой со свойственной Искандеру сочностью изображается застолье Сталина, пирующего со своим Малютой и прочими, в первый и единственный раз (если не считать отдельных «самиздатских» экземпляров) опубликована в СССР именно «Поисками». Я считаю это нашей заслугой.

Обо всем этом автор очерка «Куда заводят «Поиски» молчит — как воды в рот набрал. Упрекая нас в том, что мы опубликовали главу из романа Фазиля Искандера без согласия автора, он даже названия этой главы не приводит. Почему он не заступился за права автора, когда его роман уродовали в почтенном многотиражном журнале, уже обезглавленном снятием Александра Твардовского? Почему он ни полсловечка не говорит о **содержании** опубликованной нами неподцензурной главы?

Пусть будущий историк литературы ответит себе на эти вопросы сам.

Оставим без внимания замечания о безвестных авторах «Поисков», в конце концов, кому что нравится. Мне самой далеко не все напечатанное в нашем журнале представляется настоящей литературой. К сожалению, это же можно сказать и о большей части того, что печатается в подцензурных изданиях и в эмигрантской прессе.

Обратимся к тому, что наш критик считает заслуживающим уголовного преследования.

Здесь он прежде всего отмечает произведения Г. Владимова и В. Войновича. В «Поисках» действительно были напечатаны повесть (или отрывок из повести?) Владимова «Генерал и его армия» и рассказ Войновича «Персональное дело».

Я не намерена полемизировать с литературными оценками Т. Gladкова: это не интересно ни мне, ни читателю, ни даже самому Gladкову — ему бы подтянуть эти произведения к статье 190<sup>1</sup>. Делается это старым, добрым, испытанным методом: «каждому умному по ярлыку навешено было однажды». «Повесть Владимова,— гласит один ярлык,— вполне осознанная, заведомая клевета»; в рассказе Войновича, утверждает другой ярлык, «трудно разобрать, чего больше: неве-

жества, патологической злобы или злонамеренной клеветы».

Попробуем все же разобраться, у кого чего больше.

В пересказе Т. Гладкова сюжет повести Г. Владимова таков: майор военной контрразведки «Смерш» вербует в «стукачи» шофера командарма, поручая ему, шоферу, следить, чтобы генерал не перебежал к фашистам. И вот этот-то сюжет, самый сюжет, и объявляется клеветой. Не было такого! Никогда не было! Никогда наши органы не вербовали «стукачей» для слежки за своими начальниками! И даже слова такого, «стукач», у нас не знают.

Так, что ли?

А ведь что может быть правдивее, реалистичнее, точнее описанной ситуации? Да простит меня очень уважаемый мной Георгий Николаевич Владимов, но его недруги, желая придраться, уже скорее могли бы упрекнуть его в излишней фактографичности, ну, например, в чересчур скрупулезном следовании действительности или, предположим, в недостатке фантазии («Процесс» Ф. Кафки или «Мастер и Маргарита» М. Булгакова и впрямь фантастичнее). Но в лжи, в клевете?! Да вспомним же хотя бы тысячи командиров Красной Армии, сидевших в лагерях, расстрелянных по инспирированным доносам, посмертно реабилитированных. Вспомним осуждение и расстрел накануне войны маршалов и командиров Блюхера, Примакова, Якира, Эйдмана, Путну, Тухачевского! Известно ведь, какую роль в этом сыграли доносы и провокации, инспирированные не только на низшем, но и на высшем уровне.

Образу контрразведчика Светлоокова противопоставляется «правильный» контрразведчик Михеев из романа В. Богомолова «В августе сорок четвертого». Прием вообще недопустимый: так можно обвинить, скажем, А. Куприна в том, что он в «Поединке» оклеветал русское офицерство, а вот Лев Толстой, наоборот, показал прекрасного русского офицера Тушина. Видимо, советские контрразведчики, как и русские офицеры, бывали разными. Да и в романе Богомолова есть не только героический Михеев, но и вполне отчетливые светлооковы. И есть еще роман Василя Быкова «Мертвым не больно», где «смершевец», во всех подозревавший шпионов и трусов, попал сам в плен, готов лизать сапоги гитлеровцам. Впрочем, перечислять романы ни к чему: правдивость литературного произведения проверяется не другим произведением, а — жизнью.

В «Персональном деле» Войновича коммунист-учитель Шевчук, узнав о нападении фашистской Германии, произвольно воскликнул: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» Понять его можно: за неделю до начала войны ТАСС опубликовал официальное сообщение, опровергавшее «слухи» о концентрации немецко-фашистских войск на наших границах. Тем не менее Шевчука «прорабатывают» на бюро райкома так, что доводят его до инфаркта и смерти. Два других персональных дела, разбиравшихся на том же заседании бюро, кончаются для ответчиков благополучно: повинные только в уголовных деяниях, они отделяются выговорами.

Ни невежества, ни клеветы, ни злобы (да еще «патологической») не вижу. Сатиру — вижу. И тема сатирического воплощения заслуживает. За сорок лет работы в советской печати я побывала, можете мне поверить, на многих партийных собраниях и заседаниях партбюро... И, вспоминая особенно 30-е и 40-е годы (о которых и пишет Войнович), я невольно перебираю в памяти те «персональные дела», в результате которых честные, чистые люди гибли от инфарктов, стрелялись, вешались, сходили с ума. Могу, например, вспомнить, как исключили из партии человека за то, что он, по долголетней привычке, прибавил к фамилии Троцкий слово «товарищ». Или за то, что, говоря в период договора с Германией о немецких фашистах, назвал их «нашими злейшими друзьями». За недооценку драматургии Сурова. За поддержку «менделизма-морганизма», то бишь теперь всеми признанной научной генетики. За отказ признать «врагом народа» мужа. Или жену. Или отца и мать. Да мало ли еще за что... В то же время я могу припомнить не так уж мало случаев (и отраженных и не отраженных в газетных фельетонах), когда уголовные преступники отделялись выговорами и продолжали свою служебную и партийную карьеру. Не говоря уже о тех, кто по своему высокому положению в фельетоны не попадал.

Войновичу и нашей редакции ставится в вину издевательский тон? Так сатира и должна издеваться над злом. Печатание таких произведений не вызывает любви и уважения к тем, кто занят слезкой за невинными людьми и инквизиционными допросами? Да, конечно: именно против них направлено негодование авторов, написавших правду, и редакторов, эту правду напечатавших. Удивительно ли, что они узнают себя в этих

сатирических произведениях и мстят их авторам — благо у них в руках и власть и пресса.

...В № 6 «Поисков» напечатан тюремный дневник украинского литератора Гелия Снегирева. Тут уж не художественное произведение, тут документ. Страшный человеческий документ!

В очерке «Куда заводят «Поиски» сказано следующее:

«Через несколько недель после ареста обнаружилось, что Снегирев неизлечимо болен. Учитывая его тяжелое физическое состояние, а также письменное заявление (оно было опубликовано «Радяньской Украиной» и перепечатано «Литературной газетой»), следственные органы пришли к выводу, что Снегирев не представляет общественной опасности. Он был освобожден из-под стражи, а возбужденное против него уголовное дело было прекращено».

Дальше рассказывается, что Снегирева поместили в больницу, операцию ему сделал известный хирург, но спасти его не удалось. Снегирев скончался в больнице, и заключение патолого-анатомической экспертизы гласило: рак предстательной железы с метастазами во все части тела.

Все это напечатано и в «Поисках». Какие же основания обвинять редакцию в «провокационных действиях»?

Печатая дневник Снегирева, редакция, заметим к слову, никого не винила в его **смерти**. В своем очень кратком комментарии мы так и писали: никто его не пытал, кроме рака. И все-таки напечатание дневника Снегирева трактуется как «клевета», как уголовное преступление. Почему?

Да потому, что из простого сличения дневника Снегирева с его же «покаянным» письмом явственно следует: пока этот умиравший в муках человек не подписал покаяния, **ни о какой больнице, ни о какой операции, даже ни о каком кардинальном облегчении его страданий и речи не шло**. Поэтому напечатание дневника Снегирева есть реальное обвинение, предъявленное нами тем, кто, пользуясь физическими мучениями Снегирева, вынудил у него раскаяние (за которое он, судя по дневнику, сам себя презирал).

Заклученный (даже еще не осужденный, с недоказанной виновностью), не вынеся мук страшной боли, подписывает покаяние. И только после этого его признают уже не представляющим общественной опаснос-

ти. А разве раньше он эту опасность представлял? Да, Снегирев был противником советского строя, антикоммунистом, антисоветчиком. Но он не организовывал заговоры, не готовил террористические акты, не собирал и не передавал шпионские сведения. Он не хотел жить в нашей стране и отказался от советского гражданства. Ну и что же? Отнюдь не будучи его политическим единомышленником, я не понимаю, как можно отказ от гражданства трактовать как уголовное преступление. Кстати ни антисоветчиком, ни антикоммунистом Снегирев не родился — он был членом КПСС. Чем вынуждать у него на краю могилы неискреннее покаяние, не лучше ли было бы задуматься о причинах такой метаморфозы?

Да, у редакторов «Поисков» и редактора книжки «С чужого голоса» резко расходятся представления о нравственности. Т. Гладков считает безнравственным опубликование нами дневника Снегирева без разрешения его родных (хотя мы получили этот горький документ не от них). Мы же считали (я и сейчас считаю) безнравственным использование физических мук лишенного свободы человека, чтобы получить от него выгодный соответствующий органам документ. И поэтому ответственность за добавочные физические и душевные муки умирающего лежит, конечно, на этих органах, в распоряжении которых находился Снегирев перед смертью.

...В одном из номеров «Поисков» (не помню в каком) был опубликован некий ранее не публиковавшийся документ более чем шестидесятилетней давности: письмо, отправленное в 1918 году членами партии меньшевиков из Таганской тюрьмы, куда они были заключены за поддержку мятежа левых эсеров. История этого мятежа хорошо известна; документ, напечатанный в «Поисках», всего только еще один штрих в истории политической борьбы тех давних лет. В редакции нашей были споры насчет того, представляет ли сейчас этот документ интерес вообще и для нашего журнала в частности. Высказывалось мнение, что публикация таких давних документов — задача скорее такого альманаха, как «Память», выполняющего некоторым образом функцию старого «Былого».

Но независимо от того, кто из нас был прав, независимо от характера опубликованного вместе с письмом комментария я прошу вдумчивого будущего читателя

кое-что сравнить. Сравнить, скажем, репрессии, которым подверглись в 1918 году левые эсеры, выступившие против Советской власти с оружием в руках, и те, которые были применены в 1980 году к членам редакции «Поисков», напечатавшим об этом событии документ шестидесятилетней давности.

Как пишет сам Т. Гладков, после подавления левоэсеровского мятежа лидера партии левых эсеров Марию Спиридонову — главную вдохновительницу восстания — осудили на три года домашнего ареста. А через год всех левых эсеров (и Марию Спиридонову в их числе) амнистировали<sup>1</sup>. Поддержавшие их меньшевики были освобождены из тюрьмы через несколько месяцев. Все это происходило в обстановке чрезвычайной опасности для страны.

**А через шестьдесят лет, во вполне мирной обстановке, в 1980 году** напечатание на машинке письма этих давно умерших меньшевиков об этом давно исчерпанном политическом конфликте явилось одним из пунктов обвинения члена нашей редакции Валерия Абрамкина. Молодой инженер-химик, сын рабочего, получивший образование при Советской власти, отбыл трехлетний срок заключения полностью. Да не в собственной квартире, а в уголовном лагере. И по истечении этого срока не был выпущен на свободу, а в результате ложного доноса «наседки» получил новый трехлетний срок уже в лагере строгого режима.

И вот это-то и есть движение от классового общества к бесклассовому? От вынужденной жестокости гражданской войны — к гуманному социалистическому правосудию?

Характер комментария Абрамкина к опубликованному «Поисками» документу не имеет ровно никакого значения. Когда Т. Гладков с пафосом восклицает: «Разве не правильно поступил Московский городской

---

<sup>1</sup> Не имея возможности ходить по библиотекам и архивам, я вынуждена ограничиться пересказом того, что пишет о событиях 1918 года Т. Гладков. Однако, сверившись с имеющимся у меня дома 3-м изд. Собр. соч. В. И. Ленина (т. 23, примечания и комментарии), я убедилась, что действительная судьба левых эсеров Гладковым смягчена: он умолчал о том, что 13 активных участников восстания были тогда же, в 1918 году, расстреляны. Всех же остальных в 1918 году действительно амнистировали. Только впоследствии Мария Спиридонова была вновь арестована, затем жила в ссылке, а в конце 30-х годов ее снова арестовали и в 1941 году расстреляли.

суд, расценив подобные писания В. Абрамкина не как «борьбу за права человека», а как «антисоветскую клевету» — то на это следует ответить: **Московский городской суд вообще не имел права рассматривать этот вопрос.** Это — дело не судей, а истории и историков. Ошибки можно **опровергать**, против них можно **возражать**, но прежде всего их следует **доказать**. И не в уголовном суде, а в научном споре. Заключать же человека в тюрьму или лагерь за то или иное толкование исторического документа — вот это и есть нарушение законности, нарушение прав человека.

Перейдем к тому, что названо в книжке «С чужого голоса» «самыми позорными страницами «Поисков», — к освещению трагического события 8 января 1977 года.

В этот день в вагоне московского метро на Арбатско-Покровской линии произошел взрыв самодельного снаряда, унесший жизни семи человек; еще сорок четыре, в том числе дети, были ранены. Как сообщила советская печать, преступники готовили и другой взрыв — в зале ожидания Курского вокзала, но его, к счастью, удалось предотвратить. Через какое-то время появилось сообщение, что преступники найдены, арестованы, ведется следствие. Спустя длительное время (кажется, через два года), из газет и радиопередач стало известно: следствие закончено, суд состоялся, виновные сознались и, ввиду тяжести преступления, приговорены к расстрелу. Приговор приведен в исполнение.

Ни у кого, конечно, и в мыслях не было оправдывать убийц. Но — кто убийцы? Почему решились они на столь страшное злодеяние? Ясных ответов на эти вопросы не было, и это смущало людей, вызывало сомнения. Не только у «диссидентов» — у обычных читателей газет и слушателей радио. Станным показалось, что из трех казненных назван только один: как можно присудить к смерти анонимных преступников (для миллионов советских людей они так и остались анонимными)? Станным был закрытый (а вовсе не открытый) характер судебного процесса: ведь дело взволновало все население Москвы. Ничего не было известно ни о мотивах преступления, ни о доказательствах вины — вообще о судебной процедуре.

Сколько мне помнится (опять же никаких документов я не имею), именно стремлением к ясности дела, стремлением добиться справедливого расследования и было вызвано письмо академика А. Д. Сахарова

Л. И. Брежневу с просьбой сделать суд как можно более открытым и гласным. Впоследствии это письмо — в СССР не опубликованное — трактовалось в нашей печати как выступление «отщепенца Сахарова» в защиту убийц. Неправда! Сахаров никого не обвинял и не защищал: он только требовал тщательности расследования и гласности суда, справедливо считая, что в деле, где речь идет о жизни и смерти, не должно быть недоговоренности и секретности. Я присутствовала при чтении Сахаровым вслух своего письма и прекрасно это помню.

Примерно в таком же духе выступили и «Поиски». Не было на наших страницах никакой «истерики» и никакого категорического оправдания или обвинения кого бы то ни было. Что было — так это высказанное мнение о **недоказанности** обвинения. Именно это высказывали (только в частных разговорах) многие люди, ибо рядовым читателям и слушателям никаких доказательств и не предъявлялось. Это мы и отмечали, указывая, что сомнения и недоумения вызваны именно закрытостью, секретностью судебной процедуры.

Вполне допускаю и такую реакцию на это мое заявление: ага, вы не верите советскому суду? Значит, вы антисоветчики, значит, вас волнует не гибель советских людей и страдания их детей, а заслуженная кара их убийц.

Да неправда все это, бессовестная демагогия! Никакой любви к людям, никакого патриотизма нет в том, чтобы верить всякому официальному учреждению на слово. Особенно нельзя верить на слово в судебных делах, где необходима строгая юридическая доказательность.

Казалось бы, сравнительно недавно наше общество получило тяжелый урок, познав, к чему приводит слепая вера. Казалось бы, два слова **«реабилитирован посмертно»**, зазвучавшие в наших ушах в конце 50-х — начале 60-х годов, должны были заставить нас с сугубой осторожностью относиться именно к работе юридических и карательных органов. Но прошли годы и десятилетия, слова эти забылись, стерлись, вычеркнуты из памяти, и в обиход снова как эталон гражданской добродетели вместо способности размышлять входит слепое доверие.

#### ЧТО ЖЕ НА САМОМ ДЕЛЕ?

На предыдущих страницах я привела, думается, достаточно примеров беззастенчивых вымыслов, явных



передержек, тупой безграмотности и прямой лжи, содержащихся в очерке «Куда заводят «Поиски».

Дело, конечно, не в авторе этого очерка: он всего лишь в меру своих способностей выполнял задание, и его фамилия если и присутствует здесь, то лишь для удобства изложения. Видимо, кем-то повыше, чем Гладков, по соображениям, которых я не знаю, но о которых могу догадываться, редакцию «Поисков» решено было изобразить не свободно мыслящими соотечественниками, а рупорами «чужих голосов», инспирированными из-за рубежа. Это касается не только редакции «Поисков». В книжке «С чужого голоса», составной частью которой является очерк о нашем журнале (как и в ряде изданных за последнее время произведений неизвестного Н. Яковлева и др.), всякое инакомыслие, всякое разногласие с властями объявляется идеологической диверсией, совершенной по указке и на потребу иностранных спецслужб.

Это, повторяю, **ложь**.

Факты действительной жизни, события тридцати последних лет нашей истории — политической, экономической, социальной, духовной — свидетельствуют об обратном. Они дают множество доказательств того, что существующая в нашем обществе оппозиция выросла именно на отечественной почве. Собственно, ее даже трудно назвать оппозицией — настолько она организационно не оформлена и идейно разнородна. Скорее это именно **инакомыслие**, точнее — **разномыслие**, которое было бы естественно для здорового общества: трудно ведь представить себе, что миллионы людей могут обо всем судить одинаково. Но у нас различные течения мысли, задавленные сталинским режимом, стали чуть проявляться лишь после XX съезда КПСС. Потрясение, испытанное нашим обществом в 50—60-х годах, когда ему открылась лишь небольшая часть изнанки сталинской системы, не могло не привести к идейному кризису. Печальная и страшная действительность, открывшаяся за лозунгами, которым люди **верили**, неотвратимо компрометировала эти лозунги. Она заставляла мыслящую часть общества — особенно молодежь — отбрасывать набор идеологических штампов и искать собственных ответов на проклятые вопросы. В этих поисках (без кавычек и с маленькой буквы) были свои издержки и свои обретения. В издержках можно числить свойственный молодежи максимализм — отказ от всего,

чему ее до сих пор учили (надо признать, учили плохо и недобросовестно), включая мировоззрение, которое молодые не вырабатывали, а получали готовым и упрощенным. Обретения же могли быть большими: умение самостоятельно мыслить, критически осознать историю и современность, без страха и оглядки браться за решение важнейших для народа и страны экономических, социальных и духовных проблем.

Могли бы... Но для этого как раз и требовались бесстрашие мысли, открытость информации, доступные всем поиски оптимальных решений. Требовался диалог между различными течениями общественной мысли, которого не было у нас с 20-х годов и который был насущно необходим на переломе, наступившем в 50-х.

Вместо этого самое понятие диалога внутри страны очень скоро стало рассматриваться как преступление. Сначала слышались окрики, а затем наступил период нового «завинчивания гаек», рестадинизации, воскрешения репрессивной политики. Споры, дискуссии, возражения — все это прекратилось. Из всех диалогов остался один — следователя с подследственным. Органы слежки и расправы, очнувшись от непродолжительного испуга, испытанного ими после XX съезда, возвращались «на круги своя» без особых потерь: им вновь поручались идеологический контроль над соотечественниками и расправа с неугодными.

Но мысль не хотела и уже не могла возвращаться к оцепенению сталинских времен.

Вот откуда произошли идейные разногласия в нашей стране, а вовсе не из тайных кабинетов ЦРУ. Да, конечно, ЦРУ, как всякая охранка, способно на все: это особенно заметно сейчас, на пороге страшной для человечества перспективы атомного уничтожения. Но попытки искать в этой тлеющей атомным пожаром обстановке «внутренних врагов» и «иностранных агентов» как раз и есть излюбленный метод всех спецслужб, всех охранок. Ведь и в США объявляют инспирированными из-за границы все антикапиталистические и антивоенные выступления и при любой массовой демонстрации ищут «руку Москвы».

Нет, так не бывает в живой действительности, в живой жизни народов. Как бы далеко ни тянулись «чужие руки» и «чужие голоса», общественное сознание питается соками отечественной реальности. Идеи можно, конечно, и экспортировать и импортировать,

но приживаются и дают ростки они только там, где этому способствуют состояние общества и его духовный климат. И корни антикапиталистических движений на Западе надо искать в природе капитализма. А корни диссидентства, идейного противостояния властям в СССР надо искать у нас дома — в нашем режиме, нашем общественном укладе, наших общественных отношениях, которые десятилетиями не подвергались ни открытой критике, ни объективному анализу.

Попытки такого анализа начались было в конце 50-х — начале 60-х годов — сначала в подцензурной прессе (вспомним «Новый мир» Твардовского), потом, когда это стало невозможным, в «самиздате», в ряде неподцензурных изданий (в том числе и в нашем журнале). Эти попытки анализа не были опровергнуты (хотя среди них, вероятно, были и неудачные) — они были подавлены репрессивным путем. Без затраты аргументов. Сила есть — ума не надо.

Такова была и судьба «Поисков».

Мы — небольшая группа людей, задумавших «Поиски взаимопонимания» (так сначала предполагалось назвать наш журнал), не только не были подпольной группой, но, наоборот, хотели вывести общественную мысль из подполья. Хотели представить обозрению советских граждан (в том числе и официоза, где мы предполагали наличие некоторого количества мыслящих, а не только приказывающих и запрещающих людей) тот пестрый конгломерат суждений, мыслей, взглядов, предположений и предложений, из которых действительно, а не в представлении сотрудников секретного ведомства, состояла духовная жизнь наших сограждан. При этом, как и Герцен (прошу прощения за такое сопоставление: не страдая манией величия, я понимаю разницу масштабов), мы «открывали все двери, вызывали на все споры». Мы тоже сплошь и рядом не соглашались с нашими авторами (и даже друг с другом), но старались избежать роли цензоров, осточертевших нам, вероятно, не меньше, чем Герцену.

Мы хотели дать выход свободной мысли. Мы знали, что и эта мысль будет блуждать, плутать и ошибаться. Но и ее заблуждения и ее озарения являлись результатом работы собственного разума, а не чьих-либо инструкций. У нас не было ни инструкторов, ни цензоров. Мы писали то, что думали.

Полезно ли для общества, для народа, для страны,

когда ее граждане без страха и оглядки говорят и пишут то, что думают? Я полагаю — необходимо. Кто и когда, какой Маркс или Ленин, какая программа утверждали, что к коммунизму можно прийти, находясь во власти чиновников, контролирующих не только каждое действие, но и каждую мысль граждан?

Утверждение, что всякий, кто выступает с критикой правительства, с критикой существующей системы, действует по заданию и в интересах иностранных спецслужб — такое утверждение есть сознательная ложь. Ее не делают правдоподобной и ссылки на то, что конфронтирующие с СССР государства используют критику инакомыслящих.

Да, наверное, используют. Так всегда было и есть в любых межгосударственных отношениях, и так, вероятно, и будет, пока существуют государства. Может ли это служить основанием для того, чтобы не говорить правду своему народу под предлогом того, что ее услышат за рубежом?

Способ компрометировать оппозицию обвинением ее в содействии иностранным державам, искать врагов внутренних, когда грозят опасности внешние, — этот способ стар почти как мир.

Английская Интеллидженс сервис, несомненно, весьма интересовалась национально-освободительной войной кавказских народов против армий Николая I. Но отсюда вовсе не следует, что тот же Шамиль, о котором я уже упоминала, был агентом иностранных разведок, как учили нас некоторые ретиво услужавшие Сталину историки. Спецслужбы Российской империи тоже, вероятно, использовали в своих интересах сведения о восстании сипаев в Индии. Но возмущение индийцев против британского колониального владычества было вызвано британскими колонизаторами, а не русскими агентами.

Немецкий генеральный штаб в 1917 году, разумеется, был заинтересован в ослаблении русской армии — и именно поэтому пропустил через свои границы возвращавшихся после Февральской революции в Россию русских политэмигрантов, в том числе и В.И.Ленина. Это отнюдь не делает правдоподобной неуклюжую клевету, пущенную в ход накануне Октября 1917 года (недавно ее пытались реанимировать некоторые зарубежные «патриоты»), будто вернувшиеся из-за границы большевики были завербованы германским геншта-

бом и организовали Октябрьскую революцию по его поручению и на его средства.

Можно найти и более свежие примеры. Так, за действиями внутрипартийных оппозиций в 20-х годах весьма пристально следили, конечно, разведки всех капиталистических стран. Но только в 30-х годах, после организованного им убийства Кирова, Сталин широко пустил в ход провокационную версию о том, что все руководители оппозиционных группировок суть шпионы, диверсанты и наемные агенты иностранных разведок. Такая же методика была применена в отношении иностранных коммунистов. Стоило Иосипу Броз Тито послушаться Сталина, как сиятельный тезка объявил его «кровавой собакой» и «фашистским агентом».

Похоже на то, что в последнее время наша пропаганда возвращается к этому примитивному, но кое-кому удобному методу: объявлять иностранным наемником любого несогласного с властью. Это так просто, особенно при условии незнакомства с историческими прецедентами и при полной невозможности публично возражать. И это очень действенно. Читателям и слушателям вовсе не нужно разбираться в том, что же они на самом деле говорят и пишут, эти диссиденты, — достаточно **поверить**, что говорят и пишут они «с чужого голоса», и это вызывает естественный рефлекс отталкивания. Что и требуется. Для этого и издаются большими тиражами произведения, бульварный характер которых обеспечивает распространение. Со времени «Тли» Шевцова и «Чего же ты хочешь?» Кочетова политический бульвар значительно преуспел.

Пока еще не восстановлены в правах слова «враги народа». Пока еще не вытащена из сталинских запасников теория «обострения классовой борьбы по мере приближения к коммунизму». Но ведь и терминология, и теоретические «допуски» меняются по мере надобности. Не «враги народа», так «агенты ЦРУ» — какая разница? Для вынесения уголовных приговоров годится любой ярлык.

История свидетельствует о том, что люди, открыто вступающие в спор с всемогущими властителями, редко бывают агентами иностранных держав. Хотя чаще других обвиняются в этом. Многие реабилитированные после семнадцати лет отсидки в сталинских лагерях «за шпионаж» рассказывали, что настоящих шпионов они встречали в лагере, может быть, раз или два. Ни

одного бывшего оппозиционера среди фашистских прихвостней — полицаев, бургомистров, палачей — они тоже что-то не припоминают. А вот генерал Власов и бывший представитель СССР в ООН Шевченко ни оппозиционерами, ни диссидентами не были.

Разномыслие здоровому обществу не опасно. Опасно вынужденное страхом единомыслие, отказ от мысли, трусливое приспособленчество. Опасны маленькие и большие талейраны и фуше, никогда не выступающие «против», всегда — «за». Хотя бы это «за» было диаметрально противоположно вчерашнему. Вот для таких-то всегда готовых продать и продаться прекрасным питательным бульоном является атмосфера обязательного единомыслия.

\* \* \*

Эта статья написана для опровержения клеветы о «Поисках». Но, работая над ней, я не могла пройти мимо того, что и в данной книжке («С чужого голоса»), и в других аналогичных изданиях содержатся также обвинения — в действиях с чужого голоса — по адресу и других лиц. Правозащитников, диссидентов, инакомыслящих, то есть людей, взгляды которых не совпадают с общепринятыми.

Не берусь судить о тех, кого я не знаю и чья деятельность мне неизвестна. Но некоторых из них я знаю. Знаю, что они достойны уважения, любят свою родину, не скажут ни слова против совести и слушают только ее голос. И клевета, распространяемая против таких людей, заставляет меня не верить и тому, что написано в этих книжках о людях, мне вовсе не знакомых. Ведь, например, книжка «С чужого голоса», несмотря на фамилии 15 авторов, написана единым стилем, единым духом — действительно, с одного голоса. И если столько лжи уместилось на 37 страницах, сколько же ее вместили триста? И другие многократно издающиеся бульварные произведения?

Я все-таки надеюсь, что не все верят бульварной литературе. Я все-таки надеюсь, что многие **думают**. Пожалуй, это единственная уцелевшая у меня надежда — на человеческую мысль и на извечное стремление людей к созданию справедливого общества. Для моего поколения вся жизнь и работа определялась этим стремлением, озарялась словом «социализм». Сейчас я не хочу говорить о словах. Жизнь прожита, а справед-

ливого общества я в современном мире не вижу. Увидят ли его дети и внуки? Не знаю. Знаю одно: если люди потеряют стремление к справедливости и способность мыслить, они перестанут быть людьми.

Если не перестанут **быть** вообще...

#### ПОСТСКРИПТУМ К МОИМ ДРУЗЬЯМ

Я прошу сохранить эту мою рукопись — как документ, как свидетельство очевидца и участника, наконец, как мою последнюю работу. Писать больше не могу — кончились силы. С трудом взялась я за эту статью, чтобы исполнить долг перед моими товарищами. На этом я кончаю свой литературный путь.

Не поминайте лихом.

*Р. Лерт*

*Сентябрь-октябрь 1983 г.*

*После тяжелой болезни Раиса Борисовна Лерт умерла в Москве 11 апреля 1985 года.*

## ОГЛАВЛЕНИЕ

От составителя . . . . .	3
ТРАКТАТ О ПРЕЛЕСТЯХ КНУТА . . . . .	7
ХОТИМ ЛИ МЫ ВЕРНУТЬСЯ В XVI ВЕК? . . . . .	32
ШТЕМЕНКО ПРОТИВ ШТЕМЕНКО . . . . .	54
I. О первой книге С. М. Штеменко «Генеральный штаб в годы войны» . . . . .	54
1. О готовности к войне . . . . .	57
2. Да был ли «военный гений»? . . . . .	60
3. Сталинский стиль руководства . . . . .	67
II. О второй книге С. М. Штеменко «Генеральный штаб в годы войны» . . . . .	78
РАЗГОВОР НАЧИСТОТУ (К двадцатилетию XX съезда КПСС) . . . . .	85
1. Влево — вправо . . . . .	86
2. Ползучая ресталинизация . . . . .	94
3. Является ли несогласие антисоветским действием? . . . . .	102
5. Утечка мозгов и талантов . . . . .	112
6. О гласности и советской демократии . . . . .	120
7. Административная победа сталинизма и его моральная инфляция . . . . .	126
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ТРУД» . . . . .	133
ЭТИКА И ИСТОРИЯ В РОМАНЕ «АВГУСТ ЧЕТЫРНАДЦАТОГО» . . . . .	136
ПОДСТУПЫ К «ЗИЯЮЩИМ ВЕРШИНАМ» (Опыт ненаучного анализа) . . . . .	165
«НА КРУГИ СВОЯ...» . . . . .	175
ВЫСКАЗАННОЕ И НЕДОСКАЗАННОЕ (Комментарий к дискуссии) . . . . .	192
«ДВОЕПЕРСТИЕ» ИЛИ ДВОЕМЫСЛИЕ? . . . . .	218
ВОТ КАК ЭТО БЫЛО (Отрывки из воспоминаний) . . . . .	244



ПОЗДНИЙ ОПЫТ . . . . .	289
1. Обыск впервые . . . . .	290
2. Исключение из партии — вторично и навсегда . . . . .	302
3. Вместо послесловия, или Что-то вроде исповеди . . . . .	309
<i>Приложение? Заявление в парткомиссию при МГК КПСС</i>	316
ЦЕПЬ БЕЗЗАКОНИЙ . . . . .	319
МОИ НЕПРОИЗНЕСЕННЫЕ СВИДЕТЕЛЬСКИЕ ПОКАЗАНИЯ . . . . .	323
ПРОТИВ ПОЛИТИЧЕСКОЙ БУЛЬВАРЩИНЫ ( <i>Правда о «Поисках»</i> ) . . . . .	328

*Раиса Борисовна Лерт*

*(1906—1985)*

**НА ТОМ СТОЮ**

Заведующая редакцией *Л. Сурова*

Редактор *Н. Буденная*

Художник *В. Еремин*

Художественный редактор *М. Кудрявцева*

Технический редактор *О. Иванова*

Корректоры *Н. Кузнецова, Л. Царская*

## ИБ № 4959

Сдано в набор 29.08.90. Подписано к печати 04.04.91. Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага офсетная № 2. Гарнитура «Литературная». Печать офсетная. Усл. печ. л. 19,32. Усл. кр.-отт. 19,95. Уч.-изд. л. 20,72. Тираж 10 000 экз. Заказ 1166.  
Цена 2 руб.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Московский рабочий». 101854, ГСП, Москва, Центр, Чистопрудный бульвар, 8.

Ордена Ленина типография «Красный пролетарий». 103473, Москва, И-473, Краснопролетарская, 16.

**Лерт Р. Б.**

Л49 На том стою.— М.: Моск. рабочий, 1991.—  
364 с.

Произведения московской журналистки Р. Б. Лерт (1906—1985), вошедшие в книгу «На том стою», в большинстве своем были опубликованы в московском «самиздатском» журнале «Поиски». Вышло всего несколько номеров этого журнала, после чего многие члены редколлегии были арестованы и осуждены. Р. Б. Лерт, которой тогда было уже за семьдесят, отделалась легче других — обыском и конфискацией рукописей, личных архивов.

Произведения Р. Б. Лерт, написанные в семидесятых годах, посвящены общественно-политической жизни страны тех лет и существенно дополняют уже забытыми подробностями наши сегодняшние знания. Они создают образ своего автора — человека удивительной честности, порядочности, благородства, острого ума и неподкупной принципиальности.

**В 1991 году  
в издательстве  
«МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»  
выходят следующие книги:**

Аксенов В. ПРАВО НА ОСТРОВ.  
*Повести и рассказы*

Даниэль Ю. ГОВОРIT МОСКВА.  
*Повести и рассказы*

Довлатов С. ЧЕМОДАН.  
*Повести*

Ильина Н. ДОРОГИ И СУДЬБЫ



Раиса Борисовна Лерт, московская журналистка, ни разу не поступившаяся в своих произведениях совестью, вынуждена была стать автором «самиздата». Сегодня стало возможным представить ее работы советскому читателю, которому они и предназначались.